Проф. М. Н. ПОКРОВСКИЙ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ▫ 1922



Проф. М. ПОКРОВСКИЙ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

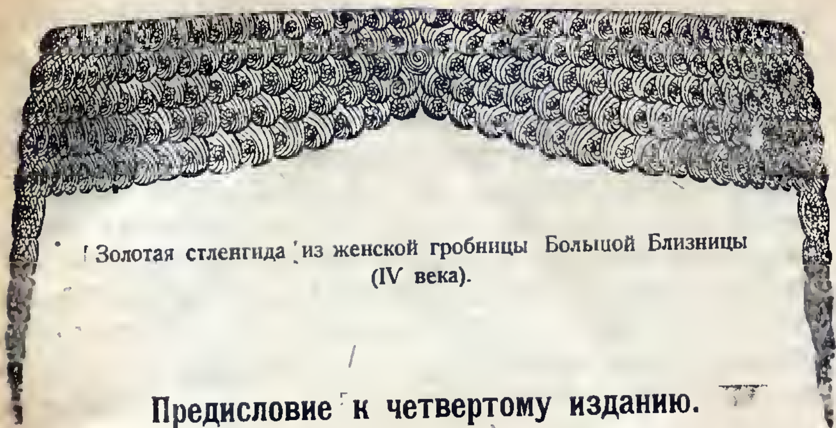
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

Том I

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ▫ 1922

Гиз. № 2844а. РЦ. № 530. 10.000 экз. Зак. № 661.
26-я Государственная типография, Петроград, Измайловский просп., 29.



Золотая стленгида из женской гробницы Большой Близницы (IV века).

Предисловие к четвертому изданию.

«Русская история с древнейших времен» писалась 10 лет тому назад. Если в науке русской истории с тех пор не произошло перемен, которые побуждали бы к большему, нежели частичные переделки, в общем % на 10 всего текста,—то в жизни, в мировоззрении вообще, прошло столетие. Нет ни одного вопроса русской истории, до самых древних ее слоев, к которому мы теперь не подходили бы по новому, не имея, обычно, никаких конкретных возможностей его теперь же перерешить. Представьте себе только хотя бы—берем новейший по времени и наиболее «академический» пример—происхождение славянского племени при свете «яфетитской» гипотезы академика Н. Я. Марра. Я уже не говорю о таких «актуальных» сюжетах, как Петровская реформа или декабристы: тут, может быть, мы сами или наши ученики через десять лет признают совершенно устаревшими те схемы, что казались верхом дерзости и новизны десять лет назад.

Книгу следовало бы переиздать к 1930 году—но ее спрашивают теперь, в 1922, и нет другого курса русской истории, более марксистского, чем настоящий: как ни мало он удовлетворителен с точки зрения *теперешнего* марксиста. Новое издание вынуждается, таким образом, в первой линии *педагогическими* потребностями. Но для первоначального ознакомления с тем, как понимают русскую историю историки-материалисты, приблизительно достаточно и существующего текста. Дополнить придется лишь литературные указания в конце—да, может быть, дать там и сям кое-какие примечания. В основном это перепечатка старого текста, и сейчас, в 1922 году, ничего с этим не поделаешь.

В первых изданиях были главы—о религии и церкви—написанные Н. М. Никольским. Не все одинаково удачные—лично я считаю очень удавшимися главы о расколе—они уже 10 лет назад порядочно расходились с основным текстом. Теперь, когда автор этого последнего самостоятельно разработал те же темы (во II части «Очерка истории русской культуры»), сожитие под одной кровлей оказывалось довольно искусственным. Н. М. Никольский взял на себя почин развода. Книга появляется без глав о церкви. «Русская история» теряет от этого в смысле полноты фактов (пополнением могут служить только что упомянутые главы «Очерка»), но несомненно выигрывает в цельности. А это, с педагогической, опять-таки, стороны—не минус.

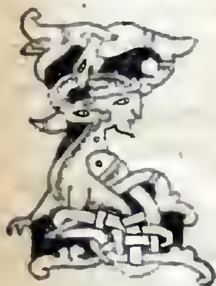
М. П.



Фрески катакомбы, открытой в Керчи в 1872 г.; в целом они изображают жизнь и подвиги неизвестного пантикапейского военачальника.

ГЛАВА I.

Следы древнейшего общественного строя.



ще писатели XVIII века никак не могли помириться на том, с *чего начала древняя Русь.* В то время, как пессимисты, вроде кн. Щербатова или Шлецера, готовы были рисовать наших предков X столетия красками, заимствованными с палитры современных этим авторам путешественников, создавших классический тип «дикаря», чуть что не бегавшего на четвереньках, находились исследователи, которым те же самые предки казались почти просвещенными европейцами в стиле того же XVIII века. Щербатов объявил древних жителей России прямо «кочевым народом». «Хотя в России прежде ее крещения,—говорит он,—и были грады, но оные были яко пристанища, а в протчем народ, а особливо знатнейшие люди, упражнялся в войне и в набегах, по большей части в полях, переходя с места на место, жил». «Конечно, люди тут были,—солидно рассуждал Шлецер,—Бог знает, с которых пор и откуда, но люди без правления, жившие подобно зверям и пти-

цам, которые наполняли их леса». Древние русские славяне были столь подобны зверям и птицам, что торговые договоры, будто бы заключенные ими с греками, казались Шлецеру одной из самых наивных подделок, с какими только приходится иметь дело историку. «Неправда,—возражали Щербатову и Шлецеру оптимисты вроде Болтина,—руссы жили в обществе, имели города, правление, промыслы, торговлю, сообщение с соседними народами, письмо и законы». А известный экономист начала XIX века, Шторх, не только признает за русскими славянами времен Рюрика торговлю, но и объясняет из этой торговли и созданного ею политического порядка возникновение самого Русского государства. «Первым благодетельным последствием» ее было «построение городов, обязанных, может быть, исключительно ей и своим возникновением и своим процветанием». «Киев и Новгород скоро сделались складочными местами для левантской торговли; в обоих уже с древнейших времен их существования поселились иностранные купцы». Эта же торговля вызвала второй, несравненно более важный переворот, благодаря которому Россия получила прочную политическую организацию. Предприимчивый дух норманнов, их торговые связи со славянами и частые поездки чрез Россию положили основание знаменитому союзу, подчинившему великий многочисленный народ кучке чужеземцев». И дальнейшую историю Киевской Руси, походы князей к Царьграду и борьбу их со степью Шторх объясняет теми же экономическими мотивами, цитируя и так хорошо известный всем теперь, благодаря курсу проф. Ключевского, рассказ Константина Багрянородного о торговых караванах, ежегодно направлявшихся из Киева в Константинополь.

Заново обоснованные и тонко аргументированные взгляды Шторха получили большую популярность в наши дни, но они нисколько не убедили современников-пессимистов. Шлецер объявил теорию Шторха «не только не ученой, но и уродливой мыслью», и согласился сделать разве ту маленькую уступку, что начал сравнивать русских славян не со зверями и птицами, а с американскими краснокожими, «ирокезами и алгонкинцами». Спор так и перешел нерешенным к последующему поколению, где оптимистическую партию взяли на себя славянофилы, а продолжателями Шлецера и Щербатова явились западники. «По свидетельству всех писателей отечественных и иностранных, русские издревле были народом земледельческим и оседлым,—говорит

Беляев. По словам Нестора, они и дань давали от *дыма и рала*, т.-е. с двора, с оседлости и с сохи, с земледельческого орудия». Западники не доходили, правда, ни до признания русских славян кочевниками, ни до сравнений с американскими краснокожими. Но нельзя не заметить, с каким явным сочувствием Соловьев приводит летописную характеристику восточно-славянских племен. «Исключая полян,—говорит Соловьев,—имевших обычаи кроткие и тихие..., нравы остальных племен описаны у него (летописца) черными красками: древляне жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, и брака у них не было, а похищение девиц. Радимичи, вятичи и северяне имели одинакий обычай: жили в лесу, как звери, ели все нечистое, срамословили перед отцами и перед снохами, браков у них не было, но игрища между селами, где молодые люди, сговорившись с девицами, похищали их». Сам Соловьев прекрасно понимал, повидимому, что это не объективное изображение быта древлян и северян, а злая сатира монаха-летописца на язычников и полянина—на враждебных полянам соседей; что начальная летопись недалеко ушла в этом случае по своей исторической точности от щедринской «Истории одного города». Но он не мог воздержаться от искушения повторить эту обличительную характеристику: слишком уж она хорошо согласовалась с тем представлением о славянах, какое сложилось у самого Соловьева. «Городов (у русских славян), как видно, было немного,—говорит он в другом месте уже от себя:—знаем, что славяне любили жить рассеянными, по родам, которым леса и болота служили вместо городов; на всем пути от Новгорода до Киева, по течению большой реки, Олег нашел только два города—Смоленск и Любеч... В средней полосе у радимичей, дреговичей и вятичей не встречается упоминаний о городах...»

Если какой-нибудь спор долго длится, не находя себе разрешения, то обыкновенно виноваты здесь бывают не одни спорящие, а и самый предмет спора. И в пользу сравнительно высокого уровня экономической—а с нею и всякой другой—культуры славян в древнейшую эпоху, и в пользу низкого уровня этой культуры источники давали достаточно доказательств; из одной и той же летописи мы узнаем и о дикости вятичей с братиею, и о торговых договорах древней Руси с греками. Что считать правилом для древней Руси, что исключением? Что было частным случаем, индивидуальной особенностью одного племени, и что общим достоянием всех славянских племен? Ответить на это

можно, лишь отступив несколько назад от тех аргументов, которыми обменивались стороны в приведенных выше выписках. «Нестор», или как бы его ни звали, начальный летописец, застал славян уже разделенными, и начинает свой рассказ с перечисления разошедшихся в разные стороны, но еще не позабывших друг друга славянских племен. Если бы мы могли составить себе хотя какое-нибудь представление об экономической культуре славян до этого разделения, когда они еще жили вместе и говорили одним языком, мы получили бы некоторый minimum, общий, конечно, и всем русским славянам: перед нами был бы тот основной фон, на котором вышивали столь разноцветные узоры греческие и скандинавские влияния, христианская проповедь и левантская торговля. Этот фон до некоторой степени мы можем восстановить по данным *лингвистики:* общие всем славянским наречиям культурные термины намечают их общее культурное наследство, дают понятие об их быте не только «до прибытия Рюрика», но и до того времени, как «волохи», т.-е. римляне, нашли славян сидящими по Дунаю и вытеснили их оттуда.

Лингвистические данные намечают, прежде всего, одну характерную черту этого архаического быта: славяне исстари были народом промысловым, и промыслы их были преимущественно, если не исключительно, *лесные.* Во всех славянских языках одинаково звучат название *пчелы, меда и улья:* бортничество является, повидимому, коренным славянским занятием. Косвенно это указывает и на первоначальное местожительство славян: бортничество мыслимо только в лесной стороне. Это лесное происхождение наших предков вполне согласно и с другими, лингвистическими же, указаниями. Славянское название жилья—*дом,* несомненно, в родстве, хотя и дальнем, с средневековым верхненемецким Zimber—«строевой лес» и обозначает, конечно, деревянную постройку. Напротив, каменная кладка, кажется, вовсе не была известна славянам до разделения: все относящиеся сюда термины—заимствованные. Наше *кирпич* есть турецкое слово kerpidz, древнейшее славянское *плинфа*—греческое, точно так же, как и название *известки,* древнейшее *вапно* (от греческого βαφή) и новейшее *известь* (от греческого ἄσβεστος—негашеный). И в то время, как южные и западные европейцы имеют особое слово для обозначения каменной стены (латинское murus, откуда немецкое Mauer), в славянских языках особого термина для этой цели и поднесь не существует.

Археологи, на основании своих соображений, склоняются к мысли, что славяне были автохтонами восточной Европы, исстари жили на тех местах, где застала их история. Лингвистика в этом случае подтверждает археологию: северная, большая, половина восточно-европейской низменности, и теперь лесная страна по преимуществу, как нельзя лучше отвечает по своей природе такой *лесной* культуре, какую мы находим у славян. На основании данных общеславянского словаря, с одной стороны, географической номенклатуры—с другой, издавна делались попытки установить «прародину славянского племени» и более детально. Уже Надеждин в 30-х годах прошлого столетия находил «первоначальное гнездо славян» в нынешних Волынской и Подольской губерниях, захватывая и ближайшие австрийские области к западу, до северного подножия Карпат. Новейший исследователь вопроса, проф. А. Погодин, также считает славянской родиной «страну гористую и обильную болотами, как Волынь», ссылаясь на общность таких терминов, как *холм, скала, гора, яр* (узкая долина), *юдоль, дебрь* (заросшая лесом долина), *яруга* (болотистая долина) и т. п. [1]). Этот пример показывает, между прочим, как опасна подобная детализация: скалистой, с точки зрения жителей и гористой, обильной болотами, является и Финляндия не в меньшей степени, чем Волынская губерния: весь приведенный словарь отлично мог бы быть приурочен и туда, не знай мы из других источников, что славяне там никогда не жили. С другой стороны, лесную культуру, аналогичную пра-славянской, как рисует ее нам лингвистика, можно найти на восточно-европейской равнине по всему ее протяжению много ранее того хронологического предела, до которого решается выслеживать славян современная наука. Еще Геродот в V в. до Р. Х. указывает в этих местах «многочисленный народ» гелонов и будинов, при чем последние со своими «светло-голубыми глазами и рыжими волосами» отвечают, если угодно, и антропологическому типу древних славян, как известно, гораздо более белокурых, чем современные [2]). У этих народов были города, дома, храмы и идолы—все деревянное. Они занимали, по Геродоту, огромное пространство от озерной области на северо-западе до нынешней Саратовской губернии на юго-востоке. Часть их, именно будины, жили лесными промыслами: били пушного зверя и питались, между прочим, «еловыми шиш-

---

[1]) «Из истории славянских передвижений». стр. 90.

[2]) Подробнее о наружном виде древних славян см. у *Пидерле:*—«Словенские древности», рус. пер., I. стр. 114 и след.

ками», т.-е. кедровыми орехами. Другие, гелоны, были земледельцами, употребляли в пищу хлеб, занимались и садоводством. «Эллины,—говорит Геродот,—часто смешивают будинов и гелонов,—но это два разные народа». Из его описания скорее можно понять, однако, что это два культурных слоя одного и того же народа—один отчасти эллинизованный, другой—вовсе не тронутый эллинским влиянием. Особенную этнографическую окраску гелонам давало именно греческое влияние: «первоначально гелоны были те же эллины, удалившиеся из торговых городов и поселившиеся среди будинов»; некоторые из этих греческих колонистов сохранили, по словам Геродота, и свой язык. Так, за 400 лет до Р. Х. культура приходила к народам северо-восточной Европы тем самым путем, по которому она шла в VIII веке нашей эры, и уже при Геродоте здесь были торговые города со смешанным полуэллинским, полуварварским населением и эллинистической культурой—далекие предшественники «матери городов русских».

Итак, на восточно-европейской равнине, в нынешней Московской или Владимирской губерниях, существовало земледелие с незапамятных времен, а славяне были на этой равнине автохтонами. Вывод, который отсюда можно сделать, вполне благоприятен Беляеву: а priori как нельзя более вероятно, что и славяне,—допустив даже, что будины Геродота не стоят с ними ни в какой генетической связи—были земледельцами уже до разделения. Лингвистика и это подтверждает: земледельческие термины—*пахать* (орати), *жать, косить,* названия *плуга* и *бороны,* главнейших видов хлеба, знакомых нашим широтам,—*овес, ячмень, рожь* и *пшеница*—общие у всех славянских племен. Общее у них и название хлеба, как предмета питания,—*жито,* и всего характернее, что это название (одного корня с *жизнью*) употребляется и для обозначения всей пищи вообще: значит, хлеб не только ели, но, как и у теперешнего русского крестьянина, он составлял основу древнеславянского питания, был пищей по преимуществу. Если бы мы остановились на этом, то и вопрос о древнеславянской культуре должен был бы, повидимому, решиться в оптимистическом направлении. Но та же лингвистика безжалостно разрушает приятную иллюзию: просвещенные земледельцы-славяне жили, по всей видимости, в *каменном веке.* Все названия металлов у славян или описательные (*руда*—нечто красное, отсюда это слово обозначает одновременно и *кровь,* и красный железняк-гематит; *злато*—нечто желтое и блестящее и т. п.), или заимствованные,

как и название каменной стройки: *серебро* от древнего северно-германского silfr (теперешнее немецкое Silber), *медь*—средневековое верхне-немецкое Smide (металлическое украшение) и т. д. Древнейшие славянские погребения в Галиции все с каменными орудиями, металлы встречаются лишь в позднейших.

Со старой точки зрения мы и тут наталкиваемся на непримиримое противоречие: земледелие, по старому взгляду, одна из высших ступеней экономической культуры, оно предполагает уже две пройденные ступени,—охоту и скотоводство. Как могли славяне проделать эту длинную эволюцию, не изменив самого первобытного способа изготовления орудий—из камня? Новейшая экономическая археология и этнология дают нам, однако, возможность устранить это кажущееся противоречие очень легко. Наблюдения над современными дикарями показали весьма убедительно всю фальшивость старой схемы хозяйственного развития: охота—скотоводство—земледелие. Эта старая схема отправляется от совершенно правильного общего положения, что человек начинает с таких форм хозяйственной деятельности, которые требуют от него наименьшей затраты энергии, и постепенно переходит к все более и более трудным. Но создатели этой схемы не имели представления о каких-либо иных способах охоты, скотоводства и земледелия, кроме тех, какие встречаются у так называемых «исторических», т.-е. более или менее культурных, народов. От того, что легко или трудно для культурного человека, умозаключали к тому, что легко или трудно для человека первобытного, т.-е. для дикаря. Но дикарь, несомненно, начал с таких способов добывания пищи, которые легче самого легкого из наших: он начал с того, что собирал даровые продукты природы, не требующие вовсе труда для своего приобретения,—начал с собирания дико-растущих плодов, кореньев и т. п. Как и высшие обезьяны, человек сначала был животным «плодоядным». Его животная пища первоначально, вероятно, состояла из раковин, улиток и тому подобных, тоже без труда достающихся пищевых средств. Некоторые очень низко стоящие племена Бразилии и поднесь не пошли дальше этого «собирания». Единственные следы деятельности прибрежных племен южной Бразилии представляют огромные кучи пустых морских раковин, длинными рядами тянущиеся вдоль морского берега. После отлива туземцы выходят на обсохший песчаный берег, собирают принесенные приливом раковины и успокаиваются до следующего отлива. В этом—вся их

«охота». По количеству затрачиваемого труда этот способ добывания пищи не идет ни в какое сравнение с настоящей охотой за зверем или птицей или с рыбной ловлей при помощи сетей, удочек и т. п. Настоящие охотники и звероловы отнюдь не принадлежат к «низшим» племенам: краснокожие Северной Америки додумались до зачатков письма и не чужды художественной деятельности, а они живут исключительно только охотой. Обитатели Западной Европы каменного века, повидимому, тоже были охотниками, а найденные при раскопках орудия их поражают совершенством и даже изяществом отделки: изображения головы лося, табуна лошадей на одном жезле, или вырезанное на кости изображение мамонта сделали бы честь и не-дикарю. Охота, несомненно, проще нашего земледелия, с применением животного труда,— лошади или быка; но эта форма земледелия далеко не единственно возможная и даже наименее распространенная. Среди некультурных племен гораздо употребительнее другая форма хлебопашества, которую немецкие исследователи окрестили Hackbau, что по-русски переводят «мотыжное земледелие». Его отличительная особенность состоит в том, что оно ведется исключительно человеческими руками и почти без всяких инструментов, потому что первобытная мотыга не что иное, как развилистый сук, которым разрыхляют землю перед тем, как бросить туда семена. Такой инструмент куда проще лука и стрел или праши и, вероятно, был самым ранним изобретением человека в области техники. И масса энергии, которая требуется для мотыжного земледелия на девственной почве, конечно, значительно меньше того количества силы, которое нужно затратить, чтобы справиться с крупным зверем. Мотыжное земледелие легче охоты, и есть все основания думать, что оно было самым ранним из правильных способов добывания пищи. Оно вовсе не связано с оседлостью, напротив, необходимо предполагает бродячий образ жизни: так как верхний слой почвы, единственно доступный такой обработке, должен быстро истощаться, то культура носит поэтому очень экстенсивный характер и требует огромной, сравнительно, площади земли. Охота является, вероятно, на первых порах, подспорьем мотыжному земледелию: человеческий организм нуждается в известном количестве соли, а дикарь не имеет часто средств достать ее иначе, как в мясе,—сыром мясе с кровью. Весьма возможно, что так как человеческое мясо всего легче добыть, то человек и начал свой мясной стол с антропофагии и уже потом перешел к мясу

животных. Географическая обстановка решала дальнейшее: племена, попавшие в районы, обильные дичью или рыбой, скоро стали смотреть на охоту или рыболовство, как на основное занятие, а на земледелие,—как на подсобное. Там, где был богатый запас растительной пищи, прогрессировало, напротив, это последнее. Нет, однако, народа, который питался бы исключительно животной пищей. Без растительной приправы к столу жить нельзя, тогда как вполне возможно обойтись одной растительной пищей. В этом случае сравнительная этнология вполне на стороне вегетарианства. Напротив, совершенно неверен взгляд, в силу которого скотоводство развилось из охоты и служило первоначально средством иметь под руками постоянно запас мяса. Э. Ган блестяще доказал, что приручение самого крупного и ценного вида скота связано не с охотой, а именно с земледелием, и что бык служил сначала не как мясной, а как рабочий скот. Приручившие быка патриархи земледелия даже и не ели говядины, как не едят ее до сих пор самые старинные земледельческие народы—индусы и китайцы.

Если мы от этих аналогий и косвенных указаний лингвистики обратимся к древнейшим письменным свидетельствам о восточных славянах, к древнейшим *текстам,* мы найдем в них полное подтверждение приведенной выше характеристики этих славян, как народа земледельческого, но стоящего в то же время на очень невысокой ступени культуры.

Ранее всего из более или менее цивилизованных людей столкнулись с нашими предками *арабы,* успевшие побывать в России ранее даже греков: по крайней мере, первые показания очевидцев о славянских быте и культуре принадлежат именно арабским путешественникам и встречаются у компилировавших рассказы этих последних арабских географов. Одно из наиболее важных показаний этого рода мы находим в «Книге драгоценных сокровищ» компилятора Ибн-Даста, писавшего в первой половине X века,—но источники его значительно старше. Ввиду важности этого текста мы приведем оттуда целиком то, что относится к экономической культуре восточных славян: что речь идет именно о них, доказывает название их столицы—по Ибн-Даста «Куяба», т.-е. *Киев.* «Страна славян—страна ровная и лесистая; в лесах они и живут. Они не имеют ни виноградников, ни пашен. Из дерева выделывают они род кувшинов, в которых находятся у них и ульи для пчел, и мед пчелиный сберегается.

Это называется у них сидж, и один кувшин заключает в себе около 10 кружек его. Они пасут свиней наподобие овец...» (Дальше идет рассказ о погребальных обычаях славян, который будет рассмотрен в другом месте) «...Более всего сеят они просо...» «...Рабочего скота у них мало, а верховых лошадей имеет только один упомянутый человек» (свият-царь). «Холод в их стране бывает до того силен, что каждый из них выкапывает себе в земле род погреба, к которому приделывает деревянную остроконечную крышу, наподобие (крыши) христианской церкви, и на крышу накладывает земли. В такие погреба переселяются со всем семейством и, взяв несколько дров и камней, зажигают огонь и раскаляют камни на огне докрасна. Когда же раскалятся камни до высшей степени, поливают их водой, от чего распространяется пар, нагревающий жилье до того, что снимают уже одежду» [1]).

Кое-что в этом рассказе о вещах, которые самому автору, видимо, рисовались довольно смутно, можно отнести насчет простого недоразумения: так, в литературе уже давно отмечено, что славянскому меду Ибн-Даста усваивает название, какое носил этот напиток у волжских болгар, ближайших посредников для арабов в сношениях с восточными славянами. Совершенно очевидно также, в последних строках, смешение славянского *жилья*—землянки—с *баней*, хорошо известной нам для той эпохи и из других описаний. С первого взгляда может показаться, что и резким противоречием двух фраз: «пашен у них нет» и «сеют они просо»—мы обязаны такому же недоразумению. Но, упомянув рядом с пашнями *виноградники*, Ибн-Даста ясно показал, что, с его точки зрения, тут никакого недоразумения не было: под *пашнями* арабский писатель разумел то, что зовется так в культурных странах, поля, на которых год из году занимаются земледелием, как в виноградниках год из году культивируют виноградную лозу. Таких постоянных пашен он и не находил у славян, живших в лесу и сеявших свое просо каждый год на новом месте. С этой стадией земледельческой культуры отлично вяжется и другое показание нашего автора о слабом развитии скотоводства у славян. Оно уже было, но в зачаточном состоянии; расцвет его лежал впереди—для XII века мы имеем уже несомненные свидетельства того, что пахота с помощью лошади была

---

[1]) Цитируем по переводу А. Я. Гаркави, «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских», стр. 264—267.

общераспространенным явлением в южной Руси. Эта новизна скотоводства и связанная с нею дороговизна скота оставили любопытный след в древне-русских юридических памятниках. В некоторых статьях «Русской Правды» слово «скот» употребляется в смысле «денег» (аналогично в этом случае с древнеримским pecunia); но мы знаем, что деньгами, единицей мены, становятся обыкновенно такие предметы, на которые есть большой спрос, но которые существуют в то же время лишь в ограниченном количестве. Благодаря этому, в древней Греции первой монетой и стал железный прут («обол»)—представитель еще редкого и ценного в то время металла. Рабочий скот в России IX—X веков был еще так же редок и ценен, как в гомеровской Греции, оттого там и тут вычисляли цену других предметов на скот. Оттого «Русская Правда» и занимается так тщательно вопросом о возможном приплоде скота (в так называемом «Карамзинском» списке этому отведено не менее 8 отдельных статей), при чем отводит видное место и упоминаемым Ибн-Даста свиньям (3 статьи из 8).

Характер славян, как *лесного* народа, живущего, между прочим, и даже на первом месте, *бортничеством*, также выступает у арабского географа очень выпукло, но любопытно, что Ибн-Даста ни словом не упоминает о другом промысле, казалось бы, столь естественном в «лесистой» стране,—об охоте. Чтобы русские славяне до начала X века не охотились вовсе, это, конечно, трудно себе представить, но очевидно, что бортничество, свиноводство и кочевое земледелие настолько составляли основу их хозяйства, что охота, как промысел, не бросалась в глаза, как это было по отношению к соседним болгарам, о которых арабский писатель отметил, что «главное богатство составляет у них куний мех». Болгары тогда уже сравнительно гораздо больше втянулись в оборот восточной торговли, и меха были главным предметом их отпуска; едва ли не в связи с тою же восточной торговлей охота приобрела серьезное экономическое значение и у восточных славян. Во всяком случае, базировать все их хозяйство на охоте, как это делают в последнее время некоторые авторы, было бы неосторожно, ввиду прямых указаний на противоположное со стороны как лингвистики, так и арабских писателей, ранее всех систематизировавших сведения о наших предках.

Древнейшая общественная организация стоит в тесной связи со способами добывания пищи. Знаменитая характеристика этой

организации в начальной летописи: «живяху кождо с родом своим на своих местех, володеющие кождо родом своим», послужила исходной точкой для многого множества более или менее фантастических гипотез о первоначальном общественном строе русских славян. Не трудно было понять, что здесь речь идет о каком-то союзе родственников, но что связывало между собой этих последних, помимо кровных отношений, которые сами по себе нисколько не мешают людям жить врозь и заниматься различными делами, это не так легко было себе представить. В особенности мешала русским историкам составить себе конкретное и отчетливое представление об этом «роде» начальной летописи их идеалистическая точка зрения—привычка все исторические перемены объяснять переменами в *мыслях и чувствах* исторических деятелей. У такого умного историка, как Соловьев, например, можно найти длинные рассуждения о том, какую роль играло в первобытном обществе родственное чувство, как оно постепенно ослабевало и что из этого вышло. Неудовлетворительность подобных объяснений слишком била в глаза, и «теория родового быта» уступала место другим гипотезам,—«вотчинной», «общинной», «задружной» и т. под., ценность которых, однако, отнюдь не была выше первой. Но уже раньше, чем в общественных науках взяла верх материалистическая точка зрения, та самая историческая аналогия, образчик которой мы видели выше, дала возможность представить себе все дело гораздо нагляднее. В некоторых местах русской равнины географическая обстановка XI—X в.в. сохранилась почти в полной неприкосновенности до очень позднего, сравнительно, времени: таковы были великорусский север, нынешняя Архангельская губерния до XVII-го, и западно-русское Полесье до XVI-го, приблизительно, века. Весьма характерно, что в этих двух весьма удаленных друг от друга и никогда не сообщавшихся местностях мы встречаем совершенно одинаковую основную клеточку хозяйственной и вообще социальной организации: на севере она носит название *печища,* на западе—*дворища.* «Дворище», как и «печище» являются, прежде всего, формами *коллективного* землевладения, но весьма непохожими на знакомые нам образчики последнего, например, на великорусскую сельскую общину. Коллективизм последней, как она существовала до начала XX столетия, был юридически-финансовый: крестьяне-общинники сообща *владели* землей и сообща *отвечали* за лежавшие на ней подати и повин-

ности, но хозяйство они вели каждый отдельно. Считать такую организацию зародышем или остатком первобытного коммунизма можно было опять-таки лишь с той идеалистической точки зрения, для которой юридическая оболочка была гораздо важнее экономического содержания, право важнее того факта, благодаря которому это право только и могло возникнуть. В дворищном землевладении мы имеем перед собой остаток подлинного коммунизма: первоначально все обитатели северно-русского «дворища», иногда несколько десятков работников обоего пола, и жили вместе под одной кровлей, в той громадной двухъэтажной избе, какие и теперь еще встречаются на севере, в Олонецкой или Архангельской губерниях,—«настоящем дворце сравнительно с южно-русскими хатами», по отзыву исследовательницы, которой русская наука обязана первым точным описанием древнейшей формы русского землевладения [1]). Позже они могли расселиться по нескольким избам, но экономическая сущность организации от этого не менялась: все «дворище» по-прежнему сообща обрабатывало всю захваченную ими землю общим инвентарем, и продуктами пользовались все работники сообща. Хозяйство было не только земледельческое. Документы, сохранившие нам юридическую форму древнейшего землевладения (ко времени составления этих документов обыкновенно уже распадавшегося), изображают эту «землю», как совокупность целого ряда промыслов, входивших в состав дворищного хозяйства; «дворище» всегда является «с полями, сеножатьми и з лесы и боры, и з деревом бортным, з реками и озера, и з гати и з езы, и з ловы рыбными и пташими...» Все, что нужно было для жизни, не только хлеб, добывалось общим трудом; но наиболее прочной спайкой, связывавшей воедино все население «дворища», являлось, несомненно, все-таки земледелие. Ибо для всей группы не могло быть более трудного дела, чем выкорчевать из-под леса участок земли под пашню—в историческую эпоху пашню уже обычного типа, обрабатывавшуюся не виловатым суком, а сохой, и не одним ручным трудом, а с помощью лошади. Ни «рыбный и пташий лов», ни бортничество сами по себе коммунизма не требовали и не могли создать: он мог сложиться только параллельно с земледелием и становился тем прочнее, чем сложнее и труднее становилось это последнее.

---

[1]) *А. Я. Ефименко.* См. сборник статей «Южная Русь», т. I, стр. 372.

бродячие охотники, какими иногда представляют себе русских славян, несомненно, оказались бы бо̀льшими индивидуалистами.

Как возник этот первобытный коммунизм и на чем, внешним образом, он держался? На первый вопрос едва ли можно дать какой-нибудь ответ в пределах не только русской, но и славянской вообще истории, потому что описанная форма землевладения составляет не только русскую, а общеславянскую особенность: сербо-хорватская «задруга» или «велика куча» представляет собою полную параллель нашему архангельскому «печищу» или полесскому «дворищу». Форма недифференцированного стада, жившего простым «собиранием» готовых продуктов, была, очевидно, пройдена славянами ранее, чем они выделились из общеарийской массы. Даже на первоначальную ступень «мотыжного» земледелия сохранились в исторических памятниках лишь слабые намеки. Главнейшим из них является то относительно самостоятельное положение женщины у славян, сравнительно, например, с германцами, которым так гордились в свое время славянофилы. В древнеславянском праве, так называемая «половая опека» выражена гораздо менее резко, чем можно было бы ожидать. Тут особенно приходится отметить два момента: самостоятельное положение женщины на суде, доходившее до того, что женщина местами могла являться участницей судебного поединка, и широкий объем имущественных прав женщины, которая могла распоряжаться своим имением без согласия мужа, тогда как последний не мог распорядиться имуществом жены, даже приданым, без ее согласия [1]). Любопытную черту к этому дает первая статья «Русской Правды». В числе возможных мстителей за кровь она указывает, и на одном из первых мест притом,—«сына сестры» убитого, т.-е. ведет счет родства и по женской линии, не только по мужской. Подобное явление никоим образом не могло возникнуть в исторически нам знакомой *патриархальной* семье, во главе которой стоит мужчина—отец, и где счет родства всегда ведется по мужской линии. Ее приходится рассматривать поэтому, как остаток материнского права—*матриархальной* семьи, где счет родства всегда велся по женской линии, и брат матери считался одним из ближайших родственников, наравне с отцом, если не выше его. Самостоятельное положение женщины, имущественное и правовое, вполне вяжется с этим, точно так же, как и то, что мы знаем

---

[1]) См. *Шпилевский*, «Семейные власти у древних славян и германцев», стр. 74 и 86—87.

об экономической культуре первобытных славян. Первичное «мотыжное» земледелие всюду было и есть, где оно еще сохранилось, в руках женщин; весьма возможно, что женщина, связанная детьми и поневоле более оседлая, менее свободно передвигавшаяся в поисках за даровой пищей, была даже изобретательницей земледелия. Но, первая овладевшая правильным способом добывания пищи, женщина экономически эмансипировалась от мужской опеки, семья стала концентрироваться около матери, а не около отца. Оттого у племен с преобладанием земледелия—у древних культурных народов Америки, например,—мы всюду встречаем материнское право или следы его, тогда как у скотоводов или охотников, в той же Америке, этих следов вовсе нет.

Таким образом, то, что в глазах славянофильской публицистики было печатью особого призванья, свойственного славянскому племени, на деле является просто одним из признаков большей архаичности славянского права [1]). К началу исторической жизни славян отцовское право, однако, уже решительно восторжествовало, вместе с земледелием нового типа, обусловленного развитием скотоводства. Охарактеризованное выше «печище» или «дворище» (задруга южных славян) построено уже по типу патриархальной семьи: составлявшая ее группа работников, обыкновенно дед с сыновьями и внучатами, дядя с племянниками, братья родные или двоюродные—по отцу. Но мы очень ошиблись бы, если бы придали этой кровной связи первенствующее значение: она обыкновенна, но вовсе не безусловно обязательна. Подобное же коллективное хозяйство на севере вели сплошь и рядом совсем посторонние друг другу люди, соединявшиеся по договору «складства»: они образовывали такое же точно «печище», но не навсегда, а на известный срок, например, на 10 лет. В эти десять лет у складников все общее: движимое и недвижимое имение, инвентарь, рабочий скот, все доходы и расходы,—это, что называется, «одна семья». Через десять лет, если они не захотят возобновить договора «складства», они делят все общее достояние на равные доли и расходятся,—они опять чужие. Точно так же и для того, чтобы быть членами южно-славянской «великой кучи», нет необходимости принадлежать к ней по крови, по происхождению: в семью может быть принят и совершенно чужой человек, и пока он принимает участие в общей работе, он пользуется одина-

---

[1]) Остатки «материнского права» встречаются и у древних германцев, но для хронологически более ранней ступени.

ковыми правами со всеми другими членами «задруги». И здесь, значит, связь экономическая идет впереди кровной, «родственной» в нашем смысле.

На основе общего хозяйственного интереса вырастает вся первобытная общественная организация. Было бы очень наивно представлять себе первобытных людей в образе мирных тружеников, благоговейно относящихся к плодам чужого труда. Продукты этого последнего были обеспечены для семьи лишь постольку, поскольку она силой могла отстоять их от покушений соседей: отношения между соседями были «международными», употребляя теперешнее выражение. То, что монархист-летописец изображает как результат отсутствия государственной власти, когда говорит о положении славян перед призванием князей,—«и не бе в них правды и вста род на род, и быша усобицы в них, и воевати самя на ся почаша»—на самом деле было нормой междусемейных отношений и при наличности князей, пока не явились экономические интересы, более широкие, чем семейные, и на их основе не сложилась более широкая организация. «Русская Правда» приписывала отмену кровной мести сыновьям Ярослава Владимировича: значит, при Ярославе, т.-е. до половины XI столетия, допускалось кровомщение, иными словами, допускалась *частная война* между семьями. При Ярославе, однако же, как видно из той же «Правды», эта частная война была уже поставлена в довольно узкие пределы: в первой статье устанавливается, кто мог ее начать, и требуется определенный, можно бы сказать, «законный» повод: «аще убьет муж мужа». Семья могла начать войну только в том случае, если один из членов ее будет убит,—другими словами, допускалась война только *оборонительная.* Но летопись сохранила живое воспоминание о той поре, когда право частной войны понималось гораздо шире. После крещения Владимира епископы, рассказывает летопись, стали говорить князю: «Зачем ты не казнишь разбойников?»—«Боюсь греха», отвечал будто бы Владимир. Монах-летописец понял этот ответ, как выражение страха Божьего, как опасение согрешить, убив, т.-е. казнив, разбойника. Но князь, вероятно, видел «грех» в нарушении дедовского обычая, допускавшего разбой, т.-е. частную войну, во всей ее широте. Этот дедовский обычай в конце концов и восторжествовал: «и живяше Володимерь по устроенью отню и дедню», заканчивает летописец свой рассказ о совещании князя с епископами и старцами. Ограничить же право частной войны удалось только Ярославу Влади-

мировичу. Итак, *хозяйственная* организация семьи необходимо предполагала *военную* организацию для охраны продуктов хозяйства. Остатки этой военно-семейной организации тоже ясно видны в летописи: вместе отбиваясь от соседних «родов», «род» вместе ходил на войну и против общего, племенного врага. Рассказав о том, как Святослав победил греков, и взял с них дань, летописец замечает: «брал он дань и на убитых, говоря: это возьмет их род».

Если прибавить к этому, что, кроме врагов видимых и осязаемых, первобытному человеку за каждым враждебным его хозяйству явлением чудились враги невидимые, «сила нездешняя», то мы сможем себе представить довольно ясно, что такое была первобытная большая семья, «дворище» или «печище» на заре исторической эпохи. Члены такой семьи — работники в одном хозяйстве, солдаты одного отряда, наконец, поклонники одних и тех же семейных богов — участники общего культа. Это дает нам возможность понять положение отца такой семьи. Всего меньше он «отец» в нашем смысле этого слова. Руководство всем семейным хозяйством и военная дисциплина, необходимая для обороны этого хозяйства, дают в его руки громадную власть. К этой реальной силе его положение, как жреца семейного культа, прибавляет всю силу первобытного суеверия: отец один водится с богами, т.-е. духами предков, его «здешняя» власть увеличивается на всю громадную силу этих «нездешних» членов семьи. О сопротивлении домовладыке не может быть и речи: господин-отец — самодержец в широчайшем значении этого слова. Он распоряжается всеми членами семьи, как своею собственностью. Он может убить или продать сына или дочь, как продают свинью или козу. Отсюда в первобытной семье нет возможности провести демаркационную черту между членами семейства и рабами — и название для тех и других было общее. Древне-римское familia, которое переводят обыкновенно через «семейство», в сущности, означало «рабов одного господина»; древне-русская дворня называлась *чадью,* чадами своего барина; и теперь еще в слове *домочадцы* объединяются не только родственники хозяина дома, но и его прислуга. Крепостные крестьяне называли своего помещика *батюшкой,* а сын в древне-русской семье величал своего отца *государем-батюшкой,* как величал своего хозяина «государем» и древне-русский холоп. И барин был, действительно, для него государем в нашем смысле этого слова: он судил своего холопа и на-

казывал не только за проступки и неисправность в барском хозяйстве, но и за преступления общественного характера. «А старосте ни холопа, ни рабы без господаря не судити», говорит новгородское право. Представитель общественной власти не мог произнести приговора над холопом, не спросясь его господина-государя. Зато в приговор, произнесенный этим последним над своим холопом, общественная власть не считала себя в праве вмешиваться. «А кто осподарь огрешится, ударит своего холопа или рабу и случится смерть, в том наместници не судят, ни вины не емлют», говорит уставная двинская грамота (XIV века). По отношению к детям следы таких же прав отца писаный закон сохранил до Петра В.: его воинский артикул не считает убийством засечение своего ребенка до-смерти. Народные воззрения еще архаичнее писанного права: между сибирскими крестьянами еще в середине XIX в. господствовало убеждение, что за убийство сына или дочери родители подлежат только церковному покаянию. Тарас Бульба, собственноручно казнивший сына за измену, был вполне верен древнейшему народному представлению об отцовской власти.

Древнейший тип государственной власти развился непосредственно из власти отцовской. Разрастаясь естественным путем, семья могла при благоприятных обстоятельствах сохранить свое хозяйственное единство или, по крайней мере, прежнюю военную и религиозную организацию. Так образовывалось *племя,* члены которого были связаны общим родством, а, стало быть, и общей властью. У южных славян племенная организация сохранилась до нашего времени: в 60-х годах XIX века вся Черногория состояла из 7 племен; самое многочисленное из них, Белопавличи, считало до 3.000 «ружей», т.-е. взрослых, способных к бою мужчин. Естественному процессу нарастания судьба часто помогала искусственно: при постоянных стычках одна семья могла покорить одну или несколько других. Если победа была полная, решительная, побежденные просто-на-просто обращались в рабов; но если они сохраняли некоторую способность сопротивления, победители шли на уступку: побежденная семья сохраняла свою организацию, но становилась в подчиненные отношения к победительнице, была облагаема известными повинностями — *данью* — и превращалась в *подданных* победителей. Подобные же отношения могли, конечно, образоваться таким же точно путем и между двумя племенами. В этом случае власть господина-отца победив-

шего племени распространялась и на членов племени побежденного.

В древней Руси мы имеем обе эти формы *разрастания* патриархальной власти. Начальная летопись еще помнит то время, когда русские славяне, как теперешние черногорцы, делились на *племена,* и каждое племя имело свое княжение: «по смерти Кия с братиями начал род их княжить у полян, а у древлян были свои князья, у дреговичей свои, свои у новгородских и у полоцких славян». Свои племенные князья у древлян были еще в X веке — летопись называет по имени одного из них, Мала, который так неудачно сватался за Ольгу. Туземцы называли их «добрыми князьями, которые распасли древлянскую землю», противополагая их тем самым киевским князьям, завоевателям, которые древлянскую землю только грабили. В более глухих местах такие племенные старшины дожили до XII века, и еще Мономаху приходилось иметь дело с Ходотой и сыном его, туземными царьками самого отсталого из русских племен, вятичей. Но Ходоту уже не называют князем: этот титул специализировался за членами рода, сидевшего в Киеве. Настоящие *князья* XII века — не потомки местных патриархальных владык, а люди пришлые. Откуда они пришли—это достаточно показывают их имена: в Рюрике, Игоре, Олеге летописи нетрудно признать древне-скандинавских Река, Ингвара и Хелега (Helgi). Еще в X веке они говорили на особом от туземного населения языке, который они называли «русским». Константин Багрянородный приводит целый ряд таких «русских» названий днепровских порогов: все они объясняются из *шведского* языка [1]). Скандинавское происхождение Руси настолько удовлетворительно доказывается этими лингвистическими данными, что прибегать к более нежели сомнительным свидетельствам средневековых хронистов, как это часто делалось в пылу полемики, совершенно лишнее.

После всех споров о происхождении рюриковой династии пришлось, таким образом, присоединиться к мнению автора начальной летописи, который очень определенно указывал местожительство Руси «за морем», т.-е. по ту сторону Балтийского моря, и считал ее ближайшей родней Норманнов (Урмане) — в частности шведов (Свее). В вопросе о том, *как* появилась эта династия среди восточных славян, всего безопаснее держаться того

---

[1]) См. *Томсен.* «Начало Русского государства».

же летописного текста. Отношения «Руси» к славянам, по летописи, начались с того, что варяги, приходя из-за моря, брали дань с северо-западных племен, славянских и финских. Население сначала терпело, потом, собравшись с силами, прогнало норманнов, но, очевидно, не чувствовало себя сильным достаточно, чтобы отделаться от них навсегда. Оставалось одно — принять к себе на известных условиях одного из варяжских конунгов с его шайкой, с тем, чтобы он оборонял зато славян от прочих норманнских шаек. «Поимем себе князя, который бы владел нами... по ряду», говорили будто бы собравшиеся на совещание чудь, славяне, кривичи и весь. Но «володеть» на языке летописи вовсе не значит только «господствовать», «быть государем», — а значит, прежде всего, «брать дань». Рассказывая о том, как хазары пришли брать дань с полян и получили в виде дани *меч,* летописец приводит предсказание, сделанное будто бы хазарскими «старцами»: «Не хорошая эта дань! мы ее получили саблей — оружием с одним острием; а у этих оружие обоюдоострое — меч: будут они брать дань на нас и на других странах». «Так и случилось,—прибавляет летописец,—*володеют* хазарами русские князья до нынешнего дня».

Так «владеть» и «брать дань» для летописца одно и то же. После этого нам становится понятно, что значит «владеть по ряду»: новгородские славяне просто-на-просто откупились от грабежей норманнов Рюрикова племени, пообещав им платить ежегодно определенную сумму, которую дальше летопись и называет. До смерти Ярослава новгородцы платили варягам 300 гривен в год «ради мира»; с этой целью — купить мир — и был заключен *ряд* с Рюриком и братьями.

То, что произошло в этом случае, нельзя охарактеризовать иначе, как *завоеванием,* в его более мягкой форме, когда побежденное племя не истреблялось, а превращалось в «подданных». Стоит припомнить рассказ о том, как Игорь собирал дань с древлян, чтобы для нас не осталось никакого сомнения в характере его «владения». «Посмотри, князь,—говорила дружина Игорю,— какая богатая одежда и оружие у свенельдовых людей. Пойдем с нами за данью: и ты добудешь, и мы». Значит, итти по дань можно во всякое время, — как только тот, кто берет дань, почувствует пустоту в своем кармане. Аппетит приходит вместе с едой: собрав обычную дань, Игорю не хотелось уйти. «Ступайте вы домой,—сказал он дружине,—а я пойду, похожу еще». Меркой

дани в этом случае было терпение местных жителей, и оно на этот раз не выдержало: «повадится волк к овцам,—сказали древляне,—выносит все стадо, если не убить его: так и этот, если его не убить, то всех нас погубит». И послали ему сказать: «Зачем ты опять идешь? Ведь ты всю дань взял?» Игорь не послушал предостережения и был убит. Его вдова жестоко отомстила за его смерть, но не решилась продолжать его политику. Завоевав снова древлянскую землю, она «установила уставы и уроки»: древлянская дань была нормирована в половине X века, как сто лет раньше была нормирована новгородская дань.

История Игоря чрезвычайно ярко рисует нам «властвование» древне-русского князя над его «подданными». Мы видим, что ни о каких «началах государственности», якобы занесенных к нам князьями из-за моря, не может быть и речи. Русские князья у себя за морем были такими же патриархальными владыками, как и их славянские современники: их скандинавское название «конунгов», kunning, именно и означает «отца большой семьи»—от Kunne — семья. И пришли они к славянам «с родом своим»: это было переселение целого небольшого племени. Совершенно естественно, что власть этих пришлых князей носит на себе яркий патриархальный отпечаток, удержавшийся не только в киевскую эпоху, но и гораздо позже. В царе московской Руси XVI—XVII в.в. много черт такого же «господина-отца», каким был впервые призванный «править Русью» варяжский конунг.

Роли князя в *племенном культе* мы касаться здесь не будем. Нет надобности распространяться о *военном* значении древнерусского князя, как позже московского царя — эта сторона в элементарных учебниках выступает даже чересчур ясно. Стоит отметить, ради характеристики консервативности древнего обычая, те случаи, где предводительство князя на войне было, в сущности, явно нецелесообразно. В том же описании похода Ольги против древлян мы встречаем очень любопытный образчик этого обычая. Хотя сын Игоря, Святослав, был еще очень мал, он однако же находился при войске и даже принимал участие в битве; дружина дожидалась, пока князь начнет бой. Когда Святослав бросил своей детской ручонкой копье, которое тут же и упало у самых ног его лошади, только тогда настоящий предводитель Свенельд дал команду двигаться вперед: «Князь уже начал: пойдем, дружина, за князем!» В 1541 г. напали на Москву крымские татары. Никоновская летопись рассказывает, по этому случаю, о

распоряжениях, которые делал великий князь: как он приказал расставить артиллерию, каких он назначил воевод, какие дал этим воеводам инструкции и т. д. При некоторой невнимательности к хронологии все это можно понять совершенно буквально, но надо вспомнить, что в 1541 г. Ивану Васильевичу было всего 11 лет. Очевидно, распоряжалась всем боярская дума, правившая тогда страной от его имени, но обычная форма строго соблюдалась, и на словах главнокомандующим считался все-таки маленький великий князь.

Гораздо важнее и характернее для древне-русского государственного права та его особенность, в силу которой князь, позже государь московский, был собственником всего своего государства на частном праве, как отец патриархальной семьи был собственником самой семьи и всего ей принадлежащего. В духовных грамотах князей XIV—XV в.в. эта черта выступает так ясно, что ее нельзя было не заметить, — и мы давно знаем, что Иван Калита не делал различия между своею столицею Москвою и своим столовым сервизом [1]. Но было бы большой ошибкой считать это последствием какого-то упадка «государственного значения» княжеской власти в глухую пору удельного периода: *юридически* в течение всей древней русской истории дело не обстояло иначе. Прежде всего, древняя Русь не знала двух разных слов для обозначения политической единицы, во главе которой стоял князь, и личного имения этого последнего. И то, и другое обозначалось одним словом: *волость*. На страницах летописи это слово нередко, совсем рядом, употребляется в обоих значениях: то в одном, то в другом, и летописец, очевидно, не находит тут повода к какому-нибудь недоумению. Сама государственная власть выражалась тем же термином «волость»: описывая, как неудачного киевского князя Игоря Ольговича схватили в болоте, куда он попал во время бегства, и привели к его счастливому сопернику, Изяславу Мстиславичу, летописец заключает: «и тако скончалась *волость* Игорева». Совершенно естественно, что и имения частных лиц и учреждений тоже назывались «волостями»: были волости Пресвятой Богородицы, т.-е. Печерского монастыря, а в XV веке у Ивана III было длинное пререкание с новгородским владыкою из-за «волостей», принадлежавших этому последнему, которые великий князь хотел присвоить себе. Но еще любопытнее, что пригороды рас-

---

[1]) См. напечатанную еще в 50-х гг. статью *Чичерина*: «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей».

сматривались, как частная собственность главного города области. Не один раз князья ходили на несчастный Торжок и жгли его «за новгородскую неправду» с тем, очевидно, чтобы истреблением новгородской собственности отомстить непослушному городу за его упрямство. Здесь права отца-господина перешли, таким образом, к собирательному целому, к городской общине, которая и явилась, таким путем, коллективным патриархом.

Из этого смешения частного и государственного права прежде всего вытекало то последствие, что князь был собственником на частном праве всей территории своего княжества. Пока князья постоянно передвигались с одного места на другое, они мало обращали внимание на эту сторону своих прав. Но когда они прочно уселись на местах в северо-восточной Руси, это право нашло себе тотчас же вполне реальное осуществление. Когда московского крестьянина XV—XVI в.в. спрашивали, на чьей земле он живет, обыкновенно, получался ответ: «та земля государя великого князя, а моего владения» или «земля Божья да государева, а роспаши и ржи наши». Частное лицо могло быть лишь временным владельцем земли — собственником ее был князь. Он мог уступать это право собственности другому лицу, особенно, лицу для него нужному, но это была уже привилегия, которую последующие князья могли и отнять. Такой привилегией пользовались обыкновенно *бояре,* ближайшие сотрудники князя, потому особенно ему нужные люди. Затем, тою же привилегией частной земельной собственности пользовались и монастыри: первый, по времени, пример пожалованья земли в вотчину мы встречаем именно в рассказе о построении Киево-Печерского монастыря (начальная летопись под 1051 годом). Монастырь был основан на совсем пустом месте: «бе бо лес тут велик». Тем не менее, братия предусмотрительно запаслась разрешением князя Изяслава, без чего князь всегда мог согнать монастырь с занятой им земли.

Не только князь был собственником всего *недвижимого* имущества своих подданных, — он распоряжался и их *движимостью* по своему усмотрению. При Василии Ивановиче, отце Грозного, ездили в посольство в Испанию — к императору Карлу V — кн. Иван Ярославский и дьяк Трофимов. «Кесарь» щедро их одарил серебряными и золотыми сосудами, блюдами, цепями, монетами и т. п. Все это очень понравилось великому князю, и он велел снести подарки, данные *его послам,* в *свою* собственную великокняжскую кладовую. Герберштейн, рассказавший этот случай,

был очень изумлен таким бесцеремонным обращением с чужой собственностью, но московское общество приняло дело совершенно хладнокровно. «Что же,—говорили Герберштейну его русские приятели,—государь иным чем пожалует».



Фрески катакомбы, открытой в Керчи в 1872 г. (См. заставку на стр. 5).

ГЛАВА II.

Феодальные отношения в древней Руси.

Золотое ожерелье жрицы Деметрю, погребенной в Большой Близнице на Таманьском полуострове. (IV—III в.в. до Р. Х.)



ервобытный общественный строй, который мы рассматривали во II главе, уже для древней России был прошлым. От него сохранялись только переживания, правда, довольно упрямые и цепкие, по глухим углам продержавшиеся почти до наших дней. Но то, что было настоящим для древней Руси, ее повседневная действительность, принадлежало к позднейшей стадии общественного развития. Эту позднейшую стадию, возникшую непосредственно из тех отношений, которые мы условились называть «первобытными», западно-европейские историки и социологи давно окрестили именем «феодализма». Националистическая историография, усиливавшаяся доказать, что в истории России все было «своеобычно», оригинально и непохоже на историю других народов, отрицала

существование феодализма в России. Она успела не одному поколению читающей публики внушить знаменитое, ставшее классическим, противоположение каменной, гористой, изрезанной горами и морями на множество клочков Европы, в каждом уголке которой сидел свой «феодальный хищник», упрямо и удачно сопротивлявшийся всем попыткам централизации, и деревянной, ровной, однообразной на всем своем протяжении России, не знавшей феодальных замков, как не знает она ни морей, ни гор — и самой природой, казалось, предназначенной для образования единого государства. Это противоположение, исходившее от наблюдений не столько над социальным строем, сколько над пейзажем, как он рисуется нам, когда мы глядим из окошка железнодорожного вагона, несомненно страдало некоторым перевесом наглядности над научностью. Стоило несколько строже поставить вопрос о том, что же такое *«феодализм»*, и в чем состоят его отличительные признаки, чтобы выразительная, на первый взгляд, параллель каменного замка западно-европейского барона и деревянной усадьбы русского вотчинника утратила всю свою убедительность. В современной исторической науке ни материал построек, ни наличность или отсутствие в ландшафте горного хребта при определении основных признаков феодализма в расчет вовсе не принимаются. Эта современная наука усваивает феодализму, главным образом, три основные признака. Это, во-первых, господство крупного землевладения, во-вторых, связь с землевладением политической власти, — связь настолько прочная, что в феодальном обществе нельзя себе представить землевладельца, который не был бы в той или другой степени государем, и государя, который не был бы крупным землевладельцем, и, наконец, в-третьих, те своеобразные отношения, которые существовали между этими землевладельцами-государями: наличность известной *иерархии* землевладельцев, так что от самых крупных зависели более мелкие, от тех еще более мелкие и так далее, и вся система в целом представляла собою нечто вроде лестницы. Вопрос о том, существовал ли феодализм в России, и сводится к вопросу, имелись ли налицо в древне-русском обществе эти три основные признака. Если да, то можно сколько угодно толковать о своеобразии русского исторического процесса, но наличность феодализма в России признать придется.

Крупное землевладение в России мы встречаем уже в очень раннюю эпоху. Более полная редакция «Русской Правды» (предста-

вляемая списками, так называемыми, Карамзинским, Троицким, Синодальным и другими) в основном своем содержании никак не моложе XIII века, а отдельные ее статьи и гораздо старше. А в ней мы уже находим крупную боярскую вотчину с ее необходимыми атрибутами: приказчиком, дворовой челядью и крестьянами, обязанными за долг работать на барской земле («закупами»). «Боярин» «Русской Правды», прежде всего, крупный землевладелец. Косвенные указания «Правды» находят себе и прямое подтверждение в отдельных документах: в конце XII столетия один благочестивый новгородец жертвует монастырю св. Спаса целых два села «с челядью и со скотиною», с живым инвентарем, как четвероногим, так и двуногим. Для более поздних веков указания на существование больших имений становятся так многочисленны, что доказывать наличность этого явления не приходится. Стоит отметить, ради наглядности, лишь размеры тогдашней крупной собственности, да указать ее характерные, сравнительно с нашим временем, особенности. В новгородских писцовых книгах XV века мы встречаем владельцев 600, 900 и даже 1.500 десятин одной пахотной земли, не считая угодьев — луга, леса и т. д. Если принять в расчет, что леса тогда часто мерялись даже и не десятинами, а прямо верстами, и что пашня составляла лишь небольшую часть общей площади, то мы должны притти к заключению, что имения в десятки тысяч десятин не были в древнем Новгороде редкостью. В половине следующего XVI века Троице-Сергиеву монастырю в одном только месте, в Ярославском уезде. в волости Черемхе, принадлежало 1.111 четвертей (555½ десятин) пашни, что при трехпольной системе, тогда уже обще-распространенной в средней России, составляло более 1.600 десятин всего; к этому были луга, дававшие ежегодно до 900 копен сена, и «лесу поверстного, в длину на 9 верст, а в ширину на 6 верст» [1]. Это отнюдь не было главное из земельных владений монастыря, напротив, это была лишь небольшая их часть: в соседнем Ростовском уезде у той же Троице-Сергиевой Лавры, тоже в одном только имении, селе Новом, было до 5.000 десятин одной пашни, да 16 квадратных верст леса. В то же время в Тверском уезде мы встречаем помещика, значит, не наследственного, а вновь возникшего собственника, князя Семена Ивановича Глинского, владевшего, кроме того села, где была его усадьба, 65 деревнями и 61 починком, в которых было

---

[1]) «Писцовые книги», изд. Калачева, т. I. отд. 2, стр. 6.

в общей сложности 273 крестьянских двора, а при них более полуторы тысячи десятин пашни и луга, дававшие до десяти тысяч копен сена. Глинский был важный барин, родственник самого великого князя, но у его соседей, носивших совершенно негромкие имена, один — Ломакова, а другой — Спячева, было у первого двадцать две деревни, а у второго — 26 деревень да 6 починков. А в Ростовском уезде, в селе Поникарове, мы найдем даже и не дворянина, а простого дьяка (дьяки были «чин худой», по понятиям московской аристократии), владевшего 35 крестьянскими и бобыльскими дворами, которые пахали все вместе до 500 десятин земли.

Мы не даром перешли от количества десятин к количеству дворов и деревень, принадлежавших тому или другому барину: без этого сопоставление не было бы достаточно наглядным. Дело в том, что мы очень ошиблись бы, если бы предположили, что все эти сотни и тысячи десятин, принадлежавших одному собственнику, пахались этим последним на себя и составляли одно или несколько крупных хозяйств. Ничего подобного: каждая отдельная деревня, каждый отдельный крестьянский двор («двор» и «деревня» тогда часто совпадали, однодворная деревня была даже типичной) пахали свой отдельный участок земли, а сам вотчинник со своими холопами довольствовался одной «деревней» или немногим больше. Самый богатый землевладелец, какого мы только находим в Новгородских писцовых книгах, имел собственное хозяйство только в том селе, где стояла его усадьба и где всей обработанной земли было от 20 до 30 десятин. В том имении, где Троицкому монастырю принадлежало до 5.000 десятин, собственно монастырская пашня составляла менее 200 десятин, а монастыри вели еще, по-тогдашнему, весьма интенсивное хозяйство и шли впереди всех других земельных собственников. Тут мы подходим к основному признаку феодального крупного землевладения: это было сочетание крупной *собственности* с мелким *хозяйством*. Доход тогдашнего богатого барина состоял, главным образом, не в продуктах его собственной пашни, а в том, что доставляли ему крестьяне, ведшие, каждый на своем участке, свое самостоятельное хозяйство. Писцовые книги, в особенности новгородские, дают нам чрезвычайно выразительную картину этого собирания по крохам тогдашнего крупного дохода. Один землевладелец Деревской пятины получал с одного из своих дворов: «из хлеба четверть, четку ячменя, четку овса, ½ барана, 1 сыр, 2 горсти льна, 10 яиц».

Другой, принадлежавший к уже более прогрессивному типу, брал с такого же крестьянского двора «4½ деньги, или хлеба пятину, сыр, баранью лопатку, ½ овчины, 3½ горсти льну» [1]. Не только продукты сельского хозяйства в тесном смысле получались таким способом владельцем земли, но и продукты, по-нашему, обрабатывающей промышленности: дворы кузнецов платили топорами, косами, сошниками, сковородами. Еще характернее, что таким же путем приобретались и личные услуги: в писцовых книгах мы найдем не только целые слободы конюхов и псарей, — княжеские конюха и псари бывали даже, относительно, довольно крупными землевладельцами, — но и скоморохов со скоморошицами. Оброк этих средневековых артистов заключался, очевидно, в тех увеселениях, которые они доставляли своему барину. У в. кн. Симеона Бекбулатовича в селе Городищи жил садовник, «да ему же дано в сельском поле пашни полдесятины для того, что сад бережет и яблони присаживает». Наиболее бросавшимся в глаза способом такого приобретения личных услуг в виде оброка с земли, и у нас, и на Западе, было требование за землю военной службы. Не заметить этого вида феодального оброка было невозможно—и, замечая только его, как нечто специфическое, наша историография построила на этом своем наблюдении широкую и сложную картину так называемой «поместной системы». Но поместная система представляет собою лишь особенно яркую деталь феодальной системы вообще, сущность которой состояла в том, что землевладелец уступал другим свое право на землю за всякого рода натуральные повинности и приношения.

Всего позднее в составе этого феодального оброка появляются *деньги:* по новгородским писцовым книгам мы можем проследить превращение натуральных повинностей в денежные воочию, при чем инициатива этого превращения принадлежала самому крупному землевладельцу, великому князю московскому. И одновременно с деньгами, или лишь немного ранее их, видное место в ряду натуральных повинностей начинает играть труд крестьян на барской пашне, которая становится слишком велика, чтобы с нею можно было справиться руками одних холопов: появляется *барщина.* И то и другое отмечает собою возникновение совершенно нового явления, незнакомого раннему феодализму или игравшего в то время очень второстепенную роль: возникновение

---

[1] *Сергеевич,* «Древности русского права», III, стр. 112—113.

рынка, где все можно купить, обменять на деньги и притом в любом, неограниченном количестве. Только появление внутреннего хлебного рынка могло заставить вотчинника и помещика XVI века серьезно приняться за самостоятельное хозяйство, как на рубеже XVIII и XIX столетий появление международного хлебного рынка дало новый толчок в том же направлении его праправнуку. Только теперь стал ценен каждый лишний пуд хлеба, потому что он обозначал собою лишнее серебро в кармане, а за серебро стало возможно найти удовлетворение всем своим потребностям, в том числе и таким, которых не удовлетворил бы никакой деревенский оброк. В период зарождения феодализма покупка и продажа были не правилом, а исключением: продавали не из выгоды, а из нужды, продавали не продукты своего хозяйства, а свое имущество, которым до того сами пользовались; продажа часто была замаскированным разорением, а покупка, обыкновенно покупка предметов роскоши, потому что предметы первой необходимости были дома, под руками, и покупать их не приходилось, — покупка была нередко первым шагом на пути к такому разорению. В старое время тот хозяйственный строй, где стараются обойтись своим, ничего не покупая и не продавая, носил название *натурального хозяйства.* За специфический признак принималось, очевидно, отсутствие или малая распространенность денег и получение всех благ *натурою.* Но отсутствие денег было лишь производным признаком, суть дела сводилась к отсутствию *обмена,* как постоянного ежедневного явления, без которого нельзя и представить себе хозяйственной жизни, как это стало в наши дни. Замкнутость отдельных хозяйств была главным, и, в применении к крупному землевладению, эта эпоха получила у новейших ученых название эпохи замкнутого *вотчинного* или *поместного* хозяйства («мэнориального», как его еще иногда называют, от названия английской средневековой вотчины—manor).

Мы видим, что у этого хозяйственного типа есть одно существенное сходство с тем, которое мы рассматривали в I главе: с «печищем» или «дворищем». И там и тут данная хозяйственная группа стремится удовлетворить все свои потребности своими средствами, не прибегая к помощи извне и не нуждаясь в ней. Но есть и очень существенное различие: там плоды общего труда шли тем, кто сам же и трудится — производитель и потребитель сливались в одном тесном кружке людей. Здесь производитель и потребитель отделены друг от друга: производят отдельные мел-

кие хозяйства, потребляет особая группа—вотчинник с его дворней, чадами и домочадцами.

Как могли сложиться такие отношения? Что заставляло эти сотни мелких хозяев поступаться частью своего дохода в пользу одного лица, никакого непосредственного участия в производственном процессе не принимавшего? С первого взгляда средневековый крестьянский оброк приводит на память одну категорию отношений, хорошо нам знакомых. И теперь часто крупный собственник, не эксплоатируя всей своей земли сам, часть ее сдает в аренду более мелким хозяевам. Не есть ли все эти бараны, куры, холст или сковороды просто натуральная форма арендной платы, вознаграждение за снятую землю? Если отрешиться на минуту от всякой исторической перспективы, представить себе, что люди во все времена и во всех странах совершенно одинаковы — как это часто представляли себе писатели XVIII века, а иногда делают и современные нам юристы, — такое объяснение покажется нам наиболее простым и естественным. Несомненный факт передвижения больших масс русского населения с запада на восток — а позднее и с севера на юг — специально для России подкреплял это естественное, на первый взгляд, представление другим: русский крестьянин рисовался человеком бродячим, постоянно ищущим нового места для поселения. И вот, бродячие крестьяне, снимающие на год, два или три землю в той или иной вотчине, потом идущие дальше, уступая свое место новым пришельцам, — эта картина надолго запечатлелась в памяти многих русских историков. Не сразу пришло в голову то простое соображение, что все эти — несомненные сами по себе — передвижения народных масс подобны тем вековым изменениям в уровне моря, которые совершенно недоступны взгляду отдельного наблюдателя, ограниченного тесными пределами своей личной жизни, и которые становятся заметны лишь тогда, когда мы сравним наблюдения многих поколений. Что правнук русского крестьянина часто умирал очень далеко от того места, где был похоронен его прадед — это верно, но очень поспешно было бы делать отсюда вывод, что и прадед и правнук при своей жизни были странствующими земледельцами, смотревшими на свою избу, как на что-то вроде гостиницы. Чтоб остаться верным такому представлению, нужно закрыть глаза на типичное для древней Руси явление, выступающее перед нами чуть ли не во всяком документе, где речь идет о земле и землевладении. Ни один спор о земле не решался в то время без уча-

стия *старожильцев,* иные из которых «помнили» за тридцать, другие за сорок, а иные даже за семьдесят и девяносто лет. Эти старожильцы обнаруживали нередко удивительную топографическую память относительно данной местности: наизусть умели показать все кустики и болотца, всякую «сосну обожженную» и «ольху виловатую», отмечавшую собою межу того или другого имения. Чтобы так его знать, в нем нужно было родиться и вырости, — бродячий арендатор, случайный гость в вотчине, даже за десяток лет не изучил бы всех этих деталей: да и были бы они для него интересны? «Старожилец» был, нет сомнения, таким же прочным и оседлым жителем имения, как и сам вотчинник; и если он платил последнему оброк, то едва ли как съемщик земли, которую,— что бывало нередко, — исстари пахали не только он сам, но и его отец и даже дед. Но этого мало: «старина», по древне-русским юридическим представлениям, могла даже и бродячего человека превратить в оседлого. Вновь пришедший крестьянин в имении мог «застареть» — и тогда он терял уже право искать себе нового вотчинника. Какую роль сыграла эта «старина» в позднейшем закрепощении крестьян, это мы увидим в своем месте; пока для нас важно отметить, что и юридически древняя Русь исходила из представлений о крестьянине, как более или менее прочном и постоянном обитателе своей деревни. Кто хотел бродить, тот должен был спешить сниматься с места, иначе он сливался с массою окрестных жителей, которых закон рассматривал, очевидно, как оседлое, а не как кочевое население. Словом, представление о древне-русском земледельце, как о перехожем арендаторе барской земли, и об оброке, как особой форме арендной платы, приходится сильно ограничить, и не только потому, что странно было бы найти современную юридическую категорию в кругу отношений, так мало похожих на наши, но и потому, что оно прямо противоположно фактам. Делиться с барином продуктами своего хозяйства крестьянин, очевидно, должен был не как съемщик барской земли, а по каким-то другим основаниям.

Для феодализма, как всемирного явления, это основание западно-европейской исторической литературой указано давно. В ней давным-давно говорится о процессе *феодализации* поземельной собственности. Здесь картина рисуется приблизительно такая. В самом начале оседлого земледелия земля находится в руках тех, кто ее обрабатывает. Большинство исследователей принимает, что земледельческое население хозяйничало тогда не ин-

дивидуально, а группами, и земля принадлежала этим же группам»; что исходной формой поземельной собственности была собственность не личная, а *общинная*. Мало-по-малу, однако же, общинная собственность разлагалась, уступая место индивидуальной; параллельно с этим шла дифференциация и среди самого населения общины. Более сильные семьи захватывали себе все больше и больше земли, более слабые теряли и ту, что была в их руках первоначально, попадая в экономическую, а затем и политическую зависимость от сильных соседей. Так возникла крупная феодальная собственность с знакомыми нам отличительными признаками. Для некоторых стран — Англии, например — свободная община, как первичное явление, феодальное имение, как вторичное, позднейшее, считаются в настоящее время доказанными. О России этого никак нельзя сказать. Спор о том, существовала ли у нас искони поземельная община, ныне распадающаяся, начался не со вчерашнего дня: в своей классической форме он имеется уже перед нами в статьях Чичерина и Беляева, относящихся еще к 50-м годам XIX века. Но данные для решения этого спора до последнего времени остаются чрезвычайно скудными. Одним из наиболее типических признаков общины являются, как известно, *переделы:* так как в общине ни одна пядь земли не принадлежит в собственность отдельному лицу, то время от времени, по мере перемен в составе населения, общинная земля переделяется заново, применительно к числу наличных хозяев. Но до XVI века в России можно указать только один случай земельного передела, да и тот был совершен по инициативе не крестьян, а местного вотчинника, его приказчиком. Другими словами, здесь феодальные отношения уже существовали. Что было до них? Наиболее правдоподобным ответом будет тот, что у нас феодализм развился непосредственно на почве того коллективного землевладения, которое мы определили, как «первобытное» — землевладения «печищного» или «дворищного». Мы помним, что эта своеобразная «коммуна» отнюдь не была тою ассоциацией свободных и равных земледельцев, какою рисуется некоторыми исследователями, например, община древних германцев. В «печище» не было индивидуальной собственности, потому что не было индивидуального хозяйства; но когда последнее появилось, о равенстве не было и помину. Если два брата, ранее составлявшие «одну семью», делились, то печище распадалось на две равные половины. Но у первого могло быть три сына, а у второго один: в следующем поко-

лении трое из внуков одного деда владели каждый $^1/_6$ деревни (мы помним, что «деревня» и «двор», хозяйство, часто, а в древнейшую эпоху, вероятно, и всегда, совпадали), а четвертый внук — целой половиной. Такие резкие примеры, правда, встречаются редко: при обилии леса каждый, кому было тесно в родном печище, мог поставить новый «починок», который быстро превращался в самостоятельную деревню. Но такие случаи, что в руках одного из содеревенцев находится $^1/_3$ деревни, а в руках другого остальные $^2/_3$, в писцовых книгах очень обыкновенны. Представлению о равном праве каждого на одинаковый с другим земельный участок здесь неоткуда было взяться, да, повторяем, и экономической нужды в этом равенстве пока еще не было.

Пародируя известное выражение, что русский народ занимал восточно-европейскую равнину, «не расселяясь, а переселяясь», можно сказать, что развитие древне-русской деревни шло путем не «разделов», а «выделов». Для того, чтобы возникла и у нас община с ее переделами, мало было тех финансовых и вообще политических условий, о которых нам еще придется говорить ниже: нужна была еще земельная теснота, а о ней и помину не было в до-московской и даже ранней московской Руси. Давно было указано, что наилучшую аналогию по части земельного простора для древней России дают наименее заселенные местности современной Сибири. Как там, так и тут, чтобы вступить в полное обладание земельным участком среди нерасчищенного, девственного леса, достаточно было «очертить» этот участок, поставив метки на окружающих его деревьях. Такой чертеж мы встречаем одинаково и в «Русской Правде» с ее «межным дубом», за срубку которого полагался крупный штраф, и в документах XVI века, которым знакомо даже и это слово «чертеж». В одном судном деле 1529 года судьи спрашивают местных «старожильцев»: «Скажите по великого князя крестному целованию, чья та земля и лес, на которой стоим и хто тот чертеж чертил, и лес подсушивал, и овин поставил, и пашню пахал, и сколь давно?» И границами имения, как во времена «Правды» и как в теперешней или недавней Сибири, были меченые деревья. Еще в 1552 году монастырский старожилец в одном земельном споре, доказывая правоту своего монастыря, шел с образом «с дороги налево к дубу кривому, *а на нем грань,* да к сосне, *а на сосне грань,* от сосны к дубу виловатому,

на нем грань, а от дуба виловатого через поженку болотом к дубу, а на дубе грань...» [1]).

Если следов поземельной общины в старых—до XVI в. включительно — наших документах очень мало, то следов печищного землевладения на вотчинных землях этой эпохи сколько угодно. Прежде всего, юридическая форма коллективной семейной собственности оказалась, как этого и следовало ожидать, гораздо устойчивее ее экономического содержания. Вотчинная, наследственная земля в писцовых книгах очень редко является, как имущество одного *лица,* гораздо чаще в качестве субъекта владения перед нами выступает *группа* лиц, по большей части, близких родственников, но иногда и дальных. В сельце Елдезине, в волости Захожье, в Тверском уезде, в начале XVI века сидели Михаил да Гридя Андреевы, дети Елдезины, да Гридя Гаврилов, сын Елдезин: два родных брата да один двоюродный. После их смерти их наследники поделились между собою, но опять не на индивидуальные, личные участки. На одной четверти сельца Елдезина оказались вдова Григорья (иначе Гриди) Андреевича Елдезина, Матрена, с двумя сыновьями, половина сельца досталась троим сыновьям Михаила Андреевича и лишь последняя четверть Елдезинской вотчины нашла себе, очевидно, совершенно случайно, единичного владельца в лице Грибанка Михайловича. В том же уезде, в другой волости была деревня Ключниково, собственником которой была группа в четыре человека, состоявшая из Сенки да Михаля Андреевых, детей Яркова — родных братьев — да их племянников, Юрки да Матюши Федоровых, детей Яркова. Мы берем два примера из бесчисленного количества встречающихся на страницах московских писцовых книг. До чего непривычна была Московской Руси XVI века идея личной земельной собственности, показывает нам любопытный факт, что, когда великий князь стал раздавать земли в поместья за службу, то, хотя сама служба была, конечно, личной, ему не пришло в голову раздавать землю тоже отдельным лицам. Понятие о личном служебном участке, служилой «выти», сложилось лишь весьма постепенно. И поместьями первоначально владеют, обыкновенно, отец с сыновьями, дядя с племянниками, несколько братьев вместе. А иногда бывает и так, что на служилом участке сидит мать с сыном, и хотя сыну три года, и служить он, очевидно, не может, но землю оставляют за ним,

---

[1]) См. акты, изд. Лихачевым. Спб. 1895, вып. I—II, стр. 167 и 235.

«покамест в службу поспеет»: нельзя лишать земли целую семью из-за того, что в данный момент в ней некому отбывать воинскую повинность.

Но если юридическая форма держалась прежняя, фактически «печище» давно уже стало дробиться, как это мы видели уже несколько раз; следы этого дробления являются не менее характерным показателем того способа, каким возникала крупная вотчинная собственность древней Руси, нежели остатки коллективного владения. Мы видели, как в руках членов одной семьи через несколько поколений оказывались дроби прежней «деревни»; но и колоссальные «княженецкие» вотчины слагались иной раз из таких же дробных, мелких «жеребьев». В том же Тверском у., по писцовой книге 1539—1540 г.г., треть деревни Быково принадлежала кн. Борису Щепину, а две трети оставались в руках прежних вотчинников Давыдовых. За Митею Рыскуновым была половина деревни Коробьино, а другая половина за кн. Дмитрием Пунковым. Половина деревни Поповой была в руках Федора Ржевского, а другая половина — «вотчина княгини Ульяны Пунковой». Иногда, благодаря дроблению, на одной и той же земле — и часто небольшой — соединялись вотчинники чрезвычайно разнообразного общественного положения. У семьи Щеглятевых, все в том же Тверском уезде, было две деревни да починок — всего около 60 десятин пашни. Один из этих Щеглятевых служил княгине Анне, жене князя Василия Андреевича Микулинского. А поколение спустя, мы встречаем на одной из Щеглятевских деревень целых трех владельцев: ту же княгиню Анну, «сюзерена» одного из Щеглятевых, как мы видели, другого Щеглятева, который в это время был священником, да некую Ульяну Ильиничну Ферезнину, выменявшую у кого-то из вотчинников один из жеребьев этой деревни в обмен на другую землю. Как видим, очень ошибочно было бы представлять себе вотчинников времен Ивана Васильевича Грозного или его отца исключительно важными господами, лордами или баронами своего рода. Собственником земли мог быть и поп, мог быть и дьяк, мог быть и холоп, вчерашний или даже сегодняшний. Князь Иван Михайлович Глинский, умирая в 80-х годах XVI века, просил своего душеприказчика, Бориса Федоровича Годунова, «пожаловать его» — дать его «человеку» Берсегану Акчюрину одну из вотчинных деревень Глинского в Переяславльском уезде. Наследник, очевидно, вступил во все права наследодателя — и деревня, в силу этого завещания, должна была

стать вотчиною Акчюрина, по той же духовной грамоте получавшего и свободу. Здесь отпущенный на волю холоп превратился в вотчинника, а в писцовых книгах первой половины века мы находим вотчинника, отказавшегося от своей свободы и превратившегося в холопа. Некий Некрас Назаров сын Соколов, сидевший на половине сельца Ромашкова, в Тверском уезде, заявил писцам, что он служит князю Семену Ивановичу Микулинскому, «а сказал на себя полную грамоту да кабалу в 8 рублях». Вотчинник, подобно крестьянам той поры, расквитался с долгом, отдав в уплату самого себя.

Это не только не был, разумеется, очень знатный человек, но это не был, конечно, и сколько-нибудь крупный землевладелец, иначе его не постигла бы такая судьба. Мы видели, что крупная собственность уже господствовала в XVI веке, — но это отнюдь не значило, что всякая вотчина этого времени была непременно крупным имением. Ко времени составления писцовых книг мелкая собственность далеко еще не была поглощена окончательно, и в этих книгах мы сплошь и рядом встречаем вотчинников, полных, самостоятельных, наследственных собственников своей земли, владеющих чисто крестьянским по размеру участком — 10 или 12 десятинами пашни в трех полях. Такой «лэндлорд» мог и в пролетария превратиться совершенно так же, как любой крестьянин. Все в том же Тверском уезде писцы нашли деревню Прудище, принадлежавшую некоему Васюку Фомину, на которую им «письма не дали» по весьма уважительной причине: описывать было нечего. Там не только не велось хозяйство, но даже никакого строения не было, а вотчинник Васюк Фомин ходил по дворам и питался христовым именем.

Крупная собственность у нас, как и везде в Европе, выростала на развалинах мелкой. Какими путями шел этот процесс? Как экспроприировались мелкие собственники в пользу разных князей Микулинских, Пунковых и иных земельных магнатов — Троицкого, Кириллово-Белозерского и иных монастырей? В XVI веке мы застаем уже только последние звенья длинной цепи,— естественно, что они прежде всего бросаются нам в глаза, закрывая более старые и, может быть, гораздо более распространенные формы экспроприации. Одной из наиболее заметных форм этого позднейшего периода является *пожалование* населенной земли в вотчину государем. Мы видели (в гл. I), что «пожалование», как юридическая обрядность, было необходимым условием возникно-

вения всякой земельной собственности в древнейшее время, но сейчас мы имеем в виду, конечно, не эту юридическую обрядность, а такой акт, которым над массою мелких самостоятельных хозяйств фактически воздвигался один крупный собственник, который мог любую часть дохода этих хозяйств экспроприировать в свою пользу. Как просто это делалось, покажет один пример. В 1551 году царь Иван Васильевич, тогда еще весьма послушный боярам и дружившему с ним крупному духовенству, пожаловал игуменью Покровского (во Владимирском уезде) монастыря двадцать одною черною деревнею. Черносошные крестьяне еще в XVII веке распоряжались своими землями, как полной собственностью, никому за них ничего, кроме государственных податей, не платя. А теперь коротенькая царская грамота обязывала все население этих 21 деревни «игуменью и ее прикащиков слушать во всем и *пашню на них пахать,* где себе учинят, и *оброк им платить,* чем вас изоброчат». Одним почерком пера двадцать одна свободная деревня превратилась в феодальную собственность игуменьи Василисы с ее сестрами [1]).

Эта вполне «государственная», архилегальная, если так можно выразиться, форма возникновения крупной собственности настолько ясна, проста и так хорошо всем знакома, что нет надобности на ней настаивать. Любовь наших историков предшествующих поколений ко всему «государственному», — не даром они были, по большей части, учениками Гегеля, прямо или косвенно,— заставляет, наоборот, подчеркивать, что насильственный захват чужой земли далеко не всегда облекался в такую, юридически безукоризненно корректную, оболочку. Долго было дожидаться, пока государь пожалует землю, — сильный и влиятельный человек мог гораздо скорее прибрать ее к рукам, не стесняясь этой юридической формальностью. Через писцовые книги XVI века длинною вереницею тянется ряд таких, например, отметок: жили два брата Дмитриевы, великокняжеские конюхи — маленькие землевладельцы, имевшие всего одну деревню. «К той же деревне пожня... и ту пожню отнял сильно Григорий Васильевич Морозов, а ныне та пожня за князем Семеном Ивановичем Микулинским». Да к той же деревне была пустошь: «и ту пустошь отнял князь Иван Михайлович Шуйский...» Или: «дер. Сокевицыно... пуста: а

---

[1]) «Акты, относ. к тягл. населению», изд. Дьяконовым, II—№ 15.

запустела от князя Михаила Петровича Репнина» [1]). Одна правовая грамота сороковых годов XVI века дает очень живую иллюстрацию к этим сухим отметкам московской казенной статистики. Жалуется на свою обиду Спасский Ярославский монастырь — сам крупный землевладелец, конечно, но более мелкий и слабый, нежели посланный ему судьбою сосед. Человек этого соседа, князя Ивана Федоровича Мстиславского, Иван Толочанов, приехав на монастырские деревни, «крестьян монастырских из деревень выметал», и в одной деревне поселился сам, а другие обложил в свою пользу оброком. Но, «выметав» самих крестьян, новый владелец отнюдь не пожелал расстаться с их имуществом: его он оставил себе, выгнав вон хозяев чуть не голыми. Перечень ограбленного, которые дают, один за другим, отдельные «выметанные» крестьяне в той же челобитной, любопытен, прежде всего, как конкретный показатель того уровня благосостояния, на каком стоял средний крестьянский двор половины XVI века. Один, например, из этих крестьян Иванко, показывает, что у него «тот Иван Толочанов взял мерина, да две коровы, да пять овец, да семеро свиней, да пятнадцать кур, да платьишка, господине, моего и женина, взял шубу, да сермягу, да кафтан крашенный, да летник самоделку, да опашень новогонский черлен, да пять рубашек мужских, да пятнадцать рубашек женских, да пятеро порты нижних, да полтретьядцать (25) убрусов шитых и браных и простых, да двадцать полотен, да семь холстов, да девять гребенин, да три топора, да две сохи с полицами, да три косы, да восемь серпов, да двенадцать блюд, да десять ставцов, да двенадцать ложек, да две сковороды блинных, да шесть панев, да три серги, одни одинцы, а две на серебре с жемчугом, да сапоги мужские, да четверо сапог женских и робячьих, да двадцать алтын денег...» [2]). Как видим, у русского крестьянина времен Грозного еще было что взять, и нужно было не одно поколение Иванов Толочановых, чтобы довести этого крестьянина до теперешнего его состояния.

Но насильственный захват, в легальной или нелегальной его форме, едва ли был главным способом образования крупного землевладения в древней Руси. В истории, как и в геологии, медленные молекулярные процессы дают более крупные и, главное, более прочные результаты, чем отдельные катастрофы. У нас нет—

---

[1]) «Писцовые книги XVI в.», изд. Калачева, I, отд. 2-е, стр. 163, 234, 243, 245, 284 и др.

[2]) Лихачевские акты, ibid., стр. 196.

или очень мало—материала для детального изучения молекулярного процесса, разлагавшего мелкую собственность в древнейший период. Но мы уже сказали, что у, так называемых, «черносошных» (позднее «государственных») крестьян, уцелевших преимущественно на севере России, вотчинная собственность сохранилась даже в XVII веке. Эволюцию мелкого вотчинного землевладения здесь мы можем наблюдать довольно близко — и, как увидим, есть все основания думать, что происходившее здесь во времена Алексея Михайловича мало чем отличалось от того, что происходило в остальной России при Иване III и Иване IV, или даже гораздо ранее. Здесь, на севере России, мы видим воочию, как под давлением чисто экономических причин, без вмешательства государственной власти или открытой силы, в руках одних сосредоточивается все больше и больше земли, в то время, как владения менее счастливых вотчинников тают, как снежная глыба под весенним солнцем. Сравнивая положение северно-русского крестьянства по переписям 1623 и 1686 годов, его исследователь приходит к такому выводу: «Разница между худыми, средними и лучшими крестьянами сделалась более ощутительной: отношения между minimum'ом и maximum'ом (по трем волостям: Кевроле, Чаколе и Марьиной горе) изменились с 1 : 48 (без наезжих пашен) на 1 : 256", — прежде минимальный крестьянский участок был $^1/_6$ четверти, теперь $^1/_{16}$. Четверть — полдесятины, «четверть в поле» равняется полутора десятинам пашни всего, при трехпольной системе. Значит, наименьший крестьянский участок 1623-го года составлял ¼ нашей десятины, 1686 года—менее $^1/_5$. А наибольший участок в первом случае равняется 8 четвертям, а во втором—16, при чем дворы с наибольшим участком составляли в 1623 году менее 1% общего числа, а в 1686—более 6%. «Прежде между самым обычным крестьянским жеребьем и наиболее значительным разница не превышала 2—2½ : 8—10, теперь 2—2½ : 16—20, т.-е. прожиточный человек успел сильно обогнать среднего крестьянина». И параллельно с этим таянием мелкой собственности так же наглядно растет зависимость мелкого вотчинника от его более богатых соседей. Тогда как в 1623 году у рядовых крестьян совсем не было половников ни в Кевроле, ни в Чаколе, в 1686 году у 6 крестьян 11 половников: у одного 4, у одного 3, у остальных по 1». Безземельные крестьяне уже попадаются в 20-х годах XVII века: в Чакольской волости, в деревне Бурцовской, Федор Моисеев бродил меж дворов, а пашни его жеребей за Н. Алексее-

вым, или в дер. Фоминской А. Михайлов обнищал, его двор и пашня ½ чети дер. Сидоровской за крестьянами Ив. Кирилловым да Л. Оксеновым. В том и другом случае покупатели — наиболее прожиточные жильцы: Н. Алексеев имеет 5½ четвертей, тогда как у остальных от 1½ до 3 ч., у Кириллова 6¹/₆ ч., у его соседа только 2. Это не только покупатели, но и кредиторы маломочных людей: «Двор Патрикейка Павлова в закладе у Д. Никифорова и пашни ¼ чети». Обнищавшие крестьяне нередко совсем уходят из деревни: «их обрали должники и они от последних долгов сбрели», как замечает Сольвычегодский писец. Нередко они обращались в половников, иногда нанимаясь к своим кредиторам на свой прежний участок; в деревне Сватковской Кевро́льского стана в 1678 г. брат ушедшего крестьянина владел его двором и пашней, а в 1686 г. он же, вместе с племянником, сыном прежнего вотчинника, живет половником на старом участке, перешедшем к богатому крестьянину Дм. Завернину» [1]).

То, что происходило на глухом севере во второй половине XVII века и что мы можем наблюдать здесь из года в год и из двора во двор, знакомо еще «Русской Правде» XIII века и Псковской Грамоте XV в.: только там мы имеем лишь более или менее косвенные указания на процесс, который здесь мы можем учесть с почти статистической точностью. «Русская Правда» знает уже особый разряд крестьян, очень смущавший всегда наших историков-юристов; это, так называемые, «закупы». Они занимали промежуточное положение между свободным крестьянином, «смердом», и холопом, и превращались в холопов с большою легкостью: простое неисполнение принятого на себя обязательства, уход с работы до срока, делало закупа рабом хозяина, от которого он ушел. С другой стороны, закупа можно было бить, как холопа,— только «за дело», а не по капризу. Модернизируя отношения XIII века, некоторые исследователи желали бы видеть в закупе просто наемного работника. Несомненно, он и был таким в том смысле, что работал в чужом хозяйстве или, по крайней мере, на чужое хозяйство, за известное вознаграждение. Но это отнюдь не был представитель сельского пролетариата: у закупа одна из статей «Русской Правды» предполагает «свойского коня», т.-е. лично ему принадлежавшую лошадь, и вообще, «отарицу» — свое собственное имущество, которое хозяин, как видно из другой

---

[1]) См. ст. г. *Иванова* в «Древностях», изд. археограф. ком. Московск. Археолог. Об-ства, I, стр. 435—437.

статьи той же «Правды», часто склонен был рассматривать, как принадлежащее ему. Это был, значит, наемный работник особого рода — нанимавшийся со своим собственным инвентарем; другими словами, это был крестьянин, вынужденный обстоятельствами работать на барской пашне. Что ставило его в такое зависимое положение, «Правда» указывает с достаточною ясностью: «закуп» потому так и назывался, что брал у барина «купу», т.-е. ссуду — частью, может быть, деньгами, но главным образом в форме того же инвентаря: плуга, бороны и т. д. Другими словами, это был крестьянин *задолжавший* — в этом и был экономический корень его зависимости. Из одной статьи «Правды» можно заключить, что у него оставалось и какое-то собственное хозяйство: эта статья предполагает, что закуп мог «погубить» ссуженную ему хозяином скотину «орудия своя дея» — на какой-то своей собственной работе. Вероятно, стало быть, что у него, в некоторых случаях, по крайней мере, оставался еще и свой земельный участок. Но он уже настолько утратил свою самостоятельность, что на суде стоял почти на одном уровне с холопом: на него можно было сослаться, выставлять его «послухом», только в «малой тяже» — и то «по нужде», когда никого другого не было. Два века спустя в Псковской Судной Грамоте мы находим уже детально разработанное законодательство о таких задолжавших крестьянах, которые здесь носят название «изорников», «огородников», а иногда и «исполовников», как в северных черносошных волостях XVII века. У всех этих зависимых людей разного наименования все еще было и свое собственное имущество, с которого в иных случаях хозяин и правил свой долг, свою «покруту». Но они уже настолько были близки к крепостным, что их иск к барину не принимался во внимание, тогда как «Русская Правда» такие иски еще допускала [1]).

Задолженность крестьян вовсе не была явлением, свойственным исключительно эпохе зарождения крепостного права, XVI—XVII векам. Вот почему и этого последнего нельзя объяснить одною задолженностью. Зависимость половника Кеврольской волости в XVII столетии, как и закупа «Русской Правды» в XIII, и не доходила до рабства, которое на севере России как раз и не развилось. Для того, чтобы из задолженности возникло порабощение всей крестьянской массы, нужны были такие социально-полити-

---

[1]) Ст. 75 Псковской Грамоты.

ческие условия, которые встречались не всегда [1]). Но закрепощение было заключительным моментом длинной драмы, и сейчас мы еще довольно далеки от этого момента. Гораздо раньше, чем крестьянин становился полной собственностью другого человека, он сам переставал быть полным собственником. Первым последствием задолженности была еще не потеря свободы, а потеря земли. «Пожалуй нас, сирот твоих, благослови нас меж собою земли свои нужды ради продавать и закладывать», просили чухченемские церковные крестьяне холмогорского архиепископа Афанасия: «для того, что *у нас прокормиться нечем, только не продажею землянoю и закладом*». По словам исследователя, у которого мы заимствуем эту цитату, развитие половничества «идет рука об руку с увеличением мобилизации недвижимости, так что в одном и том же уезде они (эти явления) встречаются реже или чаще, смотря по тому, насколько устойчива крестьянская вотчина: например, в Сольвычегодском уезде, в Лузской Перемце, где 95,9% крестьян в 1645 г. владеют по старине и писцовым книгам 1623 года, нет ни одного половнического двора. Напротив, в Алексеевском стане, где главное основание владения—крепости (купчие), около 20 половнических дворов, в Лальской волости на 80 крестьянских приходится 16 половничьих, принадлежащих тем же крестьянам» и т. д. [2]). Одна из московских писцовых книг XVI века, к счастию, сохранила нам указания на те документы, которые мог предъявить владелец земли в доказательство своих прав. В подавляющем большинстве случаев эти документы — купчие. По двум волостям Тверского уезда, Захожью и Суземью, московскими писцами половины XVI в. описано 141 имение, не считая монастырских, при чем на некоторые имения было представлено несколько документов: из последних — купчих 65, закладных 18, меновных 22. В двадцать одном случае документы оказались утраченными, и лишь в 18 вотчинник владел по духовной грамоте, т.-е. был «вотчичем и дедичем» своей земли в буквальном смысле слова, получив свое имение по наследству. Не нужно думать, что эти наследственные вотчичи какие-нибудь особенно знатные люди: среди них мы встречаем, например, и тверского гостя, торгового человека Ивана Клементьевича Савина. Земля крепко держится в руках более богатого, а не более родовитого человека. А уплывают из рук скорее всего мелкие вотчинки, и по писцовым книгам мы

[1]) О них будет речь в главе VI: «Аграрный переворот первой половины XVI века».

[2]) Назв. статья г. *Иванова*, стр. 426 и сл.

можем иногда весьма наглядно проследить, как происходила у нас в XVI веке одновременно мобилизация и централизация поземельной собственности. «Михалка Корнилова сына Зеленцова деревня Зеленцово, пашни полполполчети сохи» [1]), читаем мы в одном месте. «А нонеча Зубатово Офонасьева сына Хомякова: дер. Зеленцово, пустошь Сахарово: пашни в деревне 25 четьи в одном поле, а в дву потому же, сена 15 копен. Зубатой служит владыце тверскому; земля середняя — а крепость кабала закладная». «Гридки да Ивашки Матвеевых детей Тарасова дер. Бранково, дер. Починок... Гридки да Ивашки в животе не стало, а нонече Ивана Зубатова сына Хомякова деревня Брянково, починок Степанова. Пашни в деревне и в починке 20 четей в одном поле... Иван служит владыце тверскому, а крепость у него — купчая» [2]). Так, в лице удачливого «послужильца» тверского владыки из двух экспроприированных мелких вотчинников вырос один, покрупнее.

Медленный, веками тянувшийся экономический процесс работал на пользу крупной собственности вернее, нежели самые эффектные «наезды» с грабежами и кровопролитием. К XV—XVI веку, повторяем еще раз, экспроприация мелких собственников была почти совершившимся фактом — мелких вотчинников оставалось ровно лишь настолько, чтобы можно было опровергнуть довольно прочно держащийся предрассудок, будто вся земля к этому времени была уже «окняжена» или «обоярена». Первый из основных признаков феодализма — господство крупной собственности — может быть доказан для древней Руси, домосковского периода включительно, столь же удовлетворительно, как и для западной Европы XI—XIII веков. Еще более вне спора второй признак — соединение политической власти с землею неразрывной связью.

Что крупная вотчинная аристократия на своих землях не только хозяйничала и собирала оброки, а и судила и собирала подати, этого факта никто в русской исторической литературе никогда не отрицал — он находит себе слишком много документальных подтверждений, притом давным давно опубликованных. Но с обычно в нашей историко-юридической литературе «государственной» точки зрения, эти права всегда представлялись, как особого рода исключительные привилегии, пожалование которых было экстраординарным актом государственной власти. «Эти привиле-

---

[1]) Соха—единица податного обложения в Московской Руси.
[2]) Калачовские писц. кн., ibid., стр. 211—212.

гии предоставлялись не целому сословию, а отдельным лицам и всякий раз на основании особых жалованных грамот», говорит проф. Сергеевич в последнем издании своего труда: «Древности русского права» [1]). Двумя страницами далее тот же исследователь находит себя, однако же, вынужденным обратить внимание своего читателя на то, что среди наделенных такою привилегией встречаются не только большие люди, имена которых писались с «*вичем*», но также «Ивашки и Федьки». Он делает отсюда совершенно правильный вывод, что «такие пожалования составляли общее правило, а не исключение» — т.-е. что привилегия принадлежала именно «целому сословию» землевладельцев, а никак не «отдельным лицам» в виде особой государевой милости. А еще двумя страницами далее тот же автор вскрывает еще более любопытный факт: что самый акт пожалования мог исходить вовсе и не от государственной власти, а от любого вотчинника. С приводимой им жалованной грамотой митрополита Ионы некоему Андрею Афанасьеву (1450 г.) можно сопоставить еще более выразительный пример того же рода — жалованную грамоту кн. Федора Михайловича Мстиславского тому самому Ивану Толочанову, о подвигах которого уже шла речь выше. «Тиуны наши и доводчики, и праведчик не выезжают (в пожалованные Толочанову деревни) ни по что,—пишет в этой грамоте кн. Мстиславский,—ни поборов своих у них не емлют и крестьян его не судят, а ведает и судит своих крестьян Иван сам или кому его прикажет, а сведется суд сместной нашим крестьянам с его крестьяны и тиуны наши их судят, а он с ними же судит, а присудом делятся на полы, опричь душегубства и татьбы, и разбоя с поличным и дани сошные, а кому будет до него дело, ин его сужу яз князь Федор Михайлович или кому прикажу». Издатель этого интересного документа, г. Лихачев, справедливо отмечает в предисловии, что этот князь Мстиславский не только не был каким-нибудь самостоятельным владельцем, но даже в числе слуг московского великого князя не занимал сколько-нибудь выдающегося места: он не был даже боярином. Нужно прибавить, что и земля-то, которую он с такими правами «пожаловал... своему боярскому сыну», была не его наследственная, а пожалованная ему самому великим князем Василием Ивановичем. И этот последний, по всей видимости, отнюдь не считал такого дальнейшего делегирования пожалованной им

---

[1]) Т. I, изд. 3-е, 1909 г., стр. 398.

«привилегии» еще более мелкому землевладельцу чем-нибудь ненормальным: не даром и он сам, и его отец, и его сын давали такие грамоты совсем мелким своим помещикам. Выше мы упоминали, по писцовым книгам первой половины XVI века, о двух великокняжеских конюхах, которых систематически обижали их сильные соседи — боярин Морозов да князья Микулинский и Шуйский: в доказательство своих прав эти конюха предъявили однако же несудимую грамоту «великого князя Ивана Васильевича всея Руси»,—не ясно, был ли это Иван III или Иван IV. А немного ниже в той же писцовой мы находим жалованную несудимую грамоту на полсельца, где было всего 30 десятин пахотной земли. Таким образом у нас, как и в Западной Европе, не только большой барин, но и всякий самостоятельный землевладелец был «государем в своем имении»; и г. Сергеевич совершенно прав, когда говорит, не совсем согласно с своим первоначальным определением вотчинного суда, как исключительной привилегии отдельных лиц, что «сельское население, еще задолго до прикрепления крестьян к земле, находилось уже под вотчинным судом владельцев» [1]).

С эволюционной точки зрения происхождение этого «вотчинного права» совершенно аналогично возникновению вотчинного землевладения: как последнее возникло из обломков землевладения «печищного» — патриархальной формы земельной собственности, — так первое было пережитком патриархального права, не умевшего отличать политической власти от права собственности. Можно даже сказать, что здесь было больше, чем «переживание»; когда московский великий князь жаловал «слугу своего (такого-то) селом (таким-то) со всем тем, что к тому селу потягло, и *с хлебом земляным* (т.-е. с посеянной уже озимой рожью) *опроче душегубства и разбоя с поличным»,* то он, совершенно «по первобытному», продолжал смешивать хозяйство и государство, и даже рассматривал, очевидно, свои государственные функции преимущественно с хозяйственной точки зрения, ибо уподобить душегубство и разбой «земляному хлебу» можно было только, если не видеть в охранении общественной безопасности ничего, кроме дохода от судебных пошлин. Нет надобности настаивать, что это выделение особенно важных уголовных дел, как исключительно подведомственных княжескому суду, объясняется,

---

[1]) Ibid., стр. 401.

конечно, теми же хозяйственными мотивами: за душегубство и разбой налагались самые крупные штрафы—это были самые жирные куски княжеского судебного дохода. Но, расщедрившись, князь мог отказаться и от этой прибыли: великая княгиня Софья Витовтовна в жалованной грамоте Кирилло-Белозерскому монастырю (1448—1469 г.г.) писала: «мои волостели и их тиуны... в *душегубство не вступаются* некоторыми делы» [1]). Нет надобности говорить также, что и самое пожалование было лишь такою же точно юридическою формальностью, как и жалованная грамота на землю вообще. Оно лишь размежевывало права князя и частного землевладельца, насколько это было возможно, ибо, именно, благодаря смешению политической власти и частной собственности, права эти грозили безнадежно перепутаться. Но источником права вовсе не была непременно княжеская власть сама по себе: в споре из-за суда и дани вотчинники ссылались не только на княжеское пожалование, а также, сплошь и рядом, и на исконность своего права, — на «старину». Так доказывал свое право, например, один Белозерский боярин половины XV века, у которого Кириллов монастырь «отнимал» его вотчинную деревню «от суда да от дани» [2]). Что относилось к «суду и дани», т.-е. к судебным пошлинам и прямым налогам, то же имело место и по отношению к налогам косвенным. Частные таможни мы встречаем не только в княжеских вотчинах, где можно их принять за остаток верховных прав, некогда принадлежавших владельцу, но и во владениях помещиков средней руки, которых иногда мог изобидеть и простой московский чиновник—дьяк. Из жалобы одного такого изобиженного дьяком рязанского помещика второй половины XVI века, Шиловского, мы узнаем, что в вотчине его и его братьев «на их же берегу сыплют в суда жито, емлют с окова по деньге, да *они же емлют мыт*о с большого судна по 4 алтына, а с малого судна по алтыну, и того мыта половина Телеховского монастыря» [3]). И таможенным доходом можно было делиться пополам с соседом, как, в известных случаях, судебными пошлинами.

«Государь в своем имении» не мог, конечно, обойтись без главного атрибута «государственности» — военной силы. Еще «Русская Правда» говорит о «боярской дружине» наравне с дружиной княжеской. Документы более позднего времени, по обыкно-

---

[1]) *П. П. Сильванский.* «Феодализм в древней Руси», Спб. 1907, стр. 83.
[2]) Ibid.
[3]) Лихачевские акты, ibid., стр. 259.

вению, дают конкретную иллюстрацию к этому общему указанию древнейшего памятника русского права. В составе дворни богатого вотчинника XV—XVI веков мы, на-ряду с поварами и сытниками, псарями и скоморохами, находим и вооруженных челядинцев, служивших своему барину «на коне и в саадаке». «А что мои люди полные и докладные, и кабальные, — пишет в своей духовной Василий Петрович Кутузов около 1560 года, — и те все люди на слободу, а что у них моего данья платья *и саадаки и сабли и седла,* то у них готово, да приказчики ж мои дадут человеку моему Андрюше *конь с седлом и с уздою, да тегиляй, да шелом...»* Такой вотчинный дружинник, несомненно, уже в силу своей профессии стоял выше простого дворового. Он мог оказать барину такие услуги, которых забыть нельзя, — и стать в положение привилегированного челядинца, почти вольного слуги. У этого Андрюши был, кроме барского, еще «конь его купли» и кое-какая рухлядь, — и Василий Петрович Кутузов очень заботится, чтобы это имущество душеприказчики не смешали с барским. Люди именно этого разряда, по всей вероятности, и были те холопы на жаловании, о которых говорит духовная другого вотчинника, уже цитированная нами — кн. Ивана Михайловича Глинского. Прося своего душеприказчика Бориса Годунова «дати наделка людем моим по книгам, что им жалованья моего шло», завещатель выше говорит о тех же людях, что они отпускаются на свободу «со всем с тем, *кто на чем мне служил»*: но нельзя же допустить, что повар отпускался с кухней, на которой он стряпал, или псарь с тою стаей гончих, которой он заведывал. Так можно было опять-таки выразиться только о людях, служивших своему барину на коне и в доспехе; в другой духовной (Плещеева) прямо и оговаривается, что «лошадей им (холопам) не давати». Глинский был щедрее к своим бывшим ратным товарищам и, как мы уже видели, завещал даже одному из них свою деревню в вотчину. Но такой же земельный участок служилый холоп мог получить от барина и при жизни последнего. По тверской писцовой книге первой половины XVI века на одной четверти деревни Толутина сидел «человек» князя Дмитрия Ивановича Микулинского, Созон. От такого испомещенного на земельном участке челядинца до настоящего мелкопоместного дворянина было уже рукой подать. Дважды упоминавшийся выше Иван Толочанов в жалобе на него Спасского монастыря называется «человеком» князя Ивана Федоровича Мстиславского, а отец последнего в своей жалованной

грамоте называет Толочанова «сыном своим боярским», т.-е. дворянином. Так, незаметно, верхушки вооруженной дворни переходили в нижний слой военно-служилого сословия: по одну сторону тонкой черты стоял *холоп*, по другую — *вассал*.

Существование такого вассалитета у русских крупных землевладельцев XVI века — существование вольных вотчинников, несших военную службу с своей земли, на своем коне и иногда со своими вооруженными холопами, не московскому великому князю, а «частным лицам» — неопровержимо доказывается тою же самою писцовой книгой Тверского уезда, о которой мы не раз упоминали выше. В этой книге (составленной около 1539 года) перечислено 574 вотчинника, большею частью мелких. Из них великому князю служили 230 человек, частным собственникам разных категорий 126, и никому не служили 150 человек. Из 126 «аррьер-вассалов» московской феодальной знати 60 человек служили владыке тверскому, а 30—князю Микулинскому. Из других источников мы знаем, что у митрополитов и архиереев были на службе не только простые «послужильцы», но и настоящие бояре. «Архиерейские бояре, — говорит один из историков русской церкви, — в древнейшее время ничем не рознились от бояр княжеских по своему происхождению и по своему общественному положению... Они поступали на службу к архиереям точно так же и на тех же условиях, как и к князьям, т.-е. с обязательством отбывать воинскую повинность и нести службу при дворе архиерея, за что получали от него в пользование земли» [1]). На этих землях они могли испомещать своих военных слуг, — а их собственный господин, в свою очередь, был вассалом великого князя. Митрополичья военная дружина должна была итти в поход вместе с дружинами последнего: «а про войну, коли яз сам великий князь сяду на конь, тогда и митрополичим боярам и слугам», говорит грамота вел. кн. Василия Дмитриевича (около 1400 года). Так на службе московского великого князя вытягивалась такая же лестница вассалов, как и на службе средневекового короля Франции.

Характер отношений между отдельными ступеньками этой лестницы — между вольными военными слугами разных степеней и их соответствующими сюзеренами — детально изучен покой-

---

[1]) Цитата у *П. Сильванского*, назв. соч., стр. 102—103.

[2]) Вышеприведенные цифровые данные см. у *проф. Сергеевича:* «Древности русск. права», т. III. Спб. 1903, стр. 17 и сл.

ным Н. Павловым-Сильванским, успевшим и резюмировать итоги своих специальных работ в своей популярной книжке «Феодализм в древней Руси» (Спб. 1907 г.). «Служебный вассальный договор скреплялся у нас и на Западе сходными обрядностями,—говорит этот автор. — «Закреплявшая вассальный договор в феодальное время обрядность оммажа, так же как древнейшая обрядность коммендации, вручения, состояла в том, что вассал в знак своей покорности господину становился перед ним на колени и клал свои, сложенные вместе, руки в руки сеньера; иногда, в знак еще большей покорности, вассал, стоя на коленях, клал свои руки под ноги сеньера. У нас находим вполне соответствующую этой обрядности *обрядность челобитья*. Боярин у нас бил челом в землю перед князем в знак своего подчинения. В позднейшее время выражение «бить челом» употреблялось в иносказательном смысле униженной просьбы. Но в удельное время это выражение обозначало действительное *челобитье*, поклон в землю, как видно из обычного обозначения вступления в службу словами: «бить челом в службу...» Во второй половине удельного периода одна обрядность челобитья считалась уже недостаточной для закрепления служебного договора, и к этой обрядности присоединяется церковный обряд, целование креста. Такая же церковная присяга, клятва на Евангелии, на мощах или на кресте совершалась на Западе, для закрепления феодального договора, в дополнение к старой обрядности коммендации из оммажа». «Наша боярская служба так близка к вассальству, что в нашей древности мы находим даже точно соответствующие западным термины: приказаться—avouer, отказаться — se désavouer». Как пример первого, автор приводит современную формулу известия о подчинении новгородских служилых людей Ивану III: «Били *челом* великому князю *в службу* бояре новгородские и все дети боярские и житии, да *приказався* вышли от него». Хорошим примером второго термина служит приводимый им же несколько дальше рассказ жития Иосифа Волоколамского о том, как этот игумен, не поладив с местным волоколамским князем, перешел от него к великому князю московскому: Иосиф «*отказался* от своего государя в великое государство» [1]). Одно место Никоновской летописи сохранило нам и самую формулу такого «отказа». В 1391 году московский князь Василий Дмитриевич, сын Донского, купив у татар нижегородское

---

[1]) См. назв. соч., стр. 99—100, 112.

княжество, двигался со своими войсками на Нижний-Новгород, чтобы осуществить только-что приобретенное им «право». Нижегородский князь Борис Константинович, решив сопротивляться до последней возможности, собрал свою дружину и обратился к ней с такою речью: «Господие моя и братия, бояре и други! попомните господне крестное целовение, как есте целовали ко мне, и любовь нашу и усвоение к вам». Бояре под первым впечатлением грубой обиды, нанесенной их князю, горячо вступились за его дело. «Все мы единомышленны к тебе,—заявил Борису старший из них Василий Румянец, —и готовы за тебя головы сложить». Но Москва в союзе с татарами была страшной силой — сопротивление ей грозило конечной гибелью сопротивляющимся. Когда первое одушевление прошло, нижегородские бояре решили, что сила солому ломит, и что дело их князя все равно проиграно. Они задумали «отказаться» от князя Бориса и перейти к его сопернику. — Тот же Василий Румянец от лица всех и заявил несчастному Борису Константиновичу о происшедшей перемене. «Господине княже!—сказал он,—не надейся на нас, уже *об есмы ныне не твои и несть с тобою есмы, но на тя есмы*». «Так точно на Западе,—добавляет, приведя эти слова, историк русского феодализма,—вассал, отказываясь от сеньера, открыто говорил ему: уже не буду тебе верным, не буду служить тебе, и не буду обязан верностью...» [1]).

Приведенный сейчас случай ярко освещает особенности того режима, с которого начала Московская Русь и который еще долго жил под оболочкою византийского самодержавия, официально усвоенного московским государством с начала XVI века. Что князя киевской эпохи нельзя себе представить без его бояр, в этом давно согласны все историки. Как пример, приводится обыкновенно судьба князя Владимира Мстиславича, которому его бояре, когда он предпринял один поход без их согласия, сказали: «О себе еси, княже, замыслил, — а не едем по тебе, мы того не ведали». Но и «собирателей» Московской Руси нельзя себе представить действующими в одиночку: не даром Дмитрий Донской, прощаясь со своими боярами, вспоминал, что он все делал вместе с ними, поганых одолел, храбровствовал с ними на многие страны, веселился с ними, с ними и скорбел — «и назывались вы у меня не боярами, а князьями земли моей». Как во главе любого феодаль-

---

1) *Сергеевич,* цит. соч., т. I, стр. 378 и 385. *Н. П. Сильванский.* Цит. соч., стр. 200.

ного государства Западной Европы стояла группа лиц, — государь, король или герцог, «сюзерен», с «курией» своих вассалов,— так и во главе русского удельного княжества, а позднее и государства московского, стояла тоже группа лиц: князь, позже великий князь и царь, со своей *боярской думой.* И как западноевропейский феодальный «государь» в экстренных и в особенно важных случаях не довольствовался советом своих ближайших вассалов, а созывал представителей всего феодального общества, «государственные чины», — так и у нас князь в древнейшее время иногда совещался со своей дружиной, а царь — с *земским собором.* Мы позже будем иметь случай изучать оба эти учреждения подробнее. Пока заметим лишь, что корни того и другого — и *думы* и *собора* — глубоко лежат в том феодальном принципе, который гласит, что от вольного слуги можно было требовать лишь той службы, на какую он подрядился, и что он мог бросить эту службу всякий раз, как только находил ее для себя невыгодной. Оттого никакого важного дела, которое могло бы отразиться на судьбе его слуг, феодальный господин и не мог предпринять без их согласия.

Насколько прочен был этот «общественный договор», своего рода контракт между вассалом и сюзереном в феодальном обществе? Средневековые договорные отношения очень легко поддаются идеализации. «Права» вольных слуг очень часто представляются по образу и подобию «прав», как они существуют в современном «правовом» государстве. Но мы знаем, что в этом последнем права слабейшего часто бывают ограждены лишь на бумаге, а на деле «у сильного всегда бессильный виноват». К феодальному государству это приложимо в гораздо большей степени. Договорные отношения вассала и сюзерена, в сущности, гораздо более походили на нормы теперешнего «международного права», которые не нарушает только тот, кто не может. В междукняжеских договорах сколько угодно можно было писать: «А боярам и слугам межи нас вольным воля», а на практике то-и-дело случалось, что князь «тех бояр и детей боярских», которые от него «отъехали», «пограбил, села их и домы их у них поотымал и животы и остатки все и животину у них поимал». И никакого суда и никакой управы найти на него было нельзя, кроме как обратиться к другому, еще более могущественному насильнику. В феодальном обществе еще гораздо больше, чем в современном нам, сила шла всегда впереди права. Изучая сложный церемониал феодальных отношений, легко

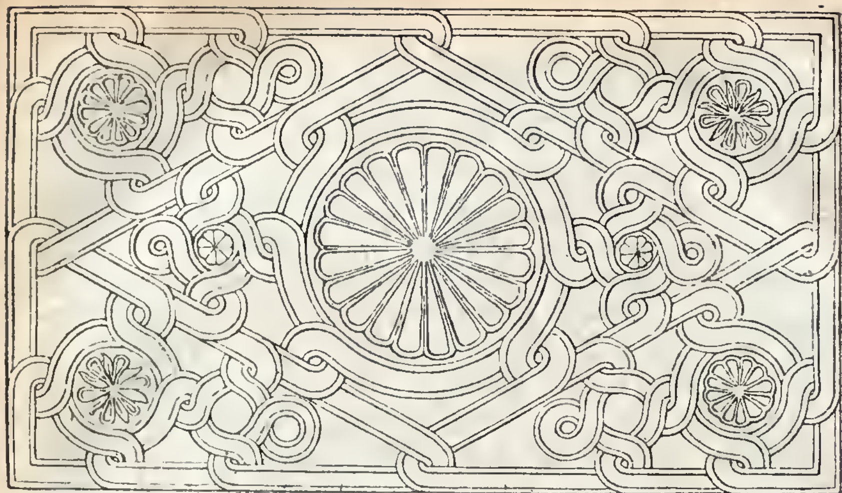
увлечься и подумать, что люди, так тщательно устанавливавшие, какие жесты должны были быть сделаны в том или другом случае и какие слова произнесены, столь же тщательно умели охранять и сущность своего права. Но где уже тут было охранять свое право от злоупотреблений феодального государя, когда отстоять его и от покушений мельчайших его слуг, рядовых и даже некрупных феодальных вотчинников, было иногда непосильным делом? Мы не можем закончить нашего изучения правового режима феодальной Руси лучше, чем одной картинкой, заимствованной из того же ряда правовых грамот, откуда мы неоднократно брали примеры выше. Судился в 1552 году Никольский монастырь со своими соседями, Арбузовыми, — судился как следует, по всей форме: «Судили нас, господине,—пишут в своей челобитной монастырские старцы,—по цареве государеве грамоте, Федор Морозов да Хомяк Чеченин». Судьи «оправили» монастырь, а его противников «обвинили». «И вот,—продолжают старцы,—приехали, господине, на ту деревню Ильины дети Арбузова... да Ильины люди Арбузова... да меня, господине, Митрофанова, да старца Данила, да старца Тихона били и грабили и дьяка монастырского, и слуг, и крестьян, и крестьянок били и грабили, и старожильцев, господине, которые были с судьями на земле, били же. И судья, господине, Хомяк Чеченин, с детьми боярскими, которые были с нами на земле, вышли отнимати (обижаемых старожильцев) и они, господине, и Хомяка Чеченина и тех детей боярских били же... А игумен, господине, с судьею с *Федором Морозовым, запершись, отсиделись...*» Не всегда удобно было решить дело вопреки интереса драчливого феодала. Западно-европейское феодальное право и это грубое правонарушение облекло в известного рода торжественную церемонию: недовольный судебным решением мог «опорочить суд», fausser le jugement, — и вызвать судью на поединок. В одном нашем судном деле 1531 года судья отверг показания одного из тяжущихся, ссылавшегося именно на него, судью, заявив, что такого документа, о каком тот говорил, никогда в деле не было. «И в Облязово место (так звали тяжущегося) человек его Истома просил в том с Шарапом (судьею) поля... и Шарап с ним за поле поимал же ся». Вызывать на поединок судью можно было и в московском государстве времен Василия Ивановича.

Вот почему *юридического* признака договорности и не приходится ставить в число главных отличительных черт феодализма. Этот последний гораздо более есть известная система хозяйства,

чем система права. Государство сливалось здесь с барской экономией — в один и тот же центр стекались натуральный оброк и судебные пошлины, часто в одной и той же форме баранов, яиц и сыру; из одного и того же центра являлись и приказчик — переделить землю, и судья — решить спор об этой земле. Когда круг экономических интересов расширился за пределы одного имения, должна была расшириться географически и сфера права. Первый раз такое расширение имело место, когда из «волостей» частных землевладельцев выросли волости городовые; второй раз, когда всех частных вотчинников забрала под свою руку Москва. И в том и в другом случае количество переходило в качество: территориальное расширение власти изменяло ее природу, — «поместье» превращалось в «государство». Первое из этих превращений произошло довольно быстро — зато не было и очень прочно. Второе совершилось очень медленно, — но зато окончательное образование московского государства, в XVII веке, было и окончательной ликвидацией русского феодализма в его древнейшей форме. Но до наступления этого момента феодальные отношения составляли тот базис, на котором воздвигались обе эти политические надстройки — и городовая волость, и вотчина московских царей. И господин Великий Новгород и его счастливый соперник, великий князь Московский Иван Васильевич, мы это твердо должны помнить, властвовали не над серой толпой однообразных в своем бесправии подданных, а над пестрым феодальным миром больших и малых «боярщин», в каждой из которых сидел свой маленький государь, за лесами и болотами северной Руси умевший не хуже отстоять свою самостоятельность, чем его западный товарищ за стенами своего замка.



Гривна (шейное кольцо) царя из гробницы Куль-Обского кургана, открытой близ Керчи в 1831 г.



Образец шиферной плиты Киево-Софийского собора, украшенной орнаментальным византийским плетнем.

ГЛАВА III.

Заграничная торговля, города и городская жизнь X—XV в.в.



лавнейшим экономическим признаком того строя, который мы изучали выше, как «феодальный», являлось отсутствие обмена. Боярская вотчина удельной Руси была, экономически, самодовлеющим целым. О ней с полным правом можно сказать то, что не совсем правильно сказал один историк о помещичьем имении средней полосы России в XVIII веке: если бы весь мир вокруг нее провалился, она продолжала бы существовать, как ни в чем не бывало. С таким представлением о древней Руси плохо, однако, вяжется та схема нашей древнейшей истории, которую, пожалуй, можно бы назвать обычной: так хорошо она знакома большинству читателей. Об этой схеме нам приходилось упоминать в самом начале нашего изложения, говоря о взглядах Шторха и его новейших подражателей [1]). Мы помним, что для этой школы, которую теперь без большой натяжки можно считать господствующей, торговля, обмен являлись осью, около которой верте-

---

[1]) См. главу I настоящей книги.

лась вся политическая история киевского периода, — и самая возможность говорить о «политической истории» того времени, само древне-русское «государство» обязано своим существованием именно торговле. Казалось бы, что подобная «философия русской истории» стоит в непримиримом противоречии с фактами, которые мы только-что рассмотрели. Какое может иметь значение торговля при сплошном господстве «натурального хозяйства» на протяжении целого ряда веков? Это априорное соображение, по видимости, настолько неотразимо, что один из представителей материалистического направления в русской истории нашел возможным прямо заявить в полное противоречие «господствующему» взгляду: «в Киевской Руси... торговля была слаба Хозяйство было натуральным, и только внешняя торговля имела *некоторое* влияние на экономическое положение высших слоев общества»[1]. Своею ясностью и неотразимостью такая точка зрения завоевала себе сочувствие даже ученых, весьма далеких от материалистического понимания истории. Новейший исследователь «княжого права древней Руси» заранее оговаривается, что его изложение «пойдет в дальнейшем мимо этой стороны схемы В. О. Ключевского. Она (схема) построена на крайнем преувеличении глубины влияния торговли на племенной быт восточного славянства». В подтверждение своего взгляда автор приводит довольно длинную выдержку из сочинения того самого историка-материалиста, о котором мы только-что упоминали[2].

И тем не менее, целый ряд явлений нашей древнейшей, киево-новгородской, истории, те социальные группировки, которые мы находим в Киеве и Новгороде, те формы власти, так не похожие на все предыдущее и последующее, которые нас там поражают, наконец, очень многое и в *хозяйственном* быте этого периода будет для нас совершенно непонятно, если мы условимся считать, что торговля в те времена «была слаба», и поставим на этом точку. Слаб или силен был обмен — но если мы не привлечем его к делу, такой факт, как город и «городская волость» X—XII веков, окажется для нас чистой загадкой: а в наличности этого факта — главное отличие древней, до-Московской Руси, от нашего средневековья, Руси Московской.

---

[1]) *Н. Рожков*, «Обзор русской истории с социологической точки зрения», I, изд. 2-е, стр. 27—28. Курс. наш.

[2]) *А. Пресняков*, «Княжое право в древней Руси», стр. 162.

Скандинавские саги называли древнюю Русь даже «страною городов», Гардарик. Тот арабский писатель начала X века, которого мы однажды уже цитировали, Ибн-Даста, говорит еще гораздо больше: по его словам, Русь, которую он, как и большая часть арабов, отличает от славян, вовсе не имела «ни деревень, ни пашень», имея в то же время «большое число городов» и «живя в довольстве». Это последнее руссы приобретали своим «единственным промыслом» — «торговлей собольим, беличьим и другими мехами». Ибн-Даста не забывает отметить, что плату за свои товары Русь «получала деньгами», — что это не была мена, вроде той, какую практиковали различные культурные и полукультурные народы, впоследствии и сами русские, в сношениях с дикарями-охотниками. Нет, это был правильный торг — в погоне за покупателями русские купцы доходили до самого Багдада, и у редкого царя восточных стран не было шубы, сшитой из русских мехов. Относительно последних арабские писатели пускаются в такие подробности, что в непосредственном знакомстве арабов с этим товаром и его продавцами сомневаться нельзя. Значит, и поражающее на первый взгляд заявление Ибн-Даста, будто у русских вовсе нет деревень, одни города, не приходится рассматривать как простую басню, легко объясняемую невежеством писавшего в том вопросе, за который он взялся. Очевидно, Русь X века представлялась довольно близким наблюдателям, как народ городской по преимуществу. Стоит слегка забыть историческую перспективу — и воображение готово нам нарисовать картину богатой страны, усеянной крупными торговыми центрами, с многолюдным, относительно культурным населением. Но арабы, со своим беспощадным реализмом степных охотников, только-что превратившихся во всемирных торговцев, уже наготове, чтобы нас поправить, и наиболее осведомленный из них рисует нам такую картину «внешнего быта» русских купцов в болгарской столице, которая может отбить аппетит даже у очень проголодавшегося человека. При чем есть все основания думать, что «внутренний быт» еще отставал от «внешнего»: ибо не только в X веке, когда Ибн-Фадлан наблюдал своих руссов, мывшихся одной и той же водой из одной и той же чашки, куда они в то же время кстати и плевали, — но и в XII российские коммерсанты не чувствовали потребности в каких-либо письменных договорах, закрепляя все сделки устно, свидетельскими показаниями. «Русская Правда» имеет дело, как с

нормой, с безграмотным торговцем: «доски», писанные обязательства, появляются не ранее XIII века [1]).

Вопрос о том, что такое представляла из себя средневековая торговля, и как мы должны рисовать себе средневекового купца, вставал не перед одними русскими историками, и не ими одними разрешался оптимистически в духе Шторха. Как земледелие прежняя история хозяйства готова была считать несомненным признаком культуры, так было и по отношению к торговле: старые немецкие историки готовы были заселить бесчисленное множество крупных и мелких немецких городов, упоминаемых средневековыми грамотами и летописями, «купечеством в современном смысле слова». За это они подверглись насмешкам, и основательно, по мнению новейшего историка экономического развития Германии. Этот последний, однако же, оговаривается, что в том, что касается, собственно, количества лиц, принимавших участие в торговле, старые историки были вполне правы. В средневековом обмене мы встречаемся с тою же особенностью, как и в сельском хозяйстве средних веков: мелкие предприятия ремесленного типа не только господствовали, — мало этого сказать, до известной эпохи только их мы и встречаем. Только-что упомянутый нами новейший историк-экономист собрал по этому поводу несколько цифровых данных для торговли Западной Европы в средние века. Анекдотичность этих данных не мешает им быть весьма характерными. В 1222 году около Комо, в северной Италии, были ограблены два купца из Лилля: весь их товар состоял из 13½ кусков сукна и 12 пар брюк. Лет полтораста спустя, такому же несчастию подвергся целый караван базельских купцов, ехавших на франкфуртскую ярмарку: убытки каждого из них не превысили одной—двух сотен флоринов [2]). Тот же автор определяет средний капитал немецкого купца, торговавшего в Новгороде в XIV веке, в 1.000 марок серебра — «меньше 10.000 марок (германских) по нынешнему курсу». Это тем более правдоподобно, что его русский конкурент того же времени располагал таким же точно капиталом. Чтобы быть членом самого старого, крупного и солидного новгородского торгового товарищества, группировавшегося около церкви св. Иоанна Предтечи на Опоках, достаточно было вложить пай не больше, чем 50 гривен серебра — тысячу рублей серебром на теперешнюю [3]) монету. Чтобы представить себе реальное значе-

---

[1]) Новгородская 1-я летопись под 1209 годом.

[2]) *Вернер Зомбарт.* «Современный капитализм», т. I, русский пер., стр. 181.

[3]) Писано в 1910 г.

ние этого «капитала», сопоставим его с другими данными того же времени. 50 гривен серебра — самое большее 150—200 гривен кун [1]); а 80 гривен кун было высшей нормой уголовного штрафа («виры») по «Русской Правде». Но уголовные штрафы, вырабатывавшиеся практическим путем, от случая к случаю, имели в виду, конечно, не капиталистов, а представителей народной массы той эпохи, крестьян и ремесленников. Восемьдесят гривен князь требовал за убийство наиболее нужного ему человека, своего дружинника. Допустим, что он считал справедливым карать такое, особенно тяжелое в его глазах, преступление «конфискацией» всего имущества виновника: тогда 80 гривен составляют среднюю оценку всего двора крестьянина или мелкого горожанина со всем, что там находилось. А человек, имевший в два с половиной раза больше этого, мог стать одним из первых новгородских купцов! Не менее показательны, чем размеры капиталов, в этом случае и размеры транспорта: для Западной Европы очень характерной является одна цифра, приводимая тем же, выше нами цитированным, автором. Весь годичный провоз через Сен-Готард, даже в конце средних веков, уместился бы в двух теперешних товарных поездах. Для России столь же показательны размеры судов, речных и морских, — о которых нам дают понятие некоторые места византийских писателей, летописей и «Русской Правды». В среднем, русский «корабль» X—XII веков поднимал от 40 до 60 человек. По вычислениям Аристова, наименьший из тех типов, о которых упоминает «Русская Правда», мог вместить до 2.000 пудов товара [2]): если их оценка в «Правде» соответствует их грузоподъемности, то наибольший мог поднять 6.000 пудов, т.-е. около 100 тонн. Теперь такой грузоподъемностью обладают маленькие каботажные пароходики, циркулирующие между небольшими портами Черного или Балтийского морей. Тогда при помощи судов такого размера велись торговые сношения между мировыми коммерческими центрами, какими были Константинополь и Киев, Любек и Новгород. Но есть все основания думать, что расчет Аристова преувеличен. Он исходит из того предположения, что суда, одинаково называвшиеся в древней и современной России, имели и приблизительно одинаковые размеры: что в «Русской Правде»

---

[1]) Гривна серебра была более или менее постоянной единицей, тогда как цена счетной гривны, «гривны кун», менялась в зависимости от курса на серебро.

[2]) См. «Промышленность древней Руси», стр. 95—97.

«стругом» называлось то же, что и в 60-х годах XIX столетия, когда была написана «Промышленность древней Руси». Но это вовсе не обязательно, и даже мало вероятно· из цитат самого Аристова видно, что «струг» и аналогичный ему «насад» ставили на колеса. Поставить на колеса судно даже в 30—40 тонн без механических приспособлений совершенно невозможно; а чтобы в древней Руси были машины, нет никаких данных. Термины «Русской Правды» соответствуют типу, а не размеру судов: о размерах же даже русских «морских» ладей (оцениваемых «Правдой» втрое дороже струга) один иностранный наблюдатель говорит, что они могли плавать в самых мелких местах. Иными словами, это были просто большие лодки [1]).

Размеры судов объясняют нам и фантастические, на первый взгляд, размеры древне-русских военных флотилий. Если у Олега в его походе 907 года было, по летописи, до 2.000 «кораблей», а по византийским данным, более 1.000, то тут еще сказки никакой нет: «тысящу лодий» мы встречаем и во вполне исторические времена. Но это была именно «тысяча лодок» — не более. А мелкие размеры торговли вообще объясняют нам и большое количество «купцов» на страницах летописи. Когда мы читаем, что в 1216 году в одном Переяславле Залесском нашлось полтораста новгородских купцов, а в Торжке, одном из главных передаточных пунктов новгородской торговли, даже, может быть, и до 2.000, то мы нисколько этому не удивимся, если только представим себе древне-русского «гостя» в образе некрасовского дедушки Якова, весь товар которого помещался на одном возу. А у большей части он поместился бы, вероятно, и в коробе за спиной: теперешний коробейник — наиболее типичный торговец средневековья не для одной России. «Везде представляется нам одна и та же картина: не считая нескольких более крупных купцов, притом большею частью не занимавшихся профессиональной торговлей, мы повсюду встречаем кишащую массу незначительных и даже совсем мелких торговцев, с какими мы встречаемся и теперь на мелких деревенских ярмарках или на больших дорогах отдаленных областей, с коробом на плечах или же в телеге, запряженной в одну лошаденку» [2]).

---

[1]) Некоторое представление о древнерусских судах дают также «корабли викингов», сохранившиеся в погребальных курганах до нашего времени. Один из них, находящийся в настоящее время в Христиании, имеет 15 метров длины при 3½ наибольшей ширины, и мог вместить от 60—80 вооруженных людей.

[2]) *Вернер Зомбарт,* цит. соч., стр. 181.

Но не всякий товар средневекового купца можно было унести за спиной, и не в одних размерах своеобразие средневековой торговли. Первые же русские купцы, которых удалось близко наблюдать арабам, вместе с мехом соболей и чернобурых лисиц, привозили в болгарскую столицу молодых девушек, привозили в таком числе, что, по арабскому рассказу, можно, пожалуй, принять этот товар за главную статью русской отпускной торговли того времени. Из одного описания чудес Николая Чудотворца видно, что и в Константинополе русский купец был прежде всего работорговцем. А один путешественник XII века встретил русских, торгующих невольниками, даже в Александрии. Русские источники дают массу косвенных, а иногда и прямых подтверждений рассказам иноземцев. К числу первых принадлежат известия летописей о сотнях (если не тысячах) «наложниц» Владимира Святославича до его крещения: новейший церковный историк совершенно справедливо усмотрел здесь воспоминание не столько о личной безнравственности этого князя в языческий период его биографии и о его личном гареме, сколько о тех запасах живого товара, которые держал этот крупнейший русский купец своего времени [1]. Что и язычество также было здесь не при чем, доказывают поучения епископа Серапиона, младшего современника татарского нашествия (он умер в 1275 г.). В числе грехов, навлекших разные беды на русскую землю, Серапион упоминает и такой: «...братью свою ограбляем, убиваем, *в погань продаем*». Значит, и в XIII веке русские купцы нисколько не стеснялись продавать русских невольников на заграничные рынки, в том числе и в мусульманские и языческие земли. А что на Русь еще около 1300 года ездили «девкы купити», у нас имеется и документальное свидетельство — в жалобе одного из таких покупателей, рижского купца, на витебского князя, посадившего его в тюрьму без всякой вины, при чем, само собою понятно, арест не стоял ни в какой связи с малопочтенной целью приезда этого рижанина в витебскую землю, а был просто одним из обычных проявлений княжеского самоуправства. Этот маленький случай вскрывает перед нами, не всегда ясную по летописям, судьбу того «полона», без которого не обходилась ни одна княжеская усобица тех времен. Когда князь возвращался домой «ополонившеся челядью», это вовсе не значило, что он и его дружина приобрели некоторое количество крепостных слуг и слу-

[1] См. *Голубинский*, «История русской церкви», т. I, 1-я полов., изд. 2-е, стр. 146—147.

жанок, как обычно себе представляют, не без некоторого лицемерия задним числом: в руках победителей оказывалась меновая ценность, может быть, самая высокая меновая ценность, какую знало то время. Оттого на челядь древне-русские феодалы были гораздо жаднее, нежели на натуральные приношения своих крестьян. Последние некуда было сбыть, и они не были особенно велики: для первой уже в те дни существовал «международный рынок», который мог поглотить любое количество живого товара. Князья XII века откровенно признавались в своих подвигах этого рода, видимо, считая «ополонение челядью» вполне нормальным делом. Не кто другой, как Владимир Мономах, давший столько сентиментальных страниц казенным учебникам, рассказывает, как он и его союзники «изъехали» один русский город, не оставив в нем «ни челядина, ни скотины». Как видим, для полного и совершенного опустошения русских областей не было ни малейшей надобности в татарском нашествии. И когда дальний потомок Мономаха, Михаил Александрович Тверской, напав в 1372 году на Торжок, увел оттуда в Тверь полон «мужей и жен бещисла множество», то он действовал вовсе не как ученик монгольских завоевателей, а как продолжатель старой и почтенной истинно-русской традиции.

Существование такого «товара», нет сомнения, подчеркивает лишний раз *натуральный* характер средневекового хозяйства: невольничий рынок именно потому и был необходим, что рабочих рук не было на рынке. Но отсюда само собою вытекает другое следствие. Как человек мог сделаться товаром, когда все остальное товаром не было? Уже из приведенных сейчас цитат видно, что обычным для нас, экономическим путем, такое чудо совершиться не могло: вне-экономическому принуждению в области производства соответствовало вне-экономическое присвоение в области обмена. Не только живой товар, людей, но и те собольи меха, и те драгоценные металлы, которые обращались на тогдашнем рынке, добывали тогда не путем вымена у первоначальных собственников, хотя бы с обманами, отдельными случаями насилия и тому подобными «злоупотреблениями», как это до сих пор имеет место в колониальной торговле народов «культурных» с «некультурными». Их добывали прямо открытой силой — первой стадией обмена была не меновая торговля, как учила еще недавно история хозяйства, а просто-на-просто «разбойничья торговля» (Raubhandel) — термин вполне научно установленный историей

хозяйства в наше время. Черта, которую так заботливо проводят теперь, отделяя мирного торговца, хотя бы и недобросовестного, от грабителя, не существовала для наивных людей раннего средневековья. Разбойник в купца и купец в разбойника превращались с поразительной легкостью: и скандинавские саги, например, с бесподобным реализмом упоминают рядом об обоих этих промыслах по отношению к одному и тому же лицу, нимало не конфузясь за своего героя. «Был муж богатый и знатного происхождения, по имени Лодин; он часто предпринимал торговые путешествия, а иногда занимался и морским разбоем», с истинно эпическим спокойствием повествует в одном месте Heimskringla Снорре Стурлесона. Как просто и естественно совершался этот переход из области гражданского в область уголовного права, покажет один рассказ той же саги, который ввиду его характерных подробностей, стоит изложить детальнее. Посланные короля Олафа Святого, Карли и Гуннстейн, и их спутник, Торер-«собака», приехали в Биармию (впоследствии Новгородское Заволочье, по Северной Двине) и завели там обширный торг с местными инородцами, выменивая у них лисьи и собольи меха на привезенные из Скандинавии товары, — а отчасти и на деньги. Когда же торг окончился и вместе с тем кончилось *перемирие,* которое заключили норманны с местным населением именно на время и на предмет торга, путешественники начали немедленно искать новых источников прибыли. Торер-«собака» обратился к своим спутникам с вопросом, желают ли они приобрести богатство? На утвердительный, само собою разумеется, ответ тех, Торер объяснил им, что богатство, можно сказать, под руками — нужно только немножко смелости. Туземцы имеют привычку хоронить серебряные вещи вместе со своими покойниками, а идол их главного бога, Юмалы, весь покрыт драгоценными украшениями. Стоит ограбить кладбище и стоявшее посреди него святилище Юмалы — и капитал норманнских купцов будет значительно пополнен. Мы не будем рассказывать не лишенных драматизма и живописности подробностей этой ночной экспроприации X века. Она кончилась вполне успешно, при чем отступавшим норманнам пришлось выдержать правильную битву с проснувшимися и сбежавшимися к месту грабежа поклонниками Юмалы. Отметим лишь одну деталь: на возвратном пути Торер-«собака» ограбил также и своих спутников, так что король Олаф Святой получил от этой экспедиции меньше прибыли, чем можно было ожидать.

Как видим, когда наш старый знакомый Ибн-Даста рассказывает о русских купцах, что они «производят набеги на славян, подъезжают к ним на кораблях, выходят на берег и полонят народ, который отправляют потом в Хазеран и к болгарам, и продают там»,—он опять-таки лишь реалистически описывает то, что было в его дни вполне обычным делом, а вовсе не сказки сочиняет. Но мы видим также, что оригинальность раннего средневекового торга нам приходится дополнить многими чертами, и что от просвещенных коммерсантов Шторха в нашей картине остается уже очень мало. Социальная обстановка, которая должна была складываться около «разбойничьей торговли», так же мало походила на обстановку современного нам капиталистического обмена, как боярская вотчина удельной Руси на современное сельскохозяйственное предприятие. С этой обстановкой сами арабы IX—X веков были знакомы по совсем еще свежему и, вероятно, не забытому ими опыту. Одна из арабских поэм до-магометанского периода дает нам классическое изображение общества, живущего торговлей-разбоем. Вот как резюмирует это изображение один из новейших исследователей эволюции обмена. «Единственная торговля, которая существует, это—торговля рабами. Если какому-нибудь племени понадобится или просто захочется приобрести имущество другого племени, верблюдов, лошадей, стада, съестные припасы и т. д., оно обращается не к мирному способу обмена, а к вооруженному грабежу, *Razzia,* который, в то же время, дает возможность и самих людей покоренного племени, мужчин и женщин, обратить в рабство. Когда у племени Бени-Катан стало не хватать съестных припасов, триста их воинов ограбили их соседей, Бени-Аб... Во время этих Razzia старались особенно захватить женщин, а рабов ограбленного племени заставляли загонять к победителям верблюдов, которых те пасли. Благодаря таким разбойничьим нравам, отдельные племена были настороже. Ни один араб не был уверен, что он проживет 24 часа, или что он не попадет в рабство с минуты на минуту,—еще менее была обеспечена его собственность, его стада или другое имущество. Зато у вождей было множество рабов. Так, король Зохейр имел двести рабов, которые пасли его лошадей, верблюдов, верблюдиц и овец. Даже у каждого из его десяти сыновей было столько же. Не всех захваченных в плен женщин и девушек оставляли у себя: их продавали в рабство в далекие страны» [1]).

---

[1]) *Letourneau,* «L'evolution du commerce», p. 334.

Прочитав этот отрывок, мы поймем, почему средневековый торговец, отправляясь за товаром, «по обычаю брал с собою меч», как рассказывали рижане о своем обиженном витебским князем товарище в известной нам жалобе. Поймем мы и крайне странное, на первый взгляд, постановление договорной грамоты смоленского князя Мстислава Давидовича с теми же рижанами (1229 г.): «латинскому (т.-е. немецкому) не ехать на войну ни с князем, ни с Русью, если сам не захочет; также и русскому не ехать на войну с латинским (князем) ни в Риге, ни на Готском береге (о. Готланд): если кто сам захочет, пусть едет». Целью грамоты ведь было «снова урядить мир» между Русью и всем «латинским языком, кто у Руси гостит»—ведет торговлю с Русью: потому что раньше «немирно было всем купцам», торговавшим между Смоленском, с одной стороны, Ригою и Готландом, с другой. «Латинский» и «русин» грамоты были немецкий и русский *купцы*,—люди по «старой пошлине» всегда препоясанные мечом, их содействие на войне всякому князю было ценно, тем более, что войны этого князя часто были не чем иным, как своеобразной формой «первоначального накопления» именно торгового капитала. Купец и сам очень охотно воевал: не даром «торговать» и драться были такие близкие друг другу понятия в древне-русском языке. «И створися *проторжь* не мала на Ярославли дворе, и *сеча бысть*», рассказывает новгородский летописец об одном из обычных в вольном городе переворотов, когда славенский конец революционным путем сменил посадника, но наткнулся на сопротивление других концов. Как, однако, ни охоч был до драки торговый человек, принудительная воинская повинность могла бы стеснить его торговые операции: вот почему риго-смоленская грамота и оговаривает согласие самого купца, как непременное условие его участия в чужом походе. Зато, раз речь шла о защите *своей* торговой общины и ее интересов, к купцам обращались в первую голову и о их несогласии тут уже не могло быть и мысли: это было всегда готовое боевое ополчение. Поссорившись с князем Всеволодом Мстиславичем и предвидя неминуемое вооруженное столкновение, новгородское вече прежде всего другого конфисковало имущество бояр, «приятелей» князя, «и даша купцам крутитися на войну». Когда Литва неожиданно напала на Старую Руссу, город защищали вместе с сбежавшимися наспех горожанами, «огнищане и гридьба» (окрестные землевладельцы и наемные скандинавские ратники) «и кто *купц, и гости*». А когда в войну

Новагорода с Михаилом Тверским, «попущением Божьим сотворилось не мало зла», на поле битвы вместе с «мужами и боярами новгородскими» осталось и «купцов добрых много» [1]).

Торговец был военным человеком, товар был военной добычей—и место хранения товара, естественно, было военным *лагерем.* Это прежде всего сказалось опять-таки в языке: слово *товар* обозначало у древне-русского летописца, во-первых, всякое вообще имущество. Напав на усадьбу князя Игоря Ольговича, его противники нашли там «готовизны много»—много, в том числе, и «тяжкого товару всякого, до железа и до меди», так что и на телегах его было не увезти. При чем часть имущества, предназначенная для продажи —«товар» в нашем смысле—совершенно не выделялась из общей массы. Новгородская летопись рассказывает, как князь Мстислав Мстиславич («Удалой»), напав на Торжок, захватил там дворян своего конкурента, Святослава Всеволодовича, и «оковал» их: «а товара их кого рука дойдет». Рука князя Мстислава была длинная, и его соперник—вернее, его отец, так как сам Святослав был малолетний—эту руку почувствовал. Сначала он попытался-было ответить репрессалиями, задержав новгородских гостей с их товарами. Но когда Новгород, в свою очередь, ответил на это арестом Святослава и остатка его свиты, Всеволод пошел на мир. «И пустил Мстислав Святослава и муж его, а Всеволод пусти гость с товары». Это полное нежелание отличать потребительную ценность от меновой чрезвычайно характерно для эпохи натурального хозяйства, но для прослеживаемой нами связи еще характернее другое смешение. Когда Владимир Святой, отправившись воевать с печенегами, получил приглашение печенежского князя решить спор поединком двух бойцов, русского и печенежского, он «пришед в *товары,* посла по *товаром* бирюча», спрашивая: нет ли такого мужа, который бы взял на себя драться с печенегом. Нигде, может быть, политика, как оболочка экономики, не выступает перед нами с таким наивным простодушием. Экономическое содержание понятия выветрилось; от торговца, опоясанного мечом, виден уже только один меч, но звуки остались старые и предательски разъясняют нам, зачем этот меч понадобился, предательски напоминают нам о том времени, когда военный стан русского князя был просто стоянкой разбойников, хоронивших здесь награбленное ими добро, которым они готовились торговать в чужих землях.

[1]) Новгородская 1-я летопись под 1137, 1234 и 1315 г.г.

Это совмещение торгового склада с казармой держалось очень упорно, долгое время после того, как, если не первоначальное добывание «товара», то, по крайней мере, его дальнейшие передачи совершались уже в мирных, легальных формах. Вот какими чертами описывает поселок немецких купцов в Новгороде один русский историк. «Как места, предназначенные для того, чтобы служить безопасным убежищем, оба двора, и Готский и Немецкий, были огорожены высоким тыном, поддержание которого было одним из постояннейших забот немецкого купечества. Крепкие ворота поддерживали общение этих иноземных цитаделей с остальным населением чуждого и нередко враждебного им города... Порядок, господствовавший во дворе, поддерживался строго: приняты были все меры, чтобы никто не нарушал законов, клонившихся к этой цели. Особенное внимание было обращено на внешнюю безопасность двора. Денно и нощно охраняли двор сторожа, и кто из кнехтов пренебрегал своей обязанностью, тот платил 15 кун, или же подвергался ответственности хозяин, если пренебрежение последовало по его вине. Кроме того, вечером спускаемы были большие цепные собаки, которые грозили разорвать всякого непрошенного пришельца. Церковь, как складочное место, была предметом особенного попечения. Каждую ночь спали в ней два человека, которые отнюдь не могли быть ни братьями, ни компаньонами, ни слугами одного и того же хозяина, и тот, кто водил их вечером в церковь, должен был запирать за ними дверь и ключи вручать ольдерману. Церковная стража совершалась по очереди и распространялась одинаково на жилища, находившиеся как на дворе, так и вне последнего. Те, которые держали последнюю стражу, должны были во время трапезы напомнить о предстоящей обязанности тем, которые следовали за ними непосредственно. Кроме собственно внутренних церковных стражей, у ворот храма стоял еще, в продолжение целой ночи, третий и смотрел, чтобы никто из туземцев не пробрался в соседство церкви: боязнь последних была так велика, что запрещалось, под страхом наказания, носить ключ так открыто, чтобы его можно было видеть» [1].

Можно было подумать, что все это больше дело традиции, пережиток, уже лишившийся смысла—или же, что такие меры предосторожности были нужны только в варварской России, и что

---

[1]) *Никитский*, «История экономического быта Великого Новгорода», стр. 113 и 127.

просвещенный запад стоял в этом отношении много выше. Но возьмите три первых, до времени, упоминания новгородской летописи о торговых путешествиях новгородцев на этот самый запад. Самое раннее из них повествует о несчастии стихийном: «и сами истопоша, и товар». Но во втором мы встречаемся уже с общественными отношениями: «томь же лете рубоша новгородець за морем в Дони (Дании)». А в третьем эти отношения принимают еще более осязательную форму: «приходи свейский князь с епископом в 60 шнеках на гость, иже из-за морья шли в трех лодьях; и бишася, не успеша ничтоже (свейский князь с епископом) и отлучиша их три лодьи, избиша их до полутораста» [1]. Этот пиратствующий епископ еще раз напоминает нам об участии средневековой церкви в средневековой торговле, со всеми ее особенностями. Но обыкновенно представители церкви брали себе менее активную роль—не добывателей, а хранителей товаров. Мы видим, что центром немецкой торговой цитадели в Новгороде была католическая церковь Св. Петра. Но и православные церкви систематически выполняли ту же функцию. Мы уже знаем, что около одной из них, Иоанна Предтечи, что на Опоках, группировалась главнейшая из новгородских коммерческих компаний—торговцы воском. Другие были просто товарными складами. Описывая огромный Новгородский пожар 1340 года, летописец жалуется на «злых человеков», которые не только что у своей братьи пограбили, а иных над своим товаром побили, а товар себе взяли, «но и в святых церквах—где бы всякому христианину, хоть свой дом бросить, а церковь постеречь». В церкви 40 мучеников, «товар весь, чей бы ни был, все разграбили; икон и книг не дали носить—как только сами (воры) выбежали из церкви, так все и занялось; и сторожей двух убили. А у святой Богородицы в торгу поп сгорел; говорят иные, что и его убили над товаром: церковь вся сгорела, и иконы и книги—а у него огонь даже волос не тронул; а товар весь разграбили». Для очень распространенного предрассудка насчет силы и влияния религиозного чувства в средние века, эта реалистическая картинка летописи весьма поучительна. Практичные немцы были правы, когда, не полагаясь на «святость места», держали около своей церкви-склада хороших цепных собак и вооруженного сторожа.

Если мы упустим из виду это сочетание войны, торговли и разбоя, мы ничего не поймем в организации древне-русского

[1]) Новгородская 1-я, г.г. 1130, 1134, 1142.

города. Для нас останется совершенной загадкой роль, например, *тысяцкого*—главного командира городских «воев». Еще мы сможем понять, и не привлекая к делу экономических отношений, положение тысяцкого, как первого после князя лица. «Русская Правда», перечисляя сотрудников Мономаха, в его «сиссахтии»—в издании знаменитого устава о росте, которым мы еще займемся ниже—на первом месте после самого Владимира Всеволодовича ставит «Ратибора, тысяцкого Киевского, и Прокопия, тысяцкого Белогородского, Станислава, тысяцкого Переяславского...» «Изяслав,—рассказывает Лаврентьевская летопись,—послал вперед себя в Киев, к брату своему Владимиру и к Лазарю тысяцкому двух мужей...» «Георгий Ростовский и тысяцкий окова гроб Федосьев, игумена Печерьского...» (Ипат. под 1130 г.). Сможем понять и то, каким образом суд тысяцкого в Новгороде по некоторым делам вытеснил суд княжой. Но когда речь заходит об определении этих дел, об установлении компетенции тысяцкого—тут никакие современные аналогии нам не помогут. Наша мысль приучена к тому, что военный генерал—лицо важное. Но когда какой-нибудь современный генерал-губернатор привлекает к своему трибуналу торговые тяжбы коммерсантов, всем это кажется до нельзя странным [1]). А между тем главный генерал Новгорода—«герцог», как его величали немецкие купцы—именно этими самыми делами и заведывал. Тысяцкий был председателем специально коммерческого суда—и в этой области он был так же самостоятелен, как владыка-архиепископ в области суда церковного. «И я князь великий Всеволод,—говорит учредительная грамота знакомого уже нам товарищества Ивана Предтечи на Опоках,—поставил святому Ивану трех старост от житьих людей, и от черных тысяцкого, а от купцов два старосты—управливать им всякие дела Иванские, и торговые, и гостиные, и суд торговый; а Мирославу посаднику в то не вступаться, ни иным посадникам, ни боярам новгородским—в Иванское ни во что не вступаться». «А во владычень суд и в тысяцкого, а в то ся тебе не вступати...», писали новгородцы в последнем договоре, который был заключен еще вольным городом,—объясняя свою «старину и пошлину» польскому королю Казимиру IV. И только вспомнив препоясанного мечом рижского купца, явившегося в витебскую область покупать девиц, мы поймем, почему главный начальник всех, кто носил меч, был и главным судьею всех, кто торговал—на таком же точно основании,

[1]) Писано в 1910 г.

на каком верховным судьею в военном лагере является главнокомандующий армиею. А если генерал был главным начальником всех купцов, то естественно, что его полковники, «сотские», были их вице-начальники, и что древне-русские купцы делились на *сотни* точно так же, как теперешние распадаются на гильдии. «А купец пойдет в свое сто, а смерд потянет в свой потуг к Новгороду, как пошло», гласит тот же договор новгородцев с Казимиром IV. Из одного позднейшего, быть может, но, во всяком случае, достаточно древнего, прибавления к «Русской Правде» мы узнаем, что эти «сотни» назывались по именам своих командиров—«Давыдово сто», «Ратиборово сто», «Кондратово сто»,—как русские полки при императоре Павле Петровиче—и имели вполне определенное территориальное значение, почему по ним и разверстывалась повинность мощения новгородских улиц. Очевидно, что первоначально такой купеческий поселок представлял собою нечто вроде немецкого двора, все население которого было связано единством дисциплины и командования, а потом постепенно обратился в один из городских кварталов.

Только в связи со всеми этими фактами становится нам ясна и роль древне-русского *веча*. Давно уже прошли те времена, когда вечевой строй считался специфической особенностью некоторых городских общин, которые так были и прозваны «вечевыми»—Новгорода, Пскова и Вятки. Вечевые общины стали представлять собой исключение из общего правила лишь тогда, когда само это правило уже вымирало: это были последние представительницы того уклада, который до XIII века был обще-русским. «Веча собираются во *всех* волостях. Они составляют думу волости... Таково свидетельство современника. Нет ни малейшего основания заподозрить его правдивость...» «От XII века и ближайших к нему годов смежных столетий мы имеем более 50 частных свидетельств о вечевой жизни древних городов со всех концов тогдашней России» [1]). Чтобы рельефнее выставить независимость этого учреждения от местных, новгородских, условий, цитируемый нами автор намеренно оставляет в стороне все данные, касающиеся веча в Новгородской волости. И это отнюдь не лишило набросанную им картину яркости красок,—совсем напротив. «Может показаться даже невероятным, что известия наших памятни-

---

[1]) *Сергеевич*, «Вече и князь» (Русск. Юрид. древности, т. II, вып. I). Автор собрал самый полный фактический материал для характеристики веча, и в этом отношении к его работе нечего прибавить.

ков о вечевой практике Новгорода и Пскова скуднее, чем известия о киевской практике. А между тем это так. Киевский летописец оставил нам довольно полную картину веча 1147 года, северные же не дали ничего подобного» [1]).

События 1146—1147 годов, очень подробно, местами до наглядности описанные летописью, являются, действительно, одним из самых ценных образчиков вечевой практики, какие мы только имеем. Мы не будем пока касаться вопроса о происхождении вечевого строя, ни эволюции последнего, ибо было бы очень неосторожно думать, что вече на всем протяжении своей истории всегда было одним и тем же, как может, пожалуй, показаться читателю только-что цитированного исследования. Древне-русские «республики» начали аристократией происхождения, а кончили аристократией капитала. Но в промежутке они прошли стадию, которую можно назвать демократической: в Киеве она падает как раз на первую половину XII века. В этот период хозяином русских городов является, действительно, *народ*. Посмотрим, что же он из себя представляет. Вот киевское вече 1146 года. Народ решает на нем самый важный политический вопрос—кому быть князем в Киеве; перед нами своего рода учредительное собрание. Представитель кандидата на княжеский стол—его родной брат—ведет переговоры с вечем, как равный с равным. Переговоры кончены—стороны столковались, остается заключительная церемония обоюдной присяги: граждане должны присягнуть, что будут повиноваться вновь избранному князю, а представитель последнего, а потом и он сам присягают, что будут честно исполнять условия, на которых князь выбран. «Святослав же (брат вновь избранного князя Игоря Ольговича) *сошел с коня* и на том целовал крест к ним на вече; а киевляне все, *сойдя с коней,* начали говорить: «брат твой князь и ты». И на том целовали крест все киевляне и с *детьми,* что они не изменят Игорю и Святославу». Остановимся сначала на последнем из подчеркнутых нами выражений. Что это значит? Маленьких детей что ли приводили на вече и заставляли целовать крест? Нет, целовавшие крест предварительно «сходили с коней»—малолетних между ними быть не могло. Это значит, что Игорю присягали не одни только главы семейств, «дворохозяева» по теперешнему, а действительно *весь народ*—т.-е. все взрослые мужчины, *способные носить оружие.* Это последнее с

---

[1]) Ibid., стр. 60.

непрекаемой очевидностью вытекает из двух первых выражений, подчеркнутых нами. Вся сцена носила чисто военный характер. Обе договаривающиеся стороны сидели верхом на конях и были, конечно, вооружены. Князя Игоря выбирали те самые «вои», предводитель которых, тысяцкий, был в то же время председателем коммерческого суда: князя выбирало городское ополчение. Политически именно оно и представляло собою город.

Возьмем теперь вече 1147 года. Всего год прошел, но в Киеве за это обильное событиями время успел произойти ряд перемен Игорь, которому только что целовали крест, больше не князь: он заперт в монастырь св. Федора, а на столе популярный среди киевлян представитель «мономахова племени», Изяслав Мстиславич. Но и с ним уже у стольного города успели начаться нелады, и он ушел на войну против своего дяди Юрия без городского ополчения: с Изяславом отправились только его дружина да охотники из числа горожан. Война пошла плохо—к Юрию пристали Ольговичи, родня низвергнутого Игоря. Изяславу нужно уладить свои дела с Киевом, и он посылает к вечу послов. Те сначала заручаются поддержкой первых лиц в городе—митрополита и *тысяцкого,*—а потом уж обращаются к народу. Когда киевляне все, «от мала и до велика» (мы уже знаем теперь, что это значит), собрались «к святой Софье на двор» и «стали вечем», один из послов держит к ним такую речь: «Целует вас князь ваш. Я вам объявлял, говорит он, что думаю с братом своим Ростиславом и с Владимиром и с Изяславом Давыдовичами (это были родственники Игоря) пойти на дядю своего, Юрия, и вас с собою звал. А вы мне сказали: не можем поднять руки на Юрья, на племя Владимира (Мономаха), а на Ольговичей (т.-е. на родственников Игоря) пойдем с тобой хоть с детьми. Теперь же объявляю вам: Владимир и Изяслав Давыдовичи и Святослав Всеволодович, которому я много добра сделал, целовали мне крест; а потом тайно от меня целовали крест Святославу Ольговичу (брату Игоря) и послали к Юрью, а мне изменили, хотели меня либо убить из-за Игоря, либо схватить, но меня Бог сохранил и крест честной, на котором они мне присягали. Так вот, братья киевляне, теперь есть то, чего вы хотели, и наступило время исполнить ваше обещание: *идите за мною на Чернигов,* против Ольговичей, *от мала и до велика, у кого есть конь, на коне, а кто не имеет коня, в лодке:* они ведь не меня одного хотят убить, но и вас искоренить». И киевляне сказали: «рады, что тебя, *брата нашего,*

спас Бог от великой измены, идем за тобой и с детьми, если хочешь». Оставим на минуту это само по себе в высшей степени характерное братанье князя с вечем: редко где они так отчетливо выступают, как две совершенно *равноправных* силы. Но с кем братался Изяслав? К кому можно было держать такую речь: «идите за мной, у кого есть конь, на коне, а то в лодке?» Перед нами опять вооруженный город: народное ополчение с правами верховного учредительного собрания.

Какое бы мы вече ни взяли, южно-русское или даже позднейшее, новгородское, мы встретим в общих чертах ту же картину. Редко она бывает столь выразительна, как то вече, которое смольняне устроили в 1185 году в разгаре самого похода против половцев, когда их князь повел их дальше, чем было условлено. Но еще и в Новгороде в 1359 году один политический спор был решен славенским концом в свою пользу только потому, что славляне догадались выйти на вече в доспехах, тогда как их более многочисленные противники не приняли этой меры предосторожности—и были «побиты и полуплены». Непрерывные драки на вечах, которые в доброе старое время историки наивно объясняли «буйством» новгородской «черни», легче всего станут нам понятны, если мы представим себе вече, как своего рода солдатский митинг—собрание людей, мало привычных к парламентской дисциплине, но весьма привычных к оружию и не стеснявшихся пользоваться этим веским аргументом. Вспомнив эту особенность древне-русской демократии, мы легче всего поймем также и то, почему она в споре с князьями всегда оказывалась более сильной, до тех самых пор, пока не изменился военный строй древней Руси, и городские ополчения не уступили место крестьянско-дворянской армии великого князя Московского. Вече было воплощением той материальной силы, на которую непосредственно опирался князь в борьбе со своими соперниками. Княжеская дружина, считавшаяся обычно сотнями, редко поднимавшаяся до тысяч, была, в военном отношении, чем-то средним между отрядом телохранителей и главным штабом. Это была качественно лучшая, в смысле боевой подготовки, часть войска, но количественно она была настолько слаба, что в Новгороде, например, князья даже никогда не пытались опереться на нее против вооруженного веча. Без городских «воев» нельзя было предпринять ни одного серьезного похода—и отказ их в повиновении князю был фактическим концом его власти. Он без всякой «революции» в нашем смысле

переставал быть князем, т.-е. *военачальником.* Ибо, если вече было самодержавной армией, то весь смысл существования князя заключается в том, что он был главнокомандующим этой армии, тоже самодержавным, пока она его слушалась, и более бессильным, чем любой сельский староста, как только наступало обратное.

Сравнение князя киевско-новгородской Руси с сельским старостой, «которому каждый в миру послушен, *но весь* мир их выше и может сменять и наказывать», принадлежит не нам, а К. Аксакову. При всех своих научных недостатках славянофильская схема русской истории, благодаря особенностям того угла зрения, под которым она рассматривала древне-русскую действительность, имеет за собой крупную заслугу; она, в сущности, уже шестьдесят лет назад покончила с той модернизацией древне-русских политических учреждений, которая из князя делала государя в новейшем смысле этого слова. Одним из первоначальных виновников этой модернизации является, правда, человек весьма древний—сам киевский летописец, скомпилировавший, не без публицистических целей, «начальный свод» в первой четверти XII столетия. Современник Владимира Мономаха, выступившего, действительно, с широкой социально-политической программой,—ее нам еще придется коснуться дальше—ученик византийских хронографистов, с их библейско-римским представлением о государственной власти, составитель нашей начальной летописи готов был и первого русского князя рисовать по образу и подобию ветхозаветных царей и константинопольских императоров. Но Римская Империя—восточная, как и западная—хотя и возникла, по мнению блаженного Августина, из разбойничьей шайки, в историческое время была уже прочно сложившейся полицейской организацией: и вот, целью призвания Рюрика оказывается установление внутреннего «наряда». Хотя об этой цели говорится якобы собственными словами собравшихся на вече славян IX века, однако эта литературная форма не должна нас обманывать. Ни одного факта внутреннего строительства ни для Рюрика, ни для его ближайших преемников летописец привести не сумел: то немногое, что мы от него узнаем, сводится к тому, что Рюрик «срубил город над Волховом» и продолжал то же в других местах, везде «срубая города» и ставя в них варяжские гарнизоны. Олега, Игоря, Святослава мы встречаем опять-таки лишь в роли руководителей военных действий—руководителей

иногда символических, как мы видели в I главе, что еще более характерно— и лишь по поводу Ольги мы узнаем кое-что о внутренней работе княжеской власти, но эта внутренняя работа сводилась к установлению «даней и оброков»; с разбоями начал бороться—будто бы—Владимир Святой, да и то неудачно для первого раза. С Ярославом Владимировичем предание связывает появление «Русской Правды». Но в летопись это предание попало очень поздно—в древнейших списках Новгородской первой летописи его нет; а по существу дела совершенно ясно, что этот сборник судебных решений не мог быть продуктом чьего бы то ни было законодательного творчества. Самое большее, что можно утверждать, это принадлежность «мудрому» князю первого по порядку из записанных неизвестно кем и когда решений, но и то со всевозможными оговорками, ибо проследить заголовок—«Суд Ярославль Володимерича»—мы можем не дальше конца XIII века. К тому времени со смерти Ярослава прошло два с половиной столетия: сколько за это время могло возникнуть легенд, легко себе представить. Летопись же и о Ярославе сообщает, главным образом, то же, что о его предшественниках: «победи Брячислава», «вся Белз», «иде на Ятвягы», «иде на Литву». При чем любопытно, что, чем древнее список летописи, тем меньше мы в нем находим данных о Ярославе, несмотря на то, что некоторые известия,—например, закладка святой Софии,—повторяются дважды под разными годами [1]. Словом, чтобы найти князя-реформатора, так или иначе пытавшегося установить в земле порядок, нам нужно подняться до первой половины XII столетия, где в лице Владимира Всеволодовича мы и найдем, по всей вероятности, оригинал портрета, в различных вариациях повторяемого летописью. Но деятельность Мономаха, как увидим дальше, отнюдь не была нормой даже для древней Руси вообще. Характерно, что и этот завершитель киевской «демократической революции» XI—XII веков сам ценил в себе больше всего храброго и удачливого генерала, совершившего 83 больших похода, не считая мелких. Об них он очень подробно распространяется в своем знаменитом «поучении», тогда как на его внутреннюю деятельность мы находим там лишь самые скудные указания. Для его современников и потомков мы не найдем и таких: самое большее, если летописец нам скажет, насколько энергично тот или другой князь

---

[1]) См., напр., Новгородскую первую с 1017—1041 г.г.

собирал свой судебный доход, «виры» и «продажи». Но большая настойчивость в этом случае сулила князю плохую репутацию— усиленное собирание уголовных штрафов население склонно было рассматривать как своего рода злоупотребление властью и приравнивать его к грабежу [1]). Внутренний порядок население умело поддерживать само: когда в Новгородской земле суд вечевого города сложился в свою окончательную форму, княжеская инициатива из него была вовсе устранена. Но и Новгород не мог обойтись без князя, ибо «тяжко» было тогда городу, у которого не осталось «никакого князя», как это было с Киевом в 1154 году. А почему тяжко бывало городу без князя, это вполне отчетливо объяснил старый друг и старый неприятель Новгорода, Всеволод Юрьевич «Великий» (иначе известный под именем «Большого Гнезда»). «В земле вашей ходит рать,—говорил он новгородцам в 1205 году,—а князь ваш, сын мой Святослав, мал, так вот, даю вам старшего своего сына, Константина». И в XIII веке, как в IX, князь был нужен, прежде всего другого, для ратного случая: оттого одним из самых сильных обвинений против князя и было, если он «ехал с полку переди всех», как это случилось в 1136 году со Всеволодом Мстиславичем. С особенным реализмом обрисована эта «воинская повинность» князя в одной из довольно поздних новгородских грамот (1307 или 1308 года)— договоре с великим князем Михаилом Ярославичем. В те времена Новгород держал уже не одного, а, случалось, и нескольких князей, но все с тою же целью. На одного из них, Федора Михайловича, грамота и жалуется в таких выражениях: «дали ему... город стольный Псков, и он хлеб ел; а как пошла рать, и он отъехал, город бросил...». За что же было и кормить хлебом князя, который на войне никуда не годился?

В XIV веке и в Новгороде за свои недостатки князь отвечал перед вечем. Было ли так всегда и везде? Были ли уже Рюрик и его ближайшие преемники «наемными сторожами» Русской земли? Было ли наше вече в знакомом нам демократическом его составе непосредственным отпрыском «первобытной демократии», или же демократия тогда, как и теперь, была результатом долгой и упорной общественной борьбы? Летописный рассказ о призвании князей ставит решение веча исходным пунктом всей русской истории: сходку Чуди, Славян и Кривичей, решившую призвать

---

[1]) См., напр., Ипатскую летопись под 1093 годом.

Рюрика с братьями, иначе, как вечем, назвать, конечно, нельзя. Но как в характеристике князя у начального летописца отразился Владимир Мономах, так и характеристика политической обстановки IX века должна была отразить в себе условия XII-го. Весь рассказ, несомненно, стилизован—и настолько, что разглядеть его историческую основу почти невозможно. Мы знаем, что от норманнов откупились, что первым князем, имя которого запомнило предание, был Рюрик, что он пришел с севера и «воевал всюду». Все остальное может быть домыслом компилятора—или с такой же степенью вероятности странствующим сказанием: известно, что легенда о прибытии англо-саксов в Британию почти буква в букву сходна с нашим рассказом о призвании князей из-за моря править Русью. Большую убедительность имеют первые *документы* русской истории, какие мы имеем в договорах первых двух, действительно исторических, князей, Олега и Игоря, с греческими императорами. Подлинность самых документов, некогда оспаривавшаяся, давно уж не подвергается никакому сомнению. Очень характерно, что ни Олег, ни Игорь не выступают в них как единоличные представители некоторого государства, именуемого Русью—или как-либо иначе. И тот и другой называются лишь «великими», т.-е. старшими из очень многих русских князей, «сущих под рукою» великого князя, но самостоятельных, однако, настолько, что они имеют свое, особенное дипломатическое представительство: у них есть особые «слы»—имена некоторых тут же и перечисляются. Договор объявляется выражением воли *всех* этих князей («похотеньем наших князь»). Но, очевидно, и этого было мало, чтобы придать ему в глазах русских законную силу: «и от всех, иже под рукою его (Олега) сущих Руси», прибавляет договор Олега; «и от всех людей Русской земли», заканчивает перечень послов договор Игоря. Князья—только представители некоторого целого, которое вовсе не думало отчуждать в их пользу все свои права. Князь ведет текущие дела, но в экстренных случаях выступает вся «Русь», т.-е. все торговое городское население: такое именно значение слова «Русь» с совершенной ясностью устанавливается первым из судебных решений, записанных в Русской Правде, позднейшие редакции которой нашли даже нужным и прибавить, как бы в скобках, это значение к термину «русин», в XIII веке уже не всем понятному.

Договоров Олега и Игоря само по себе уже достаточно, чтобы устранить всякие домыслы о якобы «великой державе», основанной первым из этих князей—державе, лишь позже распавшейся на множество мелких княжеств. «Великое княжение» Олега было временным соединением в руках одного лица власти над многими самостоятельными политическими единицами; позже такое же фактическое объединение Руси имело место при Мономахе и его сыне Мстиславе. Но юридически ни Олег, ни Мономах никогда не упраздняли этой самостоятельности—им, по всей вероятности, это и в голову не приходило, как не приходило в голову тогдашнему боярину, объединив в своей вотчине сотни крестьянских дворов, лишить хотя бы один из них его хозяйственной самостоятельности. Напротив, чем больше было отдельных князей, «сущих под рукою» великого, тем больше было значение и этого последнего. А второстепенные князья, как и сам великий, в своем стольном городе имели авторитет лишь постольку, поскольку их поддерживало местное население. «Федеративный» и «республиканский» характер древне-русского государственного строя на самых ранних—из известных нам—ступенях его развития устанавливается таким путем вполне определенно. Ничего иного, при данной экономической обстановке, мы не могли бы ожидать. Древне-русские города отнюдь не были рынками в современном смысле этого слова, экономически централизующими окрестную страну вокруг себя. Таким рынком не удалось стать вполне даже и Новгороду: даже и этот прогрессивнейший из древне-русских торговых центров мог быть вынут из своей области без того, чтобы последняя очень это почувствовала. А его предки, города «великого водного пути» времен Олега и Игоря, были просто стоянками купцов-разбойников, гораздо теснее связанными с теми заграничными рынками, куда эти купцы поставляли товар, нежели с окрестной страной, по отношению к которой городское население было типичным паразитом. Никакой почвы для «единого» государства—и вообще государства в современном нам смысле слова—здесь не было. Военно-торговые ассоциации, вначале чисто импровизированные, далее все более и более устойчивые, периодически выдвигали из своей среды вождей, выступавших перед соседними народами в виде «князей» Руси. Нам совершенно неизвестно, при каких условиях звание вождя в целом ряде центров монополизировалось за членами одного рода—потомками Игоря: но сама по себе, при данном строе, наследственность кня-

жеской профессии так же естественна, как и наследственность купеческой,—а о купце мы знаем из грамоты Ивана на Опоках, что он «шел отчиною». Этот факт наводит на другое заключение: если княжеская власть и занятие торговлей были организованы на вотчинном, патриархальном начале, естественно предположить, что то же начало лежало в основе всего строя древне-русского города, что та Русь, о которой идет речь в договорах, была совокупностью не отдельных лиц, а *семей*—чего-нибудь вроде «печищ» или «дворищ», составлявших основную социальную ячейку сельской Руси. Два факта, повидимому, совершенно оправдывают такое заключение: во-первых, то название, какое носит в древнейших редакциях «Русской Правды» командующий класс тогдашнего общества—«огнищане». Последователи Шторха, все стремившиеся объяснить торговлей в современном нам смысле слова, готовы были, путем этимологических сближений, сделать из этой общественной группы «работорговцев» или «рабовладельцев»—или что-то вроде плантаторов, ведших крупное сельское хозяйство при помощи холопского труда. Но родство слова с хорошо знакомым нам «печищем» слишком бьет в глаза—и «тиун огнищный» «Русской Правды» гораздо больше походит на позднейшего дворецкого, чем на villicus'а, начальника рабов в римской латифундии. Его барин всего скорее мог бы быть приравнен к позднейшему боярину-вотчиннику: возможно, что в деревне он и был «социальным предком» последнего. Но что делать с городскими огнищанами? А из устава о мощении новгородских мостовых мы знаем, что в Новгороде их была целая улица. Древнейшие редакции «Правды»—памятника, сложившегося в чисто городской обстановке, как давно уже совершенно справедливо отмечено—также едва ли бы стали много заниматься сельскими жителями, а они отводят огнищанам первое место в ряду упоминаемых ими общественных групп. Приходится допустить, что огнищане были и в городе, т.-е. что этот последний представлял совокупность «печищ» или «огнищ», ведших коллективное хозяйство, только занимавшихся не земледелием и промыслами, а торговлей и разбоем [1]). Другой факт, наводящий на ту же мысль—о патриар-

---

[1]) *Г. Пресняков* («Княжое право», стр. 231), опираясь на аналогию с германскими терминами, видит в огнищанине старшего княжеского дружинника, члена княжеского «огнища». Но он сам же отмечает, что в Новгороде огнищане не составляли части княжеского двора, а были «своего рода корпорацией». С другой стороны, почему же только княжеский двор был «огнищем»? Ведь и дружины были не только у князей.

хальном строении древнейшей городской общины,—те, не менее огнищан, таинственные, *старцы градские,* которых мы находим в думе Владимира Святого рядом с боярами. Видеть в них выборную «городскую старшину», как кажется некоторым исследователям, не приходится: выборное начало в древне-русском городе не ослабевало, а усиливалось с течением времени. Выборный институт мог изменить название, но исчезать ему не было ни малейшего основания. Другое дело, если мы допустим, что «старцы градские» были главами *печищ,* составлявших первоначально город: тогда их постепенное исчезновение, как мы сейчас увидим, будет как нельзя более естественно.

Патриархальный быт экономически был тесно связан с натуральным хозяйством. «Печище» могло держаться веками или медленно эволюционировать в вотчину, только сохраняя свой характер, как самодовлеющего экономического целого. Город не давал этого основного экономического условия. Несколько «печищ», укрепившихся в первое время на том или другом удачно выбранном пункте и образовавших городскую аристократию, очень скоро оказавылись охваченными густой массой самых разношерстных элементов, которые старая патриархальная организация не могла ассимилировать и поглотить и которые она с трудом удерживала до поры, до времени. О той пестрой толпе, какая скучивалась в больших центрах Поволжья и Приднепровья, дает понятие рассказ одного арабского писателя о хазарской столице Итиль. «Там учреждено 7 судей: два для магометан, два для хазар, которые судят на основании закона Моисеева, два для живущих здесь христиан, которые судят на основании Евангелия (!), и один для славян, руссов и других язычников, которые судят по законам языческим». Такой же разнообразный состав должно было представлять население и Киева. Немцы, которых приводил с собою на помощь Святополку польский король Болеслав Толстый, рассказывали потом, вернувшись на родину, своему епископу (Титмару Мерзебургскому), что Киев, будто бы, очень большой город: в нем до 400 одних церквей, а населен он «беглыми рабами и проворными *датчанами»,* как называли немцы всех скандинавов вообще по единственному знакомому им образцу. Из Жития Феодосия и Печерского Патерика мы узнаем и еще об одном не туземном элементе в составе киевского населения: там было много евреев, споры с которыми о вере составляли одно из занятий Феодосия, отмеченных его биографом. Читая такой драгоценный бытовой

памятник, как Печерский Патерик, мы получаем чрезвычайно живое и наглядное представление об этнографической пестроте тогдашнего Киева. В стенах Печерского монастыря перед нами сменяются: варяжский князь Симон, пришедший из-за Балтийского моря; княжеский врач—армянин родом, так неудачно конкурировавший с туземными печерскими врачами, которые монастырской капустой излечивали самые мудреные болезни, ставившие втупик армянского врача; греческие художники, пришедшие на поиски заработка и для начала доброго знакомства рассказывавшие крайне лестные для печерской обители чудеса, с ними, художниками, случившиеся; венгерцы с берегов Дуная и половцы из соседних южно-русских степей,—словом, кого только не захватывал в свои волны поток торгового движения из «Варяг в Греки». В этой смеси одежды и лиц, племен и наречий преобладали, конечно, люди, что называется, без роду, без племени. Т.-е. род и племя у них были, но они остались где-то далеко, на родной стороне, которая давно стала чужбиной, и куда человек по большей части и не рассчитывал вернуться. Семейное право не ограждало и не стесняло его более: у него был один отец-господин—торговый интерес, который привел его в Киев. Место семейной организации, печища, занимает искусственная военная организация, «сотня», с которой мы уже сталкивались ранее. А рядом со «старцами градскими» появляются десятские и сотские с тысяцким, и скоро из-за последних первых становится совсем не видно.

Этот процесс разложения старых патриархальных ячеек определил собою и эволюцию киевского веча. Демократизация его состояла не в том, чтобы увеличивалась власть народа и падала власть князя. Права последнего юридически никогда не были ограничены: пока он пользовался доверием и поддержкой «гражан», он мог, не стесняясь, делать все, что ему угодно. Из того же Киево-Печерского Патерика мы узнаем, что князь мог схватить любого человека, даже не из своего княжения, начать его пытать—и запытать до смерти, доискиваясь «сокровища», на которое этот князь имел так же мало прав, как и пытаемый им человек. Военной республике, какой был древне-русский город, неприкосновенность личности была совершенно незнакома. Когда злоупотребления князя переходили границу терпения его подданных, его просто низвергали, иногда убивали, и тем дело кончалось. В этом отношении Новгород XV века фактически

мало чем отличался от Киева XI века. Развивались не столько юридические понятия и политические формы—кое-какие перемены, которые можно здесь проследить, мы рассмотрим в конце этой главы,—сколько социальный состав той массы, политическим воплощением которой являлось самодержавное народное собрание. Около первоначального ядра, нескольких купеческих родов, основавших город (в Киеве сохранилось и предание о таком основателе, который «бе ловяще зверь» и ходил в Царьград—по его имени будто бы назвали и самый город), скоплялось множество мелкого люда,—чернорабочих и ремесленников, оставивших память о себе в названиях новгородских «концов» Гончарского и Плотницкого. Уже в дни смут, следовавших за смертью Владимира-Святого, этот мелкий люд играл известную роль. Летопись рассказывает, что Святополк «окаянный», вокняжившись в Киеве, «созвал людей и начал давать одним одежду, другим деньги, и раздал множество». Купеческую аристократию таким путем подкупить было нельзя. В то время в Новгороде ремесленное население играло уже такую роль, что Ярославль, избив «нарочитых мужей», напавших на его варяжскую дружину, мог собрать, тем не менее, сорокатысячное ополчение, которое его противники в насмешку называли «плотниками». Киев в это время был более консервативным городом и, как мы узнаем из чрезвычайно любопытного описания событий 1068 года, масса населения в нем не была вооружена и организована по-военному. Это был год первого большого половецкого нашествия на Русь, когда созданная Ярославом система обороны не выдержала испытания. Вышедшие навстречу степнякам на реку Альту Ярославичи были разбиты на-голову и с остатками своих войск бежали—Изяслав со Всеволодом в Киев, а Святослав в Чернигов. Остаток киевского ополчения, созвав вече на торговище, обратился к Изяславу с такою речью: «Половцы рассыпались по земле; дай, князь, оружие и коней—мы еще будем биться с ними». Из сжатого изложения летописца (который, быть может, и сам не вполне отчетливо представлял себе картину—припомним, что он ведь все время стоял на точке зрения XII века) с первого взгляда как будто следует, что говорившие требовали оружия и коней себе. Но как могли убежать от половцев те, кто потерял лошадей в битве, и зачем нужно было обращаться в княжеский арсенал купцам, которые сами всегда ходили вооруженными? Речь, очевидно, шла о создании

новой армии из тех элементов населения, которые раньше в походах не участвовали и вооружены не были. Изяслав имел какие-то основания им не доверять—и требования не исполнил. За это он поплатился столом: киевляне освободили из заключения и провозгласили своим князем его соперника, Всеслава Полоцкого, а Изяслав с дружиной должен был бежать в Польшу. К сожалению, летопись нам ничего не сообщает о порядках, установившихся в Киеве после этой первой в русской истории революции. Видно только, что в военном отношении новый режим не был силен—привыкшие к оружию слои населения или стояли в стороне, или ушли вместе с Изяславом: когда последний через 7 месяцев вернулся с польской подмогой, он справился с восставшими без битвы. Брошенные и своим новым князем, бежавшим к себе в Полоцк, киевляне дошли до крайнего отчаяния и угрозой—сжечь свой город и поголовно выселиться—вызвали вмиг вмешательство двух других Ярославичей, Святослава и Всеволода. Этим они спасли город от разгрома, но, тем не менее, должны были испытать весьма свирепую репрессию: 70 человек были казнены, другие ослеплены или «погублены» каким-то иным путем,—вероятно, проданы в рабство. Знаменательно, что летописец не называет казненных «нарочитыми мужами», как тех, кого избил Ярослав в 1015 году, а просто «чадью»—«людьми». Не менее знаменательна и полицейская мера, принятая Изяславом в предупреждение подобных событий на будущее время: он «изгнал торг на гору». *Гора*—самая старая часть Киева, где жила городская аристократия: там был в 1068 году двор тысяцкого Коснячька, которого во время восстания искала толпа не с добрыми намерениями. Перенос торга в аристократическую часть города должен был предупредить образование на торгу демократической сходки: вдали от своих домов, окруженное благонадежным элементом, простонародье было менее опасно, и с ним легче было справиться.

Но победа княжеской власти не могла удержать разложения старой, патриархальной организации, да, повидимому, и сама власть, восстановившая свои права при помощи чужеземной военной силы, больше надеялась на эту последнюю, нежели на старую городовую аристократию. Изяслав и после при всех своих злоключениях (его в 1073 году опять прогнали из Киева, на этот раз собственные братья, Святослав и Всеволод) искал помощи в Польше — на этот раз безуспешно, — у западного

императора и даже у папы, но не видно, чтобы дома у него было нечто вроде своей партии, и чтобы он пытался такую создать. Падение семейного права нашло себе яркое выражение, между прочим, в судебном обычае. К правлению Ярославичей—неизвестно, до или после революции 1068 года, но, во всяком случае, до вторичного изгнания Изяслава из Киева—относится ряд судебных решений, покончивших с кровной местью и, что еще выразительнее, установивших индивидуальную ответственность за убийство, вместо прежней семейной. «Если убьют огнищанина в драке,—говорит первое из этих решений,—то платить за него 80 гривен убийце, а людям не платить». Только за разбой попрежнему отвечала вся *вервь,* т.-е. весь родовой союз. Зато одно из решений устанавливает случай, когда огнищанина можно было убить совсем безнаказанно, как собаку («во пса место»): это, если огнищанин был пойман на месте кражи, «у клети, или у коня, или у говяды, или при покраже им коровы». Огнище в этом случае *не смело* мстить за своего сочлена: так низко пала материальная сила семейного союза. Острием своим новый обычай был направлен, несомненно, против родовой аристократии, а это заставляет думать, что, одержав *политическую* победу над общественными низами, княжеская власть пошла затем на социальные уступки этим самым низам, мирясь с ними головами их социальных ворогов. Скудные данные летописи и других памятников не дают нам возможности сколько-нибудь полно восстановить картину социально-экономического процесса, разлагавшего старое общество. Время от времени только удается нам видеть то тот, то другой ее угол. Летопись нам рассказывает, что третий из Ярославичей, Всеволод, переживший двух старших братьев, в старости «начал любить смысл юных и с ними держал совет», что, конечно, не следует понимать так, будто он окружил себя легкомысленной молодежью. Летописец сейчас же и поясняет, в чем дело: «юные» оттеснили от Всеволода «первую» его «дружину»—родовитых советников, которые привыкли быть около князя. Сочувствующий последним автор (в данном случае едва ли сам «начальный летописец», а скорее один из его источников: тот не стал бы рассказывать дурное о Всеволоде) объясняет недовольство народа последним из Ярославичей именно как результат этой перемены. Но народу стало тяжело, конечно, не оттого, что городовая аристократия потеряла власть: суть дела была в экономических условиях, в том засилье, какое стал за-

бирать торговый, а вместе с ним, конечно, и ростовщический капитал. Любопытный факт из этой области сообщает нам не летопись, а Печерский Патерик в рассказе об одном из чудес св. Прохора «лебедника». Если очистить этот рассказ от сказочных подробностей о сладком хлебе из лебеды и пепле, благодатию свыше обращавшемся в соль, перед нами останется тот исторический факт, что печерский монастырь снабжал беднейшие слои киевского населения мукой (повидимому, не без посторонней примеси) и солью, чем и приобрел богатства, возбудившие зависть князя Святополка Изяславича, сменившего Всеволода на киевском столе. Этим воспользовались конкуренты монастыря, торговцы солью (получавшейся тогда из нынешней Галиции), повидимому, совершенно вытесненные монастырем с рынка: они добились от князя запрещения монастырской торговли. Автор-монах инсинуирует, что сделали они это с целью установить монопольные цены на соль, так как с Галицией тогда из-за войны сношения были затруднены, и соль была дорога. Но и помимо этого протест мелкого торгового капитала против зарождавшегося крупного, в лице монастырей, был слишком понятен. Святополк же, сам весьма типичный представитель «первоначального накопления», вступился за мелких торговцев не бескорыстно, а с вполне определенной целью: заставить монастырь поделиться с ним барышами, чего, повидимому, и достиг: в результате всей истории князь «стал иметь великую любовь к обители Пресвятой Богородицы», а обитель продолжала невозбранно «раздавать» народу соль.

Что капитал работал не только в городе, а и широко вокруг него, об этом мы можем судить по развитию среди сельского населения *закупничества,* с которым читатели уже знакомы [1]). Материал для нового взрыва—уже более социального, чем политического—накоплялся. Сигнал к нему дала смерть Святополка—друга ростовщиков, хлебных и соляных спекулянтов. Подробности второй киевской революции, 1113 года, так же неясны, как и первой. Поднявшиеся низы и на этот раз обнаружили так же мало сознательности и организованности. Их удалось натравить сначала на иноземных представителей капитала: «идоша на жиды и разграбиша я». Но провокация даже с первого раза удалась не вполне: рядом с «жидами» пострадал и двор Путяты тысяцкого,—

---

[1]) См. гл. II: «Феодальные отношения в древней Руси».

как и в 1068 году, тысяцкий был в глазах народа представителем городовой аристократии. А проницательные люди из среды последней предвидели, что если дать движению разрастись, то дело не ограничится ни «жидами», ни тысяцкими с сотскими, а дойдет и до бояр, и до монастырей, и до вдовы князя-ростовщика, как ни старалась она закупить киевскую демократию щедрой раздачею милостыни из именья умершего. Но теперь польского войска под руками не было, а народная масса давно привыкла к оружию: уже в 1093 году киевский полк устроил вече на походе и заставил князей и своих аристократических предводителей дать битву вопреки их желанию. Приходилось итти на компромисс с городской, а отчасти и деревенской, беднотой. Что эта последняя тоже начинает играть политическую роль, чувствовалось уже довольно давно. В том же 1093 году о ней вспоминали руководители киевского общества: отсоветывая Святополку поход, они ссылались на то, что «земля оскудела от ратий и продаж». Как хорошо засели в памяти современников заботы правящих кружков о «смердах», показывает тот любопытный факт, что известные, всеми учебниками приводимые, речи Мономаха о смердьей пашне и смердьей лошади [1]) компилятор начального свода воспроизвел дважды—под 1103 и под 1111 годом: так ему понравился этот мотив. Теперь пришла пора заботиться о «смердах» не только на словах. Нужен был посредник между заволновавшимися низами и испуганными верхами киевского общества; таким мог быть скорее всего именно Владимир Всеволодович Мономах. Положение «приглашателя» к нему особенно шло. Общественные верхи издавна чувствовали к нему доверие: в 1093 году мы видели его солидарным с начальством киевского ополчения, настаивавшим на осторожной тактике, в противность мнению массы киевских «воев», требовавших решительных действий. В то же время он умел затронуть и демократическую струнку киевлян, выдвигая их, как посредников в спорах между самими князьями.

---

[1]) «Сели—Святополк со своею дружиной, а Владимир со своей, а в одном шатре. И стали думать, и начала говорить дружина Святополкова: «Не время воевать весной, погубим смердов и пашню их». И сказал Владимир: «Удивляет меня, дружина, как это вы лошади жалеете, на которой пашут, а на это что не посмотрите: начнет смерд пахать, приедет половчин, ударит смерда стрелой, кобылу его возьмет, в село к нему приедет, возьмет его жену и детей и все его именье. Так лошади-то ты его жалеешь, а самого что же не пожалеешь?» И не могла ему отвечать дружина Святополкова, и сказал Святополк: «Так вот, брат, я уж готов!» Ипат. под 1103. Тот же рассказ с незначительными вариантами под 1111: очевидно, мы имеем перед собой один из «анекдотов» о популярном князе, рассказывавшихся по разным поводам.

И, когда на предложение его и Святополка—решить распрю «перед горожаны», Олег Святославович ответил грубостью, обозвав киевлян «смердами», это было, конечно, очень на руку Мономаховой дипломатии. Немалую службу служили ему и его добрые отношения с церковью, значение которой, как экономической силы, мы уже видели на примере Печерского монастыря. Инициатива приглашения Мономаха шла, как совершенно ясно видно из рассказа летописи, сверху. Но переяславский князь пошел не сразу. Летописец придает и этому замедлению и происходившим переговорам морально-религиозную окраску: не пошел сразу в Киев Мономах будто бы потому, что жалел Святополка, а согласился, в конце концов, под влиянием указания, что, если он еще промедлит, то киевляне разграбят монастыри. Пикантное соседство монастырей с еврейскими ростовщиками, конечно, весьма характерно: историческая истина тут зло подшутила над благочестивыми рассуждениями летописца. Но Мономах достаточно знал, вероятно, практику монастырской жизни, чтобы понимать опасное положение монастырей в подобную минуту и без специальных указаний кого бы то ни было. И результат переговоров—знаменитое «законодательство Мономаха» — заставляет думать, что речь между ним и представителями правящих кругов киевского общества шла не о монастырях.

«Устав» Владимира Всеволодовича дошел до нас в очень поздней, сравнительно, редакции: древнейшая рукопись «Русской Правды», где мы этот «устав» находим, относится к концу XIII века, т.-е., по крайней мере, на 150 лет моложе событий 1113 года. В этой древнейшей рукописи «устав» очень короток: он заключает в себе всего несколько строк. В рукописях более позднего времени он разрастается до размеров целого маленького памятника,—своего рода дополнительной «Русской Правды»,—его иногда и называют «Правдой Мономаха». Нетрудно, однако, заметить, что, например, из статей «О закупе» лишь первая заключает в себе нечто принципиальное: она предоставляет закупу *право иска* против своего барина. «Если закуп бежит к судьям жаловаться на обиду от своего барина, то он за то не обращается в рабство (как за всякий другой побег), и дело его должно быть рассмотрено». Все значение этого нововведения мы поймем, если вспомним, что еще в XVI веке барин-кредитор был единственным судьей для своего должника: «а кто человека держит в деньгах,—говорит жалованная грамота великого князя Василия Ива-

новича смольнянам,—и он того человека судит сам, а окольничьи мои в то не вступаются». Дальнейшие статьи, касающиеся закупов, разбирают различные конкретные случаи тяжб между крестьянином и его барином. Но, судя по тому способу, каким создавалось в древней Руси право—путем обобщения отдельных решений, от случая к случаю,—крайне мало вероятно, чтобы все эти конкретные примеры наперед были предусмотрены законодателем, Мономахом, и собравшейся вокруг него на Берестове, под Киевом, его «дружиной», тысяцкими важнейших городов Поднепровья. Вернее всего, они явились приложением основного принципа к отдельным казусам,—т.-е. дальнейшим развитием Мономахова законодательства. Позднейший редактор-систематизатор юридически вполне правильно свел все статьи о закупах в одну главу, которую мы теперь и читаем в позднейших списках «Русской Правды». К исторической истине, однако, ближе всего по всей вероятности, древнейший список, синодальный, с его короткими, но на редкость содержательными постановлениями.

Пора, однако, привести «Устав» полностью. «По смерти Святополка, Владимир Всеволодович созвал на Берестове свою дружину—тысяцких Ратибора Киевского, Прокопья Белгородского, Станислава Переяславского, Нажира, Мирослава, Иванка Чудиновича да боярина Олегова (князя черниговского Олега Святославича)—, и на съезде постановили: кто занял деньги с условием платить рост на два третий (т.-е. 50% годовых), с того брать такой рост только два года, а после того искать лишь капитала, а кто брал такой рост три года, тому не искать и самого капитала. Кто берет по 10 кун роста с гривны в год (т.-е. 20%), такой рост допускать и при долгосрочном займе». Затем в большинстве списков идут два постановления, регулирующие конкретные случаи задолженности, интересные потому, что они объясняют нам, кто был объектом ростовщической эксплоатации: оба трактуют о *купце,* торгующем на чужой капитал. Особенно любопытно первое из них. В древне-русском, как и вообще в архаическом, праве, должник отвечал за исправную уплату долга не только своим именьем, но и своею личностью. При натуральном хозяйстве, как мы видели, человек являлся меновой ценностью по преимуществу и, стало быть, самым надежным обеспечением, какое только можно представить. Как теперь замотавшийся должник берет «под душу», ставя на вексель фальшивую подпись, так тогда без всякой фальши занимали под

обеспечение своим собственным телом. Переход к более современным формам кредита и начинался всюду, обыкновенно, с упразднения этого варварского способа уплаты. В древней Руси этот переход намечен Мономаховым законодательством—или постановлениями, которые служили ему непосредственным развитием. Продажа в рабство за долг не была отменена, но она осталась, так сказать, на правах уголовного взыскания. В рабство теперь продавали не всякого неисправного должника, а лишь такого, который пропьет или проиграет, или по грубой небрежности потеряет товар, взятый в кредит. «Несчастный» банкрот, пострадавший от пожара или кораблекрушения, своим лицом за долг не отвечает, «потому что это несчастье от Бога, а он не виноват в нем». Как видит читатель, мы не даром сравнивали «Устав» Мономаха с «сисахтией» Солона, «стряхнувшей» долговую кабалу с плеч афинского должника VI века до Р. X. Не идя так далеко, он развивал право в том же направлении, притом развивал революционным путем, кассируя сделки, которые еще вчера были вполне легальными. Этим был юридически закреплен успех Киевской народной массы, которая не даром с тех пор является полной хозяйкой на политической сцене: уже виденные нами веча 1146—1147 годов дают нам такую полную картину «народоправства», что более полной мы не найдем и в источниках новгородской истории.

Но в Афинах VI века долговая кабала пала не только юридически полнее с плеч должника—солоновская реформа была шире и географически, если так можно выразиться. Не только нельзя было человека продать в рабство за долг, но и с *земли* были сняты «долговые столбы». В Киевской Руси XII столетия положение сельского должника было лишь несколько облегчено, но он все же остался кабальным. Нам совершенно не ясно, по летописи, участие сельского населения в событиях 1113 года. Что о смердах и закупах *вспоминали,* служит доказательством, что они не стояли вовсе вне политической жизни. Но был ли *смерд* таким же полноправным членом городской демократии, как и *купец?* Это очень сомнительно, и сомнительно не только потому, что фактическое участие крестьянства в городском вече было, конечно, сильно затруднено: каждый день в город на сходку не находишься. Такое элементарное объяснение не может нас, однако, удовлетворить, хотя бы по тому одному, что ведь аналогичные условия были и в древней Греции и в средневековой Италии, но нигде мы не найдем такой резкой раздельной черты между горожанином и крестьяни-

ном, между «городским правом» и «правом деревенским», как в древней Руси.

Общее название для массы сельского населения в древне-русских памятниках «смерды». Тексты дают нам довольно отчетливые признаки их юридического положения—и нужна была обширная литература, чтобы создать «вопрос» о смердах [1]). Летопись, прежде всего, совершенно определенно рассматривает смердов, как особую группу населения, стоящую ниже хотя бы и самого низкого разряда горожан. Одержав победу над Святополком Окаянным, Ярослав Владимирович щедро наградил свое сорокатысячное ополчение, о котором мы упоминали выше: он дал «старостам по 10 гривен, а смердам по гривне, а новгородцам по 10 всем». Нам не важно, сколько именно кому давал Ярослав—дело было в 1016 году, а запись, по всей вероятности, сделана гораздо позже: важно, что летописец расценил каждого горожанина ровно в десять раз дороже, чем сельского жителя, хотя в ополчении Ярослава функции их были совершенно одинаковы. При таких условиях очевидно, что деревенское происхождение в глазах древне-русского человека служило отнюдь не к почету; когда другой летописец, уже не северный, новгородский, а южный, галицкий, захотел уколоть двух бояр своего князя, он назвал их «беззаконниками от племени смердья». Нет ничего мудреного, что в устах самих князей «смерд» было прямо ругательством—притом особенно обидным именно для горожан, повидимому, как можно заключить из приведенных нами выше переговоров Олега Святославича с Мономахом. А когда последний захотел пожалеть бедного смерда, то он не нашел для него более ласкательного эпитета, чем «худый». Но это все терминология, так сказать, бытовая: рассказ летописи о Витичевском съезде (1100 года) даст нам уже некоторый образчик словоупотребления официального. Съехавшиеся на Уветичах князья обращаются к Володарю и Васильку с таким, между прочим, требованием: «а холопов наших и смердов выдайте». Итак, смерд уже и в дипломатических переговорах оказывается чем-то вроде княжеского холопа. О специальной зависимости смердов от князя говорит не одно это место, а целый ряд летописных текстов—отчасти воспроизводя-

[1]) Интересующихся этой литературой мы можем отослать к новейшим работам проф. *Дьяконова:* «Очерки обществ. и государственн. строя древней Руси», изд. 2-е, стр. 90 и сл., и *Сергеевича:* «Древности русского права», т. I, изд. 3-е, стр. 203 и сл.

щих опять-таки официальные документы. Когда воевода Святослава Ярославича, Ян Вышатич, нашел на Белоозере двух «кудесников», он прежде, чем начать с ними расправляться, навел справку: «*чьи они смерды?*» и, узнав, что его князя, Святослава, потребовал у населения их выдачи. О киевлянине или новгородце, свободном человеке, нельзя было спросить, *чей* он: а о смерде спрашивали. Киевлянами или новгородцами князь не мог распорядиться по своему усмотрению, а смердами мог. В 1229 году пришел в Новгород князь Михаил Всеволодович из Чернигова «и целовал крест на всей воле новгородской»: таково было его отношение к горожанам. А смердам он сам «дал свободу на пять лет даней не платити»: там была вся воля веча, здесь вся воля княжая. И если она была чем-нибудь стеснена, то отнюдь не волею смердов, а тем же вечем, которое в Новгороде, по крайней мере, считало себя верховным властителем и сельского населения. Когда в 1136 году новгородцы изгоняли князя своего Всеволода, в списки его прегрешений они поставили и такое: «не блюдеть смерд». Наконец, «Русская Правда» назначает особое наказание (штраф в 3 гривны), «если кто мучит смерда *без княжа слова*»; дальше идет речь о «мучении» (очевидно, пытке) огнищанина—но тут уже речи о княжьем слове нет. Другими словами, смерда князь имел право предать пытке, когда захочет.

Эта более тесная зависимость смердов от княжеской власти давно обратила на себя внимание исследователей—и смерд рисовался им то как княжеский крепостной, то как «государственный крестьянин» и т. д. Подобная модернизация социальных отношений была логическим последствием модернизации княжеской власти: представляя себе древне-русского князя, как государя, трудно было иначе формулировать отношение к нему смердов. С другой стороны, смерд «Русской Правды» является перед нами со всеми чертами юридически-свободного человека—понятие же «государственного крестьянина», очевидно, слишком плохо вяжется со всей обстановкой XII века: там, где не было государства, трудно найти «государственное имущество», живое или мертвое. Отсюда—довольно естественная реакция и попытки доказать, что отношения смерда к князю были отношениями «подданного», не более. Буквально, эта характеристика совершенно правильна: смерд был именно «подданным», но в том, древнейшим значении этого слова, которое мы видели в главе I-й,—в смысле человека *под данью*, который обязан платить дань. Смерд это «данник»—

вот его коренной признак: когда Югра желала подольститься к новгородцам, обманывая их, она им говорила: «А не губите своих *смердов* и своей *дани*»—погубите смердов, и дани не с кого будет взять. Эта коренная черта смерда сразу вскрывает перед нами и происхождение класса и его загадочные отношения к княжеской власти. Мы знаем, что дань в древней Руси исторически развилась из урегулированного грабежа, если так можно выразиться: сначала отнимали, сколько хотели и могли, потом заменили грабеж правильным ежегодным побором,—это и была дань. В более позднее время дань платилась городу: о Печере летопись уже под 1096 годом говорит, что это «люди, которые дань дают Новгороду». Но, из рассказа той же летописи об Игоре, мы знаем, что раньше дань собирал всякий глава вооруженной шайки, по мере физической к тому возможности; при чем в это более раннее время и сами города платили дань таким атаманам,—например, тот же Новгород, повидимому, до смерти Владимира Св. (а быть может и долее) платил 300 гривен киевскому конунгу «мира деля». Одно очень древнее место одного из позднейших летописных сводов (Никоновского) ставит самое установление дани в связь с постройкой городов: «Этот же Олег,—говорится там,—начал города ставить и дани уставил по всей русской земле». Перед нами очень жизненная картина устройства укрепленных пунктов, откуда пришлые люди периодически обирают местное население, и куда они скрываются обратно со своей добычей. Время от времени в этих крепостцах появляется и сам князь «со всею Русью», подводя итог приобретенному за год «товару». Прошли два—три столетия. Город из стоянки купцов-разбойников успел превратиться в крупный населенный центр, с четырьмястами церквей и восемью рынками, как Киев. Он сам уж больше не платит князю дани,—но деревенская Русь платит по-прежнему. «Ходить в дань» по-прежнему является специально княжеской профессией, как предводительствовать ополчением. Захватив чужую волость, князь первым делом посылал по ней своих «данников», которые иной раз не стеснялись и тем, что население уже уплатило дань прежнему князю. Одно место летописи дает даже повод думать, что дань не только собирал, но и распоряжался ею князь, притом даже и в Новгороде. Именно Ипатская летопись под 1149 годом так передает условия перемирия между Юрием Владимировичем и Изяславом Мстиславичем: «Изяслав уступил Юрию Киев, а Юрий возвратил Изяславу все дани новгородские». Но мы знаем уже,

что «брать дань» значило «властвовать»: первоначально политическая зависимость ни в чем в другом и не выражалась, кроме дани. А с другой стороны, в древней Руси, до конца московского периода включительно, кто брал подати с людей, тот ими и вообще «управлял». Положение смерда, как данника, и делало его специально княжеским человеком.

Наемный сторож в городе, князь был хозяином-вотчинником в деревне. Эту политическую антиномию и приходилось разрешать Киевской Руси. Вопрос, какое из двух прав, городское или деревенское, возьмет верх в дальнейшем развитии, был роковым для всей судьбы древне-русских «республик». В конечном счете, как известно, перевес остался за деревней. Связь этого исхода с экономическими условиями давно намечена литературой. Проф. Ключевский в своем «Курсе» устанавливает два факта, тесно между собою связанных: падение веса денежной единицы, *гривны,* объясняемое, по его мнению, «постепенным уменьшением прилива серебра на Русь вследствие упадка внешней торговли», и стеснение внешних торговых оборотов Руси «торжествующими кочевниками». Но и автора «Курса», очевидно, несколько смущал вопрос: почему же это кочевники, над которыми торжествовали князья X—XI столетия, сами стали торжествовать в XII? Упадок внешнего могущества приходилось в свою очередь объяснять внутренними причинами, и наш автор называет две: «юридическое и экономическое принижение низших классов», с одной стороны, «княжеские усобицы», с другой. Но положение низших классов не ухудшилось, а улучшилось в XII веке сравнительно с XI, как мы видели; а борьба Владимира и Ярополка Святославичей в 977—980 г.г. или Ярослава Владимировича с братьями (Святополком, Мстиславом и Брячиславом Полоцким) в 1016—1026 нисколько не менее, конечно, заслуживает названия «княжеских усобиц», нежели распря Изяслава Мстиславича с Ольговичами или Юрием Долгоруким в половине XII века. Отдавая должное методу проф. Ключевского, приходится верно подмеченному им факту экономического оскудения Киевской Руси искать иного объяснения. Оно вернет нас к исходной точке настоящего очерка—«разбойничьей торговле», на которой зиждилось благополучие русского города VIII—X веков. Вне-экономическое присвоение имело свои границы. Хищническая эксплоатация страны, жившей в общем и целом натуральным хозяйством, могла продолжаться только до

тех пор, пока эксплоатататор мог находить свежие нетронутые области захвата. «Усобицы» князей вовсе не были случайным последствием их драчливости: на «полоне» держалась вся торговля. Но откуда было взять эту главную статью обмена, когда половина страны сомкнулась около крупных городских центров, не дававших своей земли в обиду, а другая половина была уже «изъехана» так, что в ней не оставалось «ни челядина, ни скотины»? Последним «диким» племенем, которое не удалось втянуть в оборот хищнической эксплоатации ни Владимиру, ни Ярославу, были Вятичи, но Мономах покончил и с ними. Как древний спартанский царь искал в свое время «неразделенных земель», так русские князья XII века искали земель, еще неограбленных,—но искали тщетно. Мономах слал своих детей и воевод и на Дунай к Доростолу, и на волжских болгар, и на ляхов, «с погаными», и на Чудь, откуда они «возвратишася со многим полоном». Но организационные средства древне-русского князя были слишком слабы, чтобы поддерживать эксплоатацию на такой огромной территории; а с другой стороны, и волжские болгары, и ляхи сами были уж достаточно организованы, чтобы дать отпор и при случае отплатить тою же монетой. Судьба Киевской Руси представляет известную аналогию с судьбою императорского Рима. И там, и тут жили на готовое,—а когда готовое было съедено, история заставила искать своих собственных рессурсов, пришлось довольствоваться очень элементарными формами экономической,—а с нею и всякой иной культуры. При чем, как и в римской империи, «упадок» был больше кажущийся: ибо те способы производства и обмена, к каким переходит, с одной стороны, суздальская, с другой—новгородская Русь XIII века, сравнительно с предыдущим периодом, были несомненным экономическим прогрессом.

Никто не нарисовал более яркой картины запустения Киевской Руси, чем тот же проф. Ключевский [1]). Приводимые им факты относятся большею частью ко второй половине XII столетия,—отчасти к началу XIII. Но одно из отмеченных автором явлений—упадок у князей интереса к киевским волостям—можно проследить и несколько глубже, до первой половины XII века. Уже в 1142 году между Ольговичами, старший из которых, Всеволод, сидел тогда в Киеве, происходил очень любопытный спор

---

[1]) См. «Курс», стр. 344 и сл.

из-за волостей, при чем младшие братья выражали большую готовность променять данные им старшим киевские волости (правда, плохие) на тех самых вятичей, с которыми лишь за четверть столетия до этого окончательно справился Владимир Мономах. Этот интерес к вятичам, в свою очередь, весьма любопытен—если мы припомним, что это был наиболее глухой и наименее затронутый разбойничьей эксплоатацией угол русской земли. Младшие братья Всеволода желали получить себе вятичей, конечно, не для того, чтобы их грабить—это всего удобнее было сделать из другой, соседней, волости. Очевидно, что прежняя точка зрения на князя, как на завоевателя по преимуществу, руководителя охоты за «полоном»—и, разумеется, защитника своей земли от чужих охотников того же сорта, что эта точка зрения уступает место какой-то другой. Перемена во взглядах княжеской власти на свои права и обязанности опять-таки давно отмечена литературой: об отличии на этот счет северно-восточных князей XII—XIII веков от их южных отцов и дедов писал еще Соловьев. Так как князья ему представлялись единственной движущей силой древней Руси, по крайней мере, в политической области, то для него дело сводилось главным образом к изменению отношений между самими князьями. Прежние братские отношения между последними заменяются отношениями подданства; Андреем Боголюбским было произнесено «роковое слово *подручник,* в противоположность князю». Слова летописи о *самовластии* Боголюбского понимались тоже именно в этом смысле. Но едва ли поведение суздальского «самовластца» относительно его киевских кузенов много отличалось к худшему от образа действия Мстислава Владимировича Мономаховича, например, подвергнувшего своих полоцких родственников прямо административной ссылке. Князья любили говорить о братстве, но их фактические отношения держались вовсе не на этих сентиментальностях: и сильный «брат» всегда делал со слабыми все, что хотел, не стесняясь, до убийства и ослепления включительно. Последователи Соловьева совершенно правильно занялись другой стороной «самовластия» князя Андрея Юрьевича. «Кн. Андрей был суровый и своенравный хозяин, который во всем поступал по-своему, а не по старине и обычаю», говорит проф. Ключевский... «желая властвовать без раздела, Андрей погнал вслед за своими братьмя и племянниками и «передних мужей» отца своего, т.-е. больших отцовых бояр». Цитируемый нами автор

думает, что «политические понятия и правительственные привычки Боголюбского» в значительной мере были воспитаны общественной средой, в которой он вырос и действовал. «Этой средой был пригород Владимир, где Андрей провел большую половину своей жизни». Ниже мы увидим, что политические нравы Владимира, несмотря на то, что это был новый город—а, может быть, благодаря именно этому,—ничем не отличались от таких же нравов Киева или даже Новгорода, так что из этой среды Андрей Юрьевич никаких новых правительственных привычек вынести не мог бы. Но если нам опять приходится отказаться от объяснения, какое дает факту проф. Ключевский, то самый факт опять угадан верно: оригинальность «новых» князей—в их «внутренней политике», в их методах управления своей землей, а не в их отношениях к князьям чужих, соседних земель,—не в их политике «внешней».

Убийство князя Андрея,—фактические подробности его всем хорошо знакомы из элементарных учебников, поэтому нет надобности воспроизводить их здесь,—изображается, обыкновенно, как дело дворцового заговора. Его ближайшие поводы рисуются в освещении, очень напоминающем конец императора Павла Петровича; Андрей своими жестокостями восстановил против себя свою собственную челядь, свой двор; казнь одного из приближенных, Кучковича, явилась каплей, переполнившей чашу—товарищи и родственники казненного отомстили за его смерть. Таково традиционное изображение дела в исторической литературе. Такое именно понимание события, несомненно, желал внушить своим читателям и летописец, большой поклонник Боголюбского, щедрого церковного строителя и неумолимого защитника православия от всяческих ересей. Но литературное искусство летописца—или, вернее, автора «сказания», внесенного в летопись,—стояло слишком низко, чтобы он мог дать полную и свободную от противоречий картину события со своей точки зрения. Волей-неволей, рассказывая факты в их хронологической последовательности, он сообщает ряд подробностей, с этой картиной совершенно несовместимых. Прежде всего мы узнаем, что заговор далеко выходил за пределы княжеского двора—убийцы Андрея имели сторонников и сообщников и среди «дружины Владимирской». Эта последняя отнюдь не была личной дружиной князя Андрея—она и после не раз выступает в летописи, как нечто, связанное с го-

родом, а не с тем или иным князем. Судя по размерам—полторы тысячи человек—и по военному значению, приписываемому этой дружине летописью,—без нее город изображается, как беззащитный,—«дружиной» летопись называет владимирское городовое ополчение, владимирскую «тысячу». Недаром летописец называет эту силу то «владимирцами», то «дружиной владимирской», не различая этих понятий. Так вот, к этим владимирцам и обращаются заговорщики тотчас после убийства, стараясь уверить горожан, что они, заговорщики, отстаивают и их интересы, не только свои. Летописец влагает в уста владимирцев очень лойяльный ответ: «вы нам ненадобны». Но вслед за этим он вынужден сообщить ряд фактов, которые с этой лойяльностью вяжутся как нельзя хуже. «Горожане же Боголюбова (где был убит князь) разграбили дом княжеский... золото и серебро, одежды и драгоценные ткани—имение, которому числа не было; и много зла сотворилось по волости: домы посадников и тиунов разграбили, а их самих с их детскими и мечниками перебили, и дома этих последних разграбили, не ведая, что написано: где закон, там и обид много. Приходили грабить даже и крестьяне из деревень. *То же было и во Владимире:* до тех пор не переставали грабить», пока по городу не стало ходить духовенство «со святою Богородицею». Все это вместе взятое наводит автора на благочестиво-монархическое размышление, одно из первых этого рода в русской литературе. «Пишет апостол Павел: всякая душа властям повинуется, ибо власти поставлены от Бога; земным естеством царь подобен всякому другому человеку, властью же, принадлежащей его сану, выше, как Бог. Сказал великий Златоуст: кто противится власти, противится закону Божьему,—князь потому носит меч, что он Божий слуга».

Как видим, событие 28 июня 1175 года очень мало похоже на то, что происходило в Петербурге 11 марта 1801 г. Там был офицерский заговор, находивший себе, правда, поддержку в общественном мнении всего дворянства, но безразличный для массы населения и в самом Петербурге и во всей России. Тут мы имеем дело с настоящей народной революцией, полным подобием событий 1068 и 1113 годов в Киеве. Летописец недаром счел нужным напомнить о непротивлении княжеской власти непосредственно после рассказа о городском бунте—он хорошо понимал, против кого был направлен бунт. Убийство верховного главы княжеской

администрации было лишь сигналом к низвержению этой администрации вообще—и есть все основания думать, что челядинцы князя Андрея были правы, когда апеллировали к сочувствию владимирцев. Не отрицает летописец и фактических оснований для народного движения. «Обид» было много, и злоупотребляли княжеским мечом достаточно, но не во внешних войнах, как бывало в старину, а во внутреннем управлении. Самовластие Андрея выражалось таким образом не только в том, что он изгнал «передних бояр», что простому народу могло быть даже приятно. От этого самовластия тяжело доставалось всей народной массе. Управление Боголюбского было одной из первых систематических попыток эксплоатировать эту массу по-новому: не путем лихих наездов со стороны, а путем медленного, но верного истощения земли «вирами и продажами». По результатам, новый способ нисколько не уступал старому: владимирцы, познакомившиеся с ним по двукратному опыту, сначала при Андрее, потом при его племянниках, Ростиславичах, метко определили образ действия этих последних, сказав, что они обращаются со своим княжеством, «точно с чужой землей». Владимирцы никак не хотели признать этого нового порядка. Два года спустя после низвержения Андрея, во Владимире вспыхнула новая революция, Ростиславичи в свою очередь были свергнуты—и горожане добились от своего нового князя формальной казни своих ворогов: племянники Боголюбского были ослеплены (по некоторым данным фиктивно, только чтобы успокоить волновавшийся народ), а их союзник и покровитель, рязанский князь Глеб, уморен в тюрьме. Но истребление представителей нового порядка не могло устранить причин, его создавших. Опустошив все вокруг себя своей хищнической политикой, древне-русский город падал и никто не мог задержать этого падения. Уже до смерти Андрея Юрьевича, во время знаменитой киевской осады 1169 года, первый город русской земли защищали Торки и Берендеи, отряды нанятых князем Мстиславом степных наездников. Когда они изменили, город больше держаться не мог, и киевлян постигла участь, какой они всегда так боялись: они сами стали «полоном». Тысячи пленников и, в особенности, пленниц потянулись из города-завоевателя на невольничьи рынки,—куда он сам столько доставил живого товара в прежние века. Но с разгромом Киева опустошенный юг потерял всякий интерес и значение: номинальный победитель Киева, князь

Андрей Юрьевич,—под его стягом шла рать, разграбившая «мать городов русских»,—на юг не поехал: ему гораздо привлекательнее казалась новая система княжеского хозяйничанья, укреплявшаяся на севере. Своеобразные формы военно-торговой республики еще три столетия продержались на северо-западе: Новгород в своих огромных колониях нашел неисчерпаемый источник «товара», а в тесной связи с Западной Европой—новые организационные средства [1]). В остальной России неизбежно должен был продолжаться медленный процесс перегнивания старой хищническо-городской культуры в деревенскую. Ничего иного, кроме распадения города, здесь не требовалось: ибо, как мы хорошо помним, город ничего не внес нового в деревню. Там все способы производства оставались старые: только продукты, прежде захватывавшиеся бесцеремонной рукой, куда она только могла достать, нередко вместе с производителями, теперь оставались дома. Новгород со Псковом и здесь представляли исключение. В них достаточно был развит местный обмен—и город являлся уже не только в роли хищника (хотя эта роль и тут оставалась господствующей). В остальной России город жил самостоятельной жизнью, мало заботясь об окружавшей его сельской Руси. «Русская Правда», подробно разрабатывая вопросы о «товаре», о деньгах, о росте, чрезвычайно мало говорит о земле—так мало, что некоторые исследователи находили возможным утверждать, будто «Правда» вовсе «не содержит в себе постановлений о приобретении или отчуждении земли». В действительности, «Правда» о земле говорит 4 раза, тогда как о росте (процентах) в ней содержится 23 постановления (в наиболее полных списках), о холопах—27. Насколько рабовладелец чаще выступал на древне-русском суде сравнительно с землевладельцем! Экономически чуждый деревне, город был, как мы видели, и юридически отрезан от нее непереходимой стеной. В городе были свободные люди и державное вече, в деревне—бесправные данники, которых князья «сгоняли» на войну, как пушечное мясо, можно бы сказать, если бы тогда были пушки. Этот термин «сгонять» чрезвычайно выразителен, и отнюдь не случаен: в новгородской республике он дожил до последних лет ее существования. Еще под 1430 годом новгородский летописец записал: того же лета «пригон бысть крестьяном

---

[1]) Очерку новгородской истории посвящена особая глава.

к Новгороду город ставити». Только, когда нужны были даровые рабочие руки в большом числе, древне-русская демократия вспоминала о своих «смердах». Зато и смерды мало о ней заботились и не шевельнулись, когда московский феодализм надвинулся, чтобы задавить ее остатки.

Новгород, благодаря особым условиям своего существования, пал ранее, нежели его экономическая роль была сыграна до конца. Южные города, а также и северо-восточные, поскольку они не были просто разросшимися княжескими усадьбами, были ближе к своей естественной смерти, когда пробил их последний час. Но как ни одно живое существо почти никогда не умирает вполне своею смертью, так и естественная кончина древне-русского торгового города была ускорена рядом причин, содействовавших превращению городской Руси в деревенскую. Одну из этих причин, ближайшую, давно указала литература: ею был итог борьбы со степью, закончившийся грандиозным татарским погромом XIII века. С IX по XI век Русь наступала на степняков; сравнивая по карте южные оборонительные линии Руси при Владимире и Ярославе, вы отчетливо видите поступательное движение к югу. Победа Ярослава над печенегами (в 1034 году) была кульминационным пунктом этих успехов: в 1068 году Ярославичи были разбиты новой степной ордой, половцами. С тех пор эти последние не исчезают из поля зрения летописи почти ни на один год. Еще в половине XIII века о них напоминает галицко-волынский летописный свод. Опустошения, производившиеся их набегами, были, конечно, велики, но нужно иметь в виду, что по существу дело здесь ничем не отличалось от княжеских усобиц. И половцы, как князья, ходили в чужую землю за полоном. Если прибавить, что и в самих усобицах половцы принимали очень живое участие, охотно нанимаясь на службу к князьям, что эти последние нисколько не стеснялись жениться на половчанках, так что в конце концов и не разобрать было, чья кровь течет в жилах какого-нибудь Изяславича,—то представлять себе половцев в виде некоей чуждой и темной «азиатской» силы, тяжелой тучей висевшей над представительницей «европейской цивилизации», Киевской Русью, у нас не будет ни малейшего основания. Но поскольку половецкие набеги количественно увеличивали опустошение, они тем самым ускоряли роковой конец. Нанесли последний удар, однако же, не они. Степняки не умели брать городов—и, даже напав врасплох

на Киев (в 1096 году), они не смогли в него ворваться и должны были ограничиться опустошением окрестностей. Если в их руки и попадали изредка укрепленные центры, то только мелкие— вроде Прилук, Посечена и т. под. Только в 1203 году им удалось похозяйничать в самом Киеве, но туда привели половцев русские князья, Рюрик Ростиславич и Ольговичи. Иным противником были татары. Степные наездники, так же легко и свободно передвигавшиеся, как и половцы, они усвоили себе всю военную технику их времени. Еще в своих китайских войнах они выучились брать города, окруженные каменными стенами. По словам Плано-Карпини, каждый татарин обязан был иметь при себе шанцевый инструмент и веревки для того, чтобы тащить осадные машины. Приступая к какому-нибудь русскому городу, они прежде всего «остолпляли» его—окружали тыном; затем начинали бить таранами («пороками») в ворота или наиболее слабую часть стены, стараясь в то же время зажечь строения внутри стен: для этой последней цели они употребляли, между прочим, греческий огонь, который они, кажется, даже несколько усовершенствовали. Прибегали к подкопам, в некоторых случаях даже отводили реки. Словом, в отношении военного искусства, по справедливому замечанию одного французского писателя, татары в XIII веке были тем же, чем пруссаки в середине XIX. Самые крепкие русские города попадали в их руки после нескольких недель, иногда только несколько дней осады. Но взятие города татарами означало его столь полный и совершенный разгром, какого никогда не устраивали русские князья или даже половцы, и потому именно, опять-таки, что татарская стратегия ставила себе гораздо более далекие цели, чем простое добывание полона. Орде для ее политики—«мировой», в своем роде, нужны были обширные денежные средства, и она извлекала их из покоренных народов в виде *дани*. С военной точки зрения, для того, чтобы обеспечить исправное поступление этой последней, нужно было прежде всего отнять у населения всякую возможность начать борьбу сызнова. Разрушить крупные населенные центры, частью разогнать, частью истребить или увести в полон их население,—все это как нельзя больше отвечало этой ближайшей цели. Вот отчего татары были такими великими врагами городов, и вот почему летописцу-горожанину Батыево нашествие казалось венцом всех ужасов, какие только можно вообразить. Вот отчего также они стремились

уничтожить все высшие правящие элементы населения, включая сюда духовенство: «лучшие, благородные люди никогда не дождутся от них пощады», говорит Плано-Карпини, а наши летописи в числе убитых и плененных татарами настойчиво называют «чернцов и черноризиц», «иереев и попадей». Разрушение городов и уничтожение высших классов одинаково ослабляли военно-политическую организацию побежденных и гарантировали на будущее время их покорность. Татарский разгром одним ударом закончил тот процесс, который обозначился задолго до татар и возник в силу чисто-местных экономических условий: процесс разложения городской Руси X—XII веков.

Но влияние татарского завоевания не ограничилось этим отрицательным результатом. Татарщина шла не только по линии разложения старой Руси, а и по линии сложения Руси новой—удельно-московской. Уже несколькими строками выше читатели должны были заметить, что тенденция орды—эксплоатировать покоренное население, как *данников,* вполне соответствовала новым течениям, какие мы наблюдали в княжеской политике XII—XIII веков. Но татары и тут, как в деле самого завоевания, пахали глубже. Во-первых, они, не довольствуясь прежними способами сбора—отчасти по аппетиту берущего, отчасти по силе сопротивления дающего,—организовали правильную систему раскладки, которая на много веков пережила самих татар. Первые переписи тяглого населения непосредственно связаны с покорением Руси ордой; первые упоминания о «сошном письме», о распределени налогов непосредственно по тяглам («соха»—2 или 3 работника), связаны с татарской данью XIII века: раньше, по всей вероятности, огулом платила вся «вервь»—для уголовных штрафов это мы знаем наверное, но нет основания думать, что «дань» платилась иначе. Московскому правительству впоследствии ничего не оставалось, как развивать далее татарскую систему, что оно и сделало. Но татары внесли в древне-русские финансы не только технические усовершенствования: они, поскольку это доступно действующей извне силе, внесли глубокие изменения и в социальные отношения, опять-таки в том направлении, в каком эти последние начали уже развиваться раньше, под влиянием туземных условий. В классическую пору Киевской Руси «под данью» было только сельское население: городское не платило постоянных прямых налогов,—потому-то княжеская

эксплоатация в городе и выражалась в форме злоупотребления «вирами» и «продажами», судебными штрафами. Завоевателям России незачем было прибегать к таким обходным путям, и в татарское «число» попали все, горожане и сельчане безразлично. В районе непосредственного завоевания это удалось провести без больших усилий: городское население было здесь так ослаблено, что оно и думать не могло о сопротивлении. Иная картина получилась, когда «число» подошло к крупным центрам, материально еще не затронутым, а подчинившимся орде только из страха перед нашествием. Новгородская летопись чрезвычайно живо изображает нам податную реформу в Новгороде: не легко давалось свободным новгородцам превращение в подневольных «данников». Первый раз татарские данщики появились здесь в 1257 году. Каким путем, летописец не передает, вероятно, и сам не знал,—но городу удалось откупиться от «числа», послав хорошие подарки «царю» (иначе тогда не называли хана) и, может быть, дав хорошую взятку самим послам. Но ханская администрация неуклонно следовала своей системе: Новгород во что бы то ни стало должен был быть взят в «число» вместе со всею остальною Русью; два года спустя татарские чиновники появились снова, и взятки на них уже не действовали. «Было знамение на луне, так что ее совсем не стало видно,—рассказывает летописец.—В ту же зиму приехал Михаил Пинещинич с Низу (из Суздальской земли) со лживым посольством и говорил так: «Если вы не вложитесь в число, так вот уж полки на Низовской земле». И вложились новгородцы в число...» Но это был только юридический момент: напуганное «лживым посольством» вече уступило на словах. Все старое всколыхнулось, когда слова стали претворяться в дело, когда в Новгород приехали татарские баскаки и приступили к сбору дани. Они начали с волостей, и уже одни слухи о том, что там происходит, вызвали в городе волнение: в новгородских волостях были не одни смерды, а и много купивших землю горожан, ремесленников и купцов, «своеземцев». Теперь все без различия становились данниками. Когда дело дошло до самого Новгорода, волнение разрешилось в открытый мятеж: «чернь не хотела дать числа, но говорила: умрем честно за святую Софию и за домы ангельские!» И «издвоились» люди. Верхние слои общества, зная, какая участь их ждет в случае татарского вторжения, стояли за миролюбивый исход—за подчинение требованиям орды. Грубо-

репартиционный способ раскладки, по стольку-то с каждого отдельного хозяйства, был на руку богатым. Татарские данщики ездили по улицам и считали дома: каждый дом, кому бы он ни принадлежал, платил одно и то же. Учесть размеры торгового капитала степняки, очевидно, совершенно не умели—и новгородские капиталисты могли на этом спекулировать. «И творили бояре себе легко, а меньшим зло». Дошло, повидимому, до формального соглашения между «окаянным», татарским послом, с одной стороны, князем Александром (Невским) и новгородской аристократией, с другой; в случае дальнейшего сопротивления «черни» было уговорено напасть на город с двух сторон. Неизвестно, что в последнюю минуту предотвратило столкновение: по летописцу, «сила Христова», но для современного историка такого объяснения недостаточно. Кажется, главной причиной была солидарность боярства, чувствовавшего, что для него тут вопрос о жизни и смерти, что «звери дивии», пришедшие из пустыни в образе татар, будут прежде всего «есть сильных плоть и пить кровь боярскую». Масса же населения была слишком зависима уже в это время от торгового капитала, чтобы вступить в открытую борьбу со *всеми* капиталистами, а не с какой-нибудь одной из их враждующих между собою групп, как это бывало в обычных случаях таких столкновений. Как бы то ни было, татары получили в конце концов свою дань с вольных новгородцев, и летописец, со своей точки зрения, не умел объяснить этого иначе, как карой Господней за грехи последних. Вздохом сожаления о том, что даже это суровое наказание не подействовало на нераскаянных, и заключает он свой рассказ.

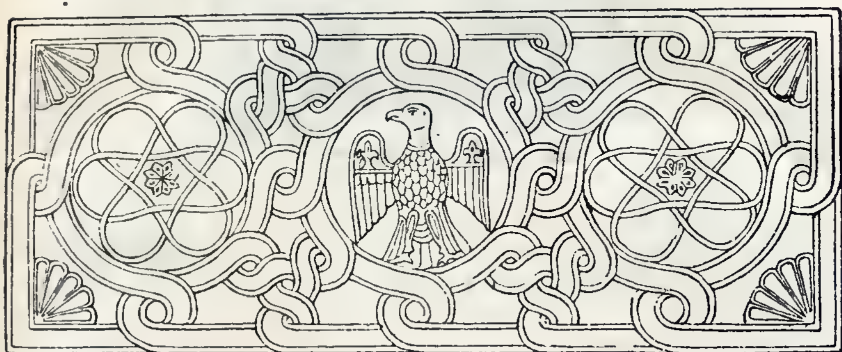
Уже история новгородского «числа» показывает, какой враждебной татарам силой были демократические элементы веча—а татары были слишком опытными практическими политиками, чтобы не понять и не оценить этой враждебности. Ряд событий в других концах Руси ясно обнаружил, что горожане всюду, едва только они оправились от непосредственных результатов разгрома, готовы были стать на новгородскую позицию. В 1262 г. «изволиша веч» люди ростовской земли—и погнали татарских данщиков из Ростова, Владимира, Суздаля и Ярославля. В 1289 г. то же повторилось в Ростове еще раз, при чем солидарность ростовского князя, Дмитрия Борисовича, с татарами выступает особенно отчетливо. Союз, уже намечавшийся в Новгороде в 1259 го-

ду—«лучших людей» и князя с татарами против «черни»—должен был стать и, действительно, стал постоянным явлением. Что поддерживая князей и их бояр в борьбе с «меньшими» людьми, Орда создаст в конце концов московское самодержавие, которое упразднит за ненадобностью и самоё Орду—эта отдаленная перспектива была вне поля зрения татарских политиков, и, отчасти, они были правы. Татарщина завладела Русью в первой половине XIII века, а лишь во второй половине следующего московские князья решились выступить открыто против «царя». Полтора столетия беспрекословного подчинения со стороны Руси Орде все-таки было обеспечено.

Как видим, татарское нашествие не даром заняло в народной традиции то место, которое у него склонна была оспаривать новейшая историческая наука. Последняя была права в том отношении, что ничего по существу *нового* этот внешний толчок в русскую историю внести не мог. Но, как обычно бывает, внешний кризис помог разрешиться внутреннему и дал, отчасти, средства для его разрешения. Нужно, впрочем, оговориться, что назвать экономический кризис, подсекавший Киевскую Русь, исключительно *внутренним* было бы слишком узко. Читатель, вероятно, уже заметил отсутствие в нашей схеме одного фактора, от которого, однакож, древний город был, как мы уже говорили, в тесной зависимости, с которым он был связан теснее, нежели с окружавшей этот город сельской Русью. Этим фактором являлся *заграничный рынок*—потребитель живого и мертвого товара русского купца. Мы не занимаемся историей европейской торговли и не имеем, поэтому, поводов детально изучать судьбы международного обмена в средние века. Но связь некоторых, особенно катастрофических, событий, в этой области с русской историей проникла в сознание даже тогдашних русских книжников. В числе немногих фактов из «всеобщей» истории, о каких нам говорит 1-я новгородская летопись, совершенно исключительное место занимает рассказ о взятии Царьграда французскими и итальянскими крестоносцами в 1204 году. Только о татарском нашествии летопись говорит больше и подробнее; все прочие русские события изложены много скупее и суше. Автор точно своими глазами видит разорение столицы всего православного христианства—так возбудила его воображение эта картина, о которой он, однако, только *прочел* в византийских хронографах. Характерно, что

наиболее, казалось бы, для него интересная вероисповедная сторона—захват центра вселенского православия латинянами—не выступает чересчур на первый план. Зато не менее характерно подчеркивается солидарность греков и *варягов,* сообща защищавших город. Новгородец XIII века смутно чувствовал объективное значение события. Оно было последним звеном в длинной цепи явлений, которую старые историки обозначали общим именем «крестовых походов», а новые предпочитают называть «французской колонизацией в Леванте». Шла борьба за восточные рынки. В первую половину средних веков они были всецело в руках арабов и византийцев, и только через их посредство северо-европейские варяги имели к ним доступ. В эту именно пору Днепр и Волхов сделались едва ли не самой оживленной торговой дорогой Европы; Россия и Швеция наводнились восточными монетами (все арабские диргемы, найденные в бесчисленных русско-скандинавских кладах, как известно, не старше конца VII-го и не моложе XI-го столетия), и дело дошло до того, что даже из Малой Азии в Рим, по представлению русских людей, нельзя было иначе проехать, как мимо Киева и Новгорода. В известном летописном сказании об апостоле Андрее говорится, что Андрей учил в Синопе, оттуда приехал в Корсунь, «и, увидав, что от Корсуня близко до устья Днепра, захотел пойти в Рим. Но с XI века торговая Европа во главе с теми же варягами, только западно- и южноевропейскими, нормандскими и сицилийскими, начинает прокладывать свои пути на восток, отбивая монополию восточной торговли у магометан и византийских греков. Экспедиция 1203—1204 года, когда главный коммерческий центр греческого востока был взят и разгромлен руками французских рыцарей, привезенных на итальянских кораблях и руководимых «Дужем слепым», воплощением венецианской торговой политики, как нельзя лучше характеризует заключительный момент борьбы. Теперь дорога из Черного моря в Рим шла не по Днепру, а через Венецию. А «великий водный путь из Варяг в Греки» на юге кончался комммерческим тупиком. Варягам теперь легче было связаться с греческими странами другой рекой, Рейном. Союз рейнских городов, как известно, явился зародышем Ганзы, охватившей своими конторами всю Балтику; на крайней восточной периферии этой цепи оказался и Новгород, единственный из русских торговых городов, для которого передвижка мировых торговых путей была более полез-

на, чем вредна. Все остальные из этапных пунктов на большой дороге международного обмена превратились в захолустные торговые села на проселке—и почти в то же время были разрушены татарами. Двух таких ударов одновременно не могла бы вынести без последующего длительного упадка даже экономически здоровая страна. Только последняя оправилась бы рано или поздно, а для древней городской Руси, уже внутренно изжившей старые хозяйственные формы, упадок был окончательным.



Образец шиферной плиты Киево-Софийского собора, украшенной геральдическим орлом восточного типа.



Заставка одной из глав рукописного новгородского евангелия.

ГЛАВА IV.

Новгород.



адение Киева обыкновенно прямо и непосредственно связывают с перенесением центра русской истории на северо-восток, в «междуречье Оки и Волги». Но переход не был таким прямым и непосредственным, и смотреть на дело так, значило бы чересчур подчинять себя *московской* точке зрения— московской в самом точном и тесном смысле этого слова. Московскому великому князю и его сторонникам в XV веке могло и должно было казаться, что он принял власть от «прародителя своего Владимира Всеволодовича Мономаха» без каких-либо промежуточных инстанций. Но за триста лет раньше один из предков этого князя, еще не стесненный путами фантастической идеологии, делавшей из бывшего суздальского пригорода столицу мира, смотрел на вещи реалистичнее. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо видел наследника Киеву не в Москве и даже не во

Владимире, а в Новгороде Великом. Отправляя в этот город сына своего, он говорил ему: «Сын мой Константин! На тебя Бог положил старейшинство в братьи своей, а Новгород Великий имеет старейшинство княжения во всей Русской земле». Пусть тут было и не без легенды, сложившейся в самом Новгороде,—зерно истины здесь было, и самому Константину Всеволодовичу довелось испытать это на своей собственной судьбе: на суздальско-владимирский великокняжеский стол он был посажен руками новгородцев, которые в этот момент были такими же хозяевами на севере Руси, как за сто лет раньше Киев на юге.

Причины этой относительной устойчивости северного торгового центра, сравнительно с его южным соперником, в общих чертах уже намечались нами раньше. Торговля Новгорода носила такой же хищнический характер—главную статью отпуска составляла та же самая «дань», что и на юге, продукты, силой отнятые у непосредственных производителей. Но такой способ добывания «товара» был в высокой степени экстенсивным. Нужны были все новые и новые нетронутые или, по крайней мере, не слишком затронутые районы, чтобы питать этого рода торговлю. Киевщина жила эксплоатацией окрестных русских же земель и племен; когда здесь все было опустошено, жить больше стало нечем. У новгородской Руси была обширная колониальная область, захватывавшая все южное побережье Ледовитого океана, до Оби приблизительно. Здесь был практически почти неисчерпаемый запас наиболее ценных предметов тогдашнего обмена, на первом месте мехов. Недаром меховая торговля первая приобрела в Новгороде оптовый характер. «Меха обращались в торговле обыкновенно большими количествами,—говорит историк экономического быта Новгорода,—тысячами, полутысячами, четвертями, сороками, дюжинами, десятками и пятками; отдельными же единицами встречались редко. Более ценные меха шли в продажу обыкновенно меньшими единицами, больше всего сороками; менее же ценные—тысячами и даже целыми десятками тысяч. Из числа первых в источниках специально упоминаются меха собольи и бобровые, куньи и лисьи, хорьковые, горностаевые и ласковые, шкурки норок или речных выдр и рысей. Из числа вторых, менее ценных мехов, в торговле встречались медвежьи, волчьи, заячьи меха и в особенности в больших количествах беличьи шкурки. Последние нужно подразумевать, кажется, во всех тех случаях, когда в источнике говорится просто о пушном товаре, вроде «Sehon

werk, Russen werk, Naugaresch werk» [1]). Почти монопольное господство на меховом рынке одно уже обеспечивало Новгороду прочное место в системе обмена, складывавшейся ко второй половине средних веков вокруг Балтийского моря. Но что было еще важнее по тогдашним условиям—в новгородских колониях был едва ли не единственный на всю Россию источник драгоценных металлов. «Закамское», т.-е. уральское, серебро попадало и в Западную Европу и в Москву, пройдя через форму новгородской дани,—дани, собиравшейся Новгородом с Югры и других уральских племен, унаследовавших богатства древней Биармии, так соблазнявшей еще скандинавских витязей [2]). Здесь еще в конце XII века возможны были экспедиции, напоминавшие походы за данью Игоря и его современников. В 1193 году целое новгородское ополчение погибло в Югорской земле жертвою собственной жадности и коварства туземцев, «обольстивших» новгородского воеводу, говоря ему: «Копим для вас серебро и соболей и всякие иные узорочья: не губите своих смердов и своей дани». Воевода поверил, а на самом деле Югра копила воинов. Когда все было готово, его с «вячьшими мужами»—все начальство новгородской рати—заманили в засаду, где они и погибли. После этого Югре нетрудно было справиться с лишенными руководителей и вдобавок истомленными голодом дружинниками. Всего 80 человек вернулось домой: «и печаловались в Новгороде князь, и владыка, и весь Новгород». Но отдельные неудачи не мешали тому, что в общем и целом «закамское серебро» правильно поступало в новгородскую кассу. И не даром Иван Данилович Калита так добивался уступки ему именно этой разновидности новгородской дани. Большая часть столового серебра и его, и даже еще его внуков и правнуков была новгородского происхождения, с именами новгородских владык и посадников. Перехватыванье новгородских «данников» с закамским серебром для врагов Новгорода было таким же излюбленным средством борьбы, как для английских корсаров XVI века перехватыванье испанских галлионов с золотом, шедших из Нового Света. А когда Иван Васильевич наносил смертельный удар Новгороду, он прежде всего другого поспешил отрезать восточные колонии своего противника, заняв Двину.

Но с востока в Новгород приходило не только серебро. Мы видели, что упадок Киева, на-ряду с внутренними, местными

---

1) *Никитский*, цит. соч., стр. 164—165.

2) См. гл. III настоящей книги.

причинами, являлся отражением и одной внешней перемены— перехода средиземноморской торговли из рук византийских греков в руки итальянцев и французов. Этим был совершенно обесценен «великий водный путь» из Варяг в Греки и из Грек по Днепру. Но то была далеко не единственная артерия восточной торговли в средние века. Оставался другой путь—Волгою и Каспийским морем; европейский конец этого пути опять-таки упирался в Новгород. Здесь в XIV веке мы встречаем «Хопыльский» ряд и «хопыльских» купцов, стоявших в весьма тесных отношениях к татарской орде—в одном месте летопись, говоря о татарах, называет «хопыльского гостя» прямо «их», татарским, гостем. Один восточный товар, шелк, составлял даже крупную статью в новгородской торговле с Западом. Так тот транзит, который давно заглох в Приднепровье, продолжал держаться на Волхове еще лет 200 спустя.

Новгород развивался далее, когда в южной Руси развитие давно заменилось разложением, распадом. По Новгороду мы можем судить, чем стала бы Киевская Русь, если бы ее экономические рессурсы не были исчерпаны в XII веке. В этом интерес изучения новгородской истории. Этот интерес еще усиливается тем, что здесь почти—не совсем, как неосторожно утверждают некоторые историки—отсутствовал другой, нарушавший правильность развития, фактор: татарское иго. Нельзя, конечно, сказать, как обмолвился один очень известный исследователь, будто Новгород «в глаза не видал ордынского баскака»: анализируя события 1257—1259 годов, мы видели, что был момент, когда и он «испытал непосредственный гнет и страх татарский». Но в истории Новгорода это был именно момент, тогда как Низовская земля века жила под этим гнетом. Словом, на Волхове мы в праве ожидать таких социальных комбинаций, которые не успели сложиться на Днепре, хотя логически вытекали из всего строя южнорусских отношений.

Один из образчиков дальнейшего развития мы уже видели сейчас. Мы знаем, что средневековая торговля в типичных ее проявлениях, и в России, и на Западе, была мелкой, что средневековый купец больше походил на современного коробейника, нежели на то, что мы теперь называем купцом. Внимательный читатель уже заметил, однако, что к меховой торговле Новгорода такой масштаб неприложим: тысячи, а тем более десятки тысяч беличьих шкурок на спине не унесешь. Киевская Русь если и знала

большие запасы товара, то это относилось исключительно к одной его разновидности—к товару живому, рабам. Они иной раз встречались сотнями в одних руках. У одного из черниговских князей, например, мы находим, по летописи, 700 человек челяди: едва ли это была прислуга, или даже пашенные холопы. Челядью не брезговали, конечно, и новгородцы. Ушкуйники, ограбившие в 1375 году Кострому и Нижний-Новгород, распродали мусульманским купцам в Болгарию весь захваченный «полон»—преимущественно женщин. Совсем, как во времена Владимира Святого. Но характерно, что эта статья торговли не выступает так в истории Новгорода, как выступала она раньше. Зато отчетливо выступает явление, с которым мы раньше не встречались—скопление в одних руках большого капитала в денежной форме. В 1209 году новгородское вече встало на посадника Дмитра Мирошкинича и его братьев, пытавшихся, в союзе с суздальским князем, держать в угнетении вольный город. За эту попытку они поплатились конфискацией всего имущества. Вече обратило в собственность города все «житие» Мирошкиничей: села их и челядь распродали, затем разыскали и захватили спрятанные деньги («скровища»). Все добытое пустили в поголовный раздел—и на каждого новгородца пришлось по 3 гривны, т.-е. 40—60 рублей на наши деньги. Но летописец говорит, что тут не обошлось и без злоупотреблений: некоторые «потай похватали» во время смятения, что попалось под руку—и оттого разбогатели. А затем, кроме движимого и недвижимого имения и денежной наличности, у Дмитра нашлись еще «доски»—векселя новгородских купцов: это дали князю, сделав, таким образом, частное имущество Мирошкиничей государственной собственностью. Если мы примем в соображение все эти детали, мы увидим, что в Новгороде уже в XIII веке были миллионеры, переводя тогдашнюю стоимость денег на теперешнюю. Упоминание о «досках» ясно свидетельствует, на чем держалась власть и влияние крупнейшей новгородской фамилии того времени. Но в деле есть и еще любопытная сторона. Дмитр был в Новгороде представителем той самой новой финансовой политики, за которую заплатил жизнью за тридцать лет перед тем князь Андрей Юрьевич. Мирошкиничей обвиняли в том, что они велели «на новгородцах серебро имати, а по волости куры брати, по купцам виру дикую, и повозы возити, и все зло»! В новгородской обстановке финансовая эксплоатация должна была произвести еще более сильное впечатление, нежели в привыкшем к кня-

жескому произволу Суздале—и Дмитру Мирошкиничу удалось похозяйничать всего четыре года (1205—1209), дожив до того, что сам его союзник, суздальский князь Всеволод Юрьевич, выдал его головою новгородцам, сказав им: «Кто вам добр, любите, а злых казните». Но и это было сделано слишком поздно, как показали последствия. Суздальский княжич, Святослав, лишь годом пересидел посадника Дмитра. Уже в 1210 году Мстислав Мстиславич Торопецкий, прослышав, что Новгород «терпит насилье от князей», появился в Торжке—и был с распростертыми объятиями принят новгородцами, немедленно арестовавшими Святослава Всеволодовича, «донеле будет управа с отцом». А скоро и этот последний должен был признать, что крушение финансовой политики Суздаля в Новгороде было концом суздальского господства здесь вообще. Мстислав прочно уселся на новгородском столе—и сам Всеволод Юрьевич заключил с ним договор, как с новгородским князем.

Новгородские события 1209 года представляют, как видим, довольно полную аналогию с суздальскими 1174 и следующих годов. Но в то время, как суздальская революция не имела никаких дальнейших последствий, новгородская была исходной точкой замечательной эпохи в истории города—самой блестящей по оценке некоторых историков. «Для Новгорода наступили такие же дни героизма, славы и чести, как для Киева при Владимире Мономахе», говорит Костомаров об этом времени. Действительно, если припомнить, что в эти дни князья и в Киеве и во Владимире садились из новгородской руки, что новгородский стол оспаривали друг у друга самые влиятельные и известные из наличных рюриковичей, к внешнему блеску едва ли что можно прибавить. К сожалению, эффектные внешние события, в глазах не только позднейшего историка, но и самого летописца, оставляют в тени внутреннюю новгородскую жизнь. Мы чувствуем, что в городе в течение сорока приблизительно лет кипит отчаянная общественная борьба,—но на страницах летописи перед нами только самые конкретные, если можно так выразиться, индивидуальные результаты этой борьбы, в виде смены—часто насильственной—владык, посадников, тысяцких и других правящих лиц. Только изредка и случайно выступают перед нами мотивы переворота и участвовавшие в нем общественные силы. Можно с большой вероятностью догадываться, что восстание против Дмитра Мирошкинича было делом не высших правящих кругов, а низших, упра-

вляемых, делом не «вячьших», а «меньших». С несколько меньшей вероятностью можно заключить, что в движении участвовали низы не только городского, но и сельского населения. Поборы «по волости»—притом натуральные, курами и другим «повозом»—выставляются, как один из мотивов низвержения Мирошкиничей. Летописец и дальше отмечает влияние на судьбы волости того, что совершилось в городе. В 1225 году в Новгороде утвердился черниговский Ольгович, Михаил Всеволодович: «и было легко по волости Новгороду». В 1229 г. тот же князь Михаил да́л смердам «свободу на пять лет даней не платити». Льгота распространялась на тех, кто бежал на чужую землю, обнаружив тем наиболее острое недовольство новыми порядками, родоначальником которых был посадник Дмитр. По отношению же к оставшимся были лишь восстановлены порядки «прежних князей»,—надобно думать, тех, которые были до Всеволода Юрьевича и его новгородского союзника. Демократический характер движения намечается и некоторыми деталями политики Мстислава Мстиславича Торопецкого. Когда, в промежутках своих блестящих походов, стяжавших ему имя «Удалого» князя, он является перед нами в образе устроителя внутреннего новгородского порядка, это устроительство обыкновенно сопровождается «окованием» одного из видных новгородцев, у которого при этом конфискуется «без числа товару». С другой стороны, враждебная движению сторона, тянувшая руку суздальских князей, изображается, как состоящая из людей богатых: в 1229 году одновременно с льготами смердам, взяли «кун много» на «любовницех Ярославлих», сторонниках суздальского претендента на новгородский стол Ярослава Всеволодовича. Денег этих хватило на постройку нового моста через Волхов. Далее, новгородская церковь тоже была втянута в политическую борьбу. Утверждение князя Мстислава Торопецкого в Новгороде повело к тому, что владыка Митрофан, современник и, повидимому, союзник посадника Дмитра, был сведен с архиепископии и отправлен в Торопец: на его место избрали Добрыню Ядрейковича, ставшего владыкой Антонием. Восемь лет спустя он был в свою очередь низвергнут в пользу низложенного раньше Митрофана: у каждой из борющихся новгородских партий оказался, таким образом, свой владыка. Когда Митрофан умер, его сторонники избрали на его место Арсения; но тем временем и Антоний вернулся в Новгород. Столкновение разрешилось тем, что в 1228 году Арсения выгнали из Новгорода, «яко

злодея, пьхающе за ворот»: в качестве главных действующих лиц тут летописец прямо называет «простую чадь»—простонародье оказалось именно на стороне Мстиславова ставленника. И только один раз летописец совершенно ясно вскрывает перед нами «классовые противоречия» новгородского общества. Это было уже в самом конце рассматриваемого периода. В это время на новгородском столе сидел сын Невского, Василий. Новгородцы его выгнали вон и посадили на его место его дядю, Ярослава Ярославича, только-что перед тем «выбежавшего из низовской земли»: хотя и суздалец, теперь он был, таким образом, кандидатом антисуздальской партии. Узнав, что новгородцы выгнали его сына, Александр Ярославич пошел войною на Новгород. На его сторону стал Торжок, экономически теснее связанный с суздальской землей, чем со своей метрополией. Это подало надежду суздальской стороне и в самом Новгороде; суздальский эмигрант, вокняжившийся было там, испугался и бежал из города. С этим приятным известием поспешил навстречу Александру Ратша—по всей видимости, тот самый, что «службой бранной Святому Невскому служил» и, благодаря своему потомку, известен всякому грамотному русскому. Общественное мнение его современников и земляков относилось, однако, к Ратше совсем иначе, чем можно подумать по пушкинской «родословной»: летописец презрительно называет его «Ратишкой», а его «службу» Невскому весьма реалистически определяет, как «перевет», т.-е. как измену. Действительно, подавляющее большинство новгородцев с посадником Онаньем во главе, твердо решило не уступать Александру Ярославичу. Это большинство летописец прямо и определяет, как «меньших» людей. «И целовали Святую Богородицу меньшие—встать всем за правду новгородскую, за свою отчину, жить или умереть с ней; а у вячьших был злой умысел—победить меньших. и ввести князя по своей воле». Но характерно, что «вячьшие» могли действовать только интригой: открыто выступить против веча у них не хватило духа даже в виду суздальских полков. И предводитель этих последних вступил в переговоры прямо с демократическими элементами и их представителем. Сошлись на том, что мы теперь назвали бы «переменой министерства». Онанья должен был уступить место Михалку Степановичу. Но его не выдали на расправу князю Александру Ярославичу, как тот требовал, и, вообще, кроме этой личной перемены, вече, повидимому, ничем не поступилось. А Невский придал такое значение этой своей победе, что занял

новгородский стол сам,—очевидно, не надеясь, что его сын будет обладать достаточным авторитетом.

Одних рассказанных сейчас событий достаточно, чтобы значительно ограничить очень распространенное в литературе мнение о якобы исключительно аристократическом строе вечевых общин Пскова и Новгорода. Спаивая рядом незаметных переходов патриархальную аристократию X—XI веков, скрывающихся от нас в туманной дали «старцев градских», с «господой» крупных капиталистов и крупных землевладельцев, правившей Новгородом и Псковом накануне падения их независимости, получают ровную и однообразную картину олигархического режима, при котором народ на вече играл роль не то «голосующей скотины», не то театральных статистов. Этот народ оказывается столь смирным и лишенным инициативы, что даже при выборе своих вождей в самую горячую минуту новгородской истории считается с местническими предрассудками туземной знати, позволяя уйти со степени популярному посаднику только, будто бы, потому, что из Киева приехал человек, старше его по местническим счетам. Если бы это было так, то по части аристократических предрассудков Новгород перещеголял бы самое Москву, где местничество сложилось не раньше XV века, тогда как сейчас затронутый случай происходил в 1211 году. Но этот же случай и дает нам еще один очень наглядный пример того, как легко переносятся в до-московскую Русь московские точки зрения, ибо новгородский летописец ничего не говорит ни о каком местническом споре под этим годом. Он просто констатирует смену одного посадника другим—и приводит, по всей видимости, официальную мотивировку этой перемены: то, что новый посадник был «старше» (вероятно, годами старше: между их отцами была разница лет в 30) прежнего. Но контекст летописи, предыдущие и последующие записи совершенно определенно вскрывают истинную подкладку события. В предыдущем году на новгородский стол сел, уже много раз упоминавшийся, Мстислав Мстиславич, сел, отняв место у суздальского княжича, а посадник Твердислав стал во главе города еще при господстве суздальцев. Правда, он был очень популярен в Новгороде, но его роль всегда была ролью посредника между вечем и Суздалем, при чем иногда он больше тяготел к Суздалю, несколько лет спустя его прямо обвиняли в тайных сношениях с суздальскими князьями, за что вече и свело его со степени. Для такого решительного момента, каким были собы-

тия 1209 и следующих годов, такой человек, очевидно, не годился. И его могли сместить даже совершенно независимо от того, что князю Мстиславу желательно было иметь своего посадника, как и своего владыку: ибо в том же 1211 году и архиепископ Митрофан был заменен Антонием, при чем сюда уже никаких местнических счетов подвести невозможно. Твердислав Михалкович, как и можно было ожидать по всей его биографии, оказался хорошим дипломатом: он не стал делать скандала из своей отставки, справедливо предугадывая, что, когда пройдет горячая минута, без него не обойдутся. Владыка Митрофан повел себя, кажется, иначе,—да и по своему положению, как человек церковный, летописец скорее мог узнать подкладку церковных событий. Оттого перемену на архиепископской кафедре он и изобразил такой, какова она была на самом деле—низвержением одного лица в пользу другого, принадлежавшего к противной партии. А светскую часть переворота он записал так, как она была известна широким кругам. Вместо иллюстрации новгородского местничества, мы имеем здесь, одним словом, иллюстрацию самогипноза,— в который впал очень, однако, тонкий исследователь. Что в этой области случалось с исследователями, менее тонкими, показывает одно мнение покойного Никитского: он доказательством не демократического устройства Пскова считал... слабость княжеской власти [1]). Судя по этому, торжество демократического начала мы должны искать в Москве Ивана Васильевича Грозного, ибо уже про это время никак нельзя сказать, чтобы тогда «власть князя была низведена почти что до нуля».

На самом деле, Новгород дает нам полную картину той эволюции, первые этапы которой мы могли изучать в истории Киева. Патриархальную аристократию сменила не олигархия крупных собственников, а демократия «купцов» и «черных людей»—мелких торговцев и ремесленников, «плебеев», общностью своего плебейского миросозерцания роднившихся с крестьянством, по отношению к которому они в этот момент исключительного подъема были не столько господами и хозяевами, сколько политическими руководителями, боевым и сознательным авангардом этой темной массы. Вот отчего победы городской демократии и сопровождались льготами для смердов: первая завоевала права, вторые пользовались этим, чтобы избавиться от непосредствен-

---

[1]) «Внутренняя история Пскова», стр. 179.

ного материального гнета. А в области прав завоевания новгородского веча падают, главным образом, опять-таки на этот период. Первая дошедшая до нас новгородская «конституция»—грамота, по которой целовал крест «ко всему Новгороду» князь Ярослав Ярославич, брат Невского,—относится к 1265 году. Но содержание ее гораздо старше этого года. Помимо неопределенных ссылок на «старину и пошлину», на «отцов и дедов», в грамоте есть определенное указание на отца князя Ярослава—Ярослава Всеволодовича. Историческую ценность имеет, конечно, эта последняя, конкретная ссылка. Разговоры о «старине и пошлине» были таким же принятым общим местом, как и упоминания о «воле Божьей» или о «грехах наших»: то была моральная санкция условий грамоты, а не историческое их обоснование. Есть, стало-быть, большое вероятие, что в основных чертах ограничения княжеской власти, изложенные в грамоте 1265 года, если не возникли, то оформились в тот самый критический период новгородской истории, около которого мы все время находимся. Княжение Ярослава Всеволодовича было для этого самым подходящим временем. Летопись изображает его со всеми чертами классического тирана: заключения, ссылки, убийства сопровождают каждое появление его на сцене. Еще в самом начале своей карьеры, в 1216 году, он «оковал» и ограбил в Торжке более двух тысяч новгородских гостей, а потом, потерпев поражение от новгородцев, в припадке бессильной ярости, велел запереть арестованных в тесный подвал, где большая часть их задохлась. Из Новгорода его выгоняли три раза—и три раза он туда возвращался. По поводу одного из этих возвращений, в декабре 1230 года, летопись и указывает определенно, что тогда князь Ярослав на вече «целовал Святую Богородицу на грамотах на всех Ярославлих». Новгородский стол тогда был, видимо, нужен этому Иоанну Безземельному в миниатюре: летописец отмечает, что приглашение было ему послано притти «на всей воле новгородской», и, тем не менее, князь Ярослав не стал медлить—пришел «вборзе». Рассуждать и торговаться, значит, было неудобно—для того же, чтобы занести на бумагу «старину и пошлину» новгородского вечевого права как раз была подходящая минута—а, принимая во внимание личность князя, были и мотивы. Нужно сказать, что для формулировки некоторых основных гарантий были в 1230 году мотивы и помимо личных. Новгородцы не с легким сердцем позвали опять на стол дважды ими прогонявшегося князя. Их

побудила к этому лютая нужда: администрация сидевшего до тех пор в Новгороде Ростислава Михайловича Черниговского усвоила себе совершенно разбойничьи приемы. Дворня посадника Водовика била и даже убивала вождей противной стороны, а дворы их грабила. Главного своего противника Водовик велел утопить в Волхове без всякого суда. События декабря 1230 года и начались с мятежа против разбойничьей шайки, завладевшей управлением в городе. Водовик и его товарищи должны были бежать в Чернигов вместе с Ростиславом, именем которого они, повидимому, и действовали. А оставшиеся в Новгороде хозяевами «молодые мужи», новгородская демократия, естественно спешили прежде всего принять меры к тому, чтобы избежать рецидива водовиковского управления.

Мы не знаем точного содержания той грамоты, по которой целовал крест Ярослав Всеволодович, но ее основные черты можно извлечь отчасти из того, что сообщает летопись, отчасти из позднейших грамот—1265, 1270, 1305—1308 и др. годов. Из летописи мы знаем, что уже в 1218 году вечем была отвоевана у князя несменяемость выборных городских властей—иначе как «за вину», т.-е. по суду. В этом году занимавший тогда новгородский стол Святослав Ростиславич Смоленский вздумал сместить посадника, уже знакомого нам Твердислава: при всей своей гибкости и оппортунизме, тот все же, повидимому, отказывался быть вполне послушным орудием княжеской воли. Любопытно, что смоленскому князю и в голову не пришло произвести перемену самочинно, без ведома веча: до того древне-русский князь привык к мысли, что хозяин в городе есть вече и без него ничего делать нельзя. Спор шел не об этом и не в этом его интерес. Но того, чем, может быть, удовлетворился бы какой-нибудь южный город, в Новгороде было мало. Вече спросило княжеского посланного: «А чем провинился Твердислав?» И, узнав, что князь никакой вины за ним не числит, а просто считает его для себя неудобным, вече отказалось даже входить в рассмотрение вопроса, напомнив только князю новгородское правило, что без вины никого должности лишить нельзя, и что на этом сам князь целовал крест Новгороду. Святослав, повидимому, подчинился без спора—«и бысть мир», заканчивает летописец рассказ об этом эпизоде, немедленно после изложения отповеди новгородцев князю и не сообщая ответа этого последнего. Вероятно, он ничего не ответил, молчаливо признав, что для него новгородские должностные

лица, действительно, несменяемы: для него, но не для веча, которое и раньше и после нисколько не стеснялось силою прогонять и посадников, и самих князей, если они ему не были угодны. Дошедшие до нас договорные грамоты, стереотипно воспроизводя это правило, в то же время своими деталями раскрывают перед нами весь его смысл. Новгородских должностных лиц князь смещать не мог, но без их посредства он шага ступить точно так же не мог. Без посадника он не мог ни раздавать волостей, ни судить, ни давать грамоты. Попытку действовать в этих случаях самолично один из договоров выразительно определяет, как самосуд: «а самосуд ти, княже, не замышляти». Во всем, кроме своей специальной, военной, функции, новгородский князь «царствовал, но не управлял»: управляло «министерство», ответственное перед самодержавным народом, посадник и тысяцкий, выбиравшиеся и смещавшиеся вечем.

Так как и областное управление было все в руках уполномоченных городской общины («...что волостей всех новгородских, того ти, княже, не держати своими мужи, но держати мужи новгородскими...»), а, с другой стороны, князь лишен был возможности сделаться и крупной силой в местном феодальном обществе—покупать земли в новгородской области не мог не только он, но и его жена, и бояре,—то все способы вмешательства во внутреннюю жизнь Новгорода были для него закрыты. Та эксплоатация своей земли, «яко чужую волость творяче», пример которой подал Андрей Юрьевич, тут была совершенно немыслима. Недаром князья долго не могли освоиться с этими порядками, и в первую половину XIII века на каждом шагу встречаем примеры добровольного очищения княжеского стола, не только без всякого давления со стороны веча, но даже прямо против его желания. Сам Мстислав Мстиславич Торопецкий, при всей своей популярности, два раза имел случай напомнить новгородцам, что они «в князьях вольны», а что у него и на юге дела достаточно. И под конец таки ушел от них окончательно. А в 1222 году князь Всеволод Юрьевич Суздальский бежал из Новгорода ночью, тайком, со всем двором своим. «Новгородцы же печалились об этом», наивно прибавляет летописец, видимо, недоумевая, чего же этому князю было нужно? Но князья это, конечно, хорошо понимали и под конец приспособились к новым порядкам тем, что перестали вовсе жить в Новгороде, держа там наместников, а сами наезжая лишь время от времени. Благодаря этому хрони-

ческому отсутствию князя, предпочитавшего сидеть на своем родовом уделе, где он был полным хозяином, отношения вечевой общины к своему «господину» («государем» новгородцы отказывались называть своего князя,—государь в древней Руси был у холопа, а новгородцы были люди вольные) принимали весьма своеобразный характер. Читая договорные грамоты Новгорода с князьями, иногда можно подумать, что читаешь документ из области международных отношений—так четко проведена линия, отделяющая носителя власти от подвластных, и таким чужим выступает перед нами князь по отношению к Новгороду.

Нормы государственного права, установившиеся в Новгороде около первой половины XIII века, означали собою прежде всего полный разрыв с патриархальной традицией, и в этом их не только местно-новгородское, но обще-русское значение. Патриархальная идеология не знала различия между хозяином и государем, правом собственности и государственной властью: в новгородских договорах с князьями это различие проводится так резко, как едва ли встретится нам на всем дальнейшем протяжении русской истории. Новгород принимал все меры, чтобы князь не мог стать собственником ни пяди новгородской земли, ни одного новгородского человека. Ни он, ни его жена, ни его бояре не могли покупать сел в Новгороде, а купленное должны были вернуть. Ни сам князь и никто из его людей не мог принимать закладников в новгородской земле—«ни смерда, ни купчины». Торговать с немцами он мог только через посредство новгородцев. Если ему предоставлялась какая-нибудь привилегия, пределы ее точно оговаривались. Так, он мог ездить на Ладогу ловить рыбу, но только раз в три года. Мог ездить на охоту в Русу, но только осенью, а не летом. Имел исключительное право бить диких свиней, но только не далее шестидесяти верст от города, дальше «гонити свиней» мог всякий новгородец. Словом, у новгородского князя не было никакого повода счесть себя «хозяином» новгородской земли. Употребляя древне-римское выражение, новгородский князь был первым *магистратом* республики и, повидимому, так это и понималось общественным мнением Новгорода. Недаром летописец вкладывает в уста Твердислава Михалковича, в известном уже нам споре, такую фразу: «А вы, братья, вольны и в посадниках, и в князьях». Между князем и посадником не было различия по существу: и тот и другой пользовались властью только

по полномочию города, и до тех пор, пока город сохранял за ними это полномочие.

Это крушение патриархальной идеологии само собою уже предполагает крушение патриархального общественного строя, как предшествующее. То, что в Киеве наметилось в первой четверти XII века, в Новгороде, вероятно, стало обозначаться еще раньше. К XIII веку выветривание родовой знати и выступление на первый план мелких неродовитых людей, не только в момент кризисов, но вообще, в повседневной жизни, дает себя чувствовать в целом ряде мелочей. Сообщая о потерях Новгорода в той или другой битве, летопись называет по имени некоторых убитых—очевидно, людей более известных, утрата которых сильно чувствовалась. Среди этих видных людей мы на каждом шагу встречаем простых ремесленников—котельников, щитников, «опонников», серебренников, сына кожевника, «поповича». В 1228 году, когда «простая чадь» низвергла владыку Арсения и привела обратно из Хутынского монастыря низверженного суздальцами Антония, во владычен суд посадили двух мужей: одного летопись называет по имени и отчеству, а другого, Никифора, только по имени—и был он оружейный мастер, щитник. За четыре года раньше, требуя выдачи ему вождей новгородской оппозиции, суздальский князь Юрий Всеволодович лишь четырех из них удостаивает назвать по отчеству,—остальные обозначены уменьшительными именами: Вячка, Иванца, Радки. Вече, однако же, и этих мелких людей отказалось выдать, как и более крупных. А в 1230 году знакомый уже нам брат Юрия, Ярослав Всеволодович, «поцеловав святую Богородицу на грамотах всех Ярославлих» и уезжая к себе домой в Переяславль, «поя с собою мужи новгородские молодшие»; надобно думать, что это были опять вожди той стороны, которая посадила Ярослава на стол. Люди «с отечеством» теперь перестают выделяться из общей массы—и правило новгородской судной грамоты «судити всех ровно как боярина, так и житьего, так и молодчего человека»—сложилось, вероятно, гораздо ранее XV века, от которого оно до нас дошло. Скорее, напротив, накануне падения новгородской самостоятельности оно звучало уже анахронизмом. Ибо к этому времени аристократию породы давно сменила другая знать—аристократия денег.

Что демократия мелких торговцев и мелких самостоятельных производителей, при грандиозном для своего времени разви-

тии торгового капитализма, может быть лишь переходной ступенью, что, мало того, «черные люди» должны послужить лишь тараном, при помощи которого буржуазия торгового капитала сокрушала родовую знать, все это нетрудно предугадать, зная, благодаря чему Новгород пережил «Матерь городов русских» и всех других своих сверстников. Ремесленники могли остаться хозяевами в промышленном центре,—какова была, например, Флоренция XIII—XIV веков, но каким Новгород никогда не был. Оптовая торговля с Западом, обширные колониальные предприятия обусловливали сосредоточение капиталов в немногих руках, а масса «купцов», сохранившая за собой внутренний сбыт, развозку заграничных товаров по остальной России, не замедлила попасть в кабалу к тем, от кого они получали свои товары, и без чьего посредничества они не могли обойтись. Они и образовали промежуточный класс между общественными низами и верхушкой новгородского общества, состоявшей теперь не из одного «боярства», не из одной феодальной знати, а из боярства и буржуазии, «житьих людей». Так, прежняя группировка общественных элементов, какую мы застаем в первых договорных грамотах с князьями XIII века, разделявшая «весь Новгород» на *старейших* и *меньших,* заменилась более сложной группировкой грамот XV столетия, на *бояр, житьих, купцов* и *черных людей.* Те, кто за двести лет раньше стоял во главе города и распоряжался его судьбами, были оттеснены теперь на последнее место в ряду составных частей самодержавного веча. И это отнюдь не была только «потерька» чести новгородской демократии, употребляя местническое выражение: это было вполне реальное умаление ее власти. В числе многих любопытных особенностей новгородской судной грамоты, составленной около 1440 года, есть одна, давно замеченная, но несколько односторонне толкуемая историками. «А истцу на истца наводки не наводить,—говорит грамота,—ни на посадника, ни на тысяцкого, ни на владычнего наместника, ни на иных судей...» Объяснением, что такое эта «наводка», служит последнее дошедшее до нас постановление грамоты, обрывающейся на полуслове. Это постановление гласит, что на суде должны присутствовать в качестве пособников тяжущихся сторон лишь по два человека «от конца, или от улицы, или от сотни, или от ряду». «А будет наводка от конца, или от улицы, или от сотни, или от ряду»—эти два человека чем-то отвечают: чем, не ясно, ибо конец грамоты утрачен. Но смысл совершенно ясен и,

с точки зрения современного полицейского порядка, вполне точно формулирован одним из издателей новгородской судной грамоты. Слова «наводки не наводить» проф. Владимирский-Буданов комментирует так: «т.-е. не возбуждать народных масс к нападению на суд или противную сторону». Тут только слишком сильно слово «нападение»: из последних слов грамоты ясно, что простое *появление* на суд «народных масс» в XV веке в Новгороде уже считалось правонарушением. Если придут больше, нежели два человека, это уж «наводка»: «а иным на пособье не итти»... говорит грамота. С точки зрения внешнего порядка то был, конечно, прогресс: суд теперь производился не перед лицом шумного кончанского или улицкого веча, вмешивавшегося в «отправление правосудия», не всегда стесняясь буквой закона и слишком часто руководясь своими элементарными представлениями о том, что справедливо и несправедливо. Для упорядочения буржуазного общежития это, конечно, не годилось. Теперь суд производился в обстановке, вполне гарантировавшей хладнокровие судей, почти при закрытых дверях уже в первой инстанции, и буквально при закрытых во второй, где окончательно решалось дело. Эта вторая инстанция носила в Новгороде название «доклада»: «а докладу быть во владычней комнате,—говорит новгородская судная грамота,—а у докладу быть из конца по *боярину*, да по *житьему*, да кои люди в суде сидели, да приставам; а *иному никому* у *доклада не быть*». «Здесь как бы весь Новгород в лице немногих представителей», замечает другой комментатор нашего памятника, забывая только упомянуть, что эти «немногие» взяты исключительно из рядов крупных землевладельцев и зажиточных буржуа, а «народ», представленный в первой инстанции в гомеопатических размерах, теперь уже вовсе стушевывается где-то на последнем плане. И, переходя от формальной, процессуальной стороны того же памятника новгородского законодательства к его материальному содержанию, мы легко поймем, почему боярству и буржуазии так важно было сосредоточить окончательное решение всех дел в своих руках и подальше держать от суда народ. Ничем так много не занимается «грамота», как *земельными тяжбами:* три раза возвращается она к этому сюжету, отводя ему в общей сложности не меньше четверти всего дошедшего до нас текста. Процесс о земле обставлен особыми льготами: с него не берется судебных пошлин («...а от земли судьи кун не взяти...»), для него установлен льготный срок—два месяца, тогда как для

остальных процессов срок установлен месячный. Заботливо охраняются права землевладельца, если он завладел землею даже и не без некоторого нарушения формальностей: суд о земле отделен от суда о «наезде и грабеже», при чем последние караются только штрафом. Одержавший победу в земельной тяжбе мог немедленно вступить в обладание отвоеванным им «селом», не боясь «пени» за сопутствовавшие делу обстоятельства: о них разговор шел особо. Любопытно, что в качестве землевладельцев грамота знает только верхний слой новгородского общества: «а целовать (крест) боярину, и житьему, и купцу, как за свою землю, так и за женину». Чтобы пришлось целовать крест кому-нибудь пониже купца, этого кодификаторам новгородского права не приходило в голову. Эти статьи новгородской судной грамоты представляют собою великолепный юридический комментарий к тому, что говорит о судьбах новгородского землевладения уже не раз цитированный нами историк новгородского хозяйства. «Переход от натурального хозяйства к денежному уже в самых своих зачатках не остался без некоторого влияния на характер экономического быта Великого Новгорода. Повидимому, ему должно быть приписано прежде всего окончательное сосредоточение в руках немногих новгородской поземельной собственности. Удар разразился прежде всего над мелкой поземельной собственностью. Располагая богатейшими средствами, крупные землевладельцы, естественно, могли больше льготить крестьян, чем мелкие, и этим путем подрывать последних. Упадок мелких землевладельцев, или, так называемых своеземцев, всего лучше виден из того факта, что в ближайших к Новгороду погостах к концу XV столетия этот класс поземельных собственников имел уже весьма ничтожное число представителей. В значительном же количестве он сохранялся только в краях, куда не проникало еще в сильной степени крупное землевладение. Такими краями были северные части новгородских пятин, как, например, погосты: Городенский, Куйвошский, Корбосельский, Кельтушский и другие, занимавшие север Вотской пятины» [1]). И параллельно с тем, как земля уходила из рук мелкого собственника в деревне, сам он, как и его городской собрат, становился во все большую зависимость от сильных людей. Читая ту же новгородскую судную грамоту, можно подумать,

---

[1]) *Никитский*, цит. сочин., стр. 191—192.

что зависимые люди составляли даже большинство населения Новгорода. «А кому будет дело до владычнего человека, или до боярьского, или до житейского, или до купетцкого, или до монастырского, или до кончанского, или до улицкого... а боярину, и житьему, и купцу, и монастырскому заказщику, и посельнику, и кончанскому, и улицкому... своих людей ставить у суда». Тут не разберешь даже, что же эти «кончанский и улицкий», по крайней мере, свободные люди или нет? А относительно первых перечисленных категорий сомнений быть не может: у этих людей был «осподарь», который и должен был поставить их «у суда», и без которого судить зависимого человека было нельзя. Так феодализм, внешним образом надвигавшийся на Новгород из Москвы, подготовлялся внутренней эволюцией самого новгородского общества, искусственно восстановлявшего у себя те черты патриархальной старины, которые в московско-суздальской земле держались еще естественным путем. Тот же автор отмечает, что «по мере движения исторической жизни вперед, в Новгороде, против ожидания (!) замечаются следы некоторого, хотя, нужно признаться, весьма слабого закрепления крестьян» [1]. Этого, наоборот, нужно было ожидать: вторичная форма крепостного права, державшаяся не на патриархальной, а на экономической зависимости, в XV веке была будущим для Москвы, а для Новгорода становилась уже настоящим. И там, и тут переход к денежному хозяйству был, как мы увидим в своем месте, ближайшей причиной явления.

Социальное господство имущих классов в последние два века новгородской истории нашло себе политическое выражение в так называемом «правительственном совете», «совете господ», или просто «господе». Новгородский князь, как и всякий другой, совещался в важных случаях со своими боярами, — при нем была своя боярская дума. Уже в XII веке, при князе Всеволоде Мстиславиче, в составе этой княжеской думы на-ряду с боярами, пришедшими в Новгород вместе с князем и составлявшими верхний слой его «двора», встречаются также выборные новгородские власти: десять сотских, староста и бирюч. Ни посадника, ни тысяцкого мы здесь не встречаем, хотя посадники наверное уже в это время были

---

[1]) Ibid., стр. 193.

выборными (обычно считают первым избранным посадником Мирослава Гюрятинича, упоминаемого летописью под 1126 годом). Это отсутствие в составе думы новгородского «министерства» весьма характерно: очевидно, дума была не новгородским правительством, исполнительной властью, а чем-то иным. Впоследствии, когда княжеская власть была окончательно оттеснена на задний план, посадник с тысяцким заступили отчасти место князя: они стали созывать совет, а председательствовал в нем владыка. Княжеские бояре ушли оттуда вместе с князем: в конце XIII века они еще присутствуют в совете наравне с выборными новгородскими властями, в XV в. мы находим там уже одного лишь княжеского наместника. Но всего любопытнее метаморфоза, происшедшая с этими выборными властями. Десять сотских, представлявших собою вооруженный город, собиравшийся на вече, сменились пятью старостами от пяти новгородских концов. Мы очень ошиблись бы, если бы сочли эти последние только административными округами, на которые делился город. Просматривая летопись, вы видите, что «концы» были политическими единицами — и политическая жизнь Новгорода сосредоточивалась именно в них. На общегородском вече каждый конец выступал как сплоченное целое — вече было совещанием не столько отдельных новгородцев, сколько пяти общин, союз которых и составлял «Великий Новгород». Во время волнений 1218 года, вызванных политической неустойчивостью Твердислава Михалковича, мы присутствуем при формальном междоусобии концов: Неревский конец был против посадника, а Людин за него. В 1359 году мы имеем даже нечто вроде государственного переворота, затеянного одним концом против всех других: славенский конец хотел поставить во что бы то ни стало своего посадника, и, явившись на вече в доспехах, учинил ту «проторжь», о которой мы уже говорили в своем месте. Кончанский староста, таким образом, вовсе не был только мэром одного из городских округов: это был политический вождь своего конца, представитель тех общественных сил, которые в нем господствовали. А совет таких старост представлял собою господствующий класс всего Новгорода. Совещание кончанской знати — к старостам присоединялись и другие почетные лица концов, на первом месте бывшие посадники и тысяцкие — устраняло ту открытую борьбу за власть на вече, которая подавала повод к таким событиям, как имевшие место в 1359 году. Порядка было больше — отсутствие народной

толпы при решении важнейших вопросов управления, как и на суде, представляло большое практическое удобство. Но когда дело можно было решить запершись, в компании 20 или 30 человек, от демократии оставалась только вывеска. Между тем мы видим, что к последним годам жизни Новгорода совет все решительнее захватывает права веча. Прежде всего, конечно, в вопросах, которые «толпа» плохо понимала: уже в XIV веке иностранные сношения были всецело в руках «господ» — немецкие купцы в своих столкновениях с Новгородом никого иного не видят; они и оставили нам наиболее подробные сведения об этом учреждении. Новгородская судная грамота показывает нам, как в руки кончанской аристократии перешел и высший суд. Совет давал жалованные грамоты на земли и воды, руководил общественными постройками, участвовал в выборах правительственных лиц, распоряжался военными действиями. Последний официальный акт вольного Новгорода — грамота, по которой новгородцы обязались все за один стоять против Ивана Васильевича, скреплена 58 печатями членов совета — которые в этот заключительный момент своей деятельности выступили, как настоящие представители всего города. По составу, это было, повидимому, одно из самых полных собраний «господ». Но немецкие источники знают случаи, когда рамки собрания еще более расширялись, и притом необычайно характерным образом: один документ упоминает о 300 «золотых поясах». Здесь было все, что было побогаче в Новгороде: а новгородский совет и представлял именно богатство, а не «отечество», как позднейшая боярская дума московских царей.

Как отвечала на возникновение этой новой олигархии новгородская масса? В обстановке промышленного центра подобное явление, знакомое не одному Новгороду, вызвало бы, вероятно, восстание «социалистического» характера — употребляя слово «социализм» в том широком и туманном его значении, в каком применяла его буржуазная литература прошлого века. Таков был во Флоренции XIV века «бунт оборванцев» (Tumulto dei Ciompi). Но Новгород был городом не ремесленников, а купцов — и в нем социальное движение приняло очень своеобразный характер: восстания должников против кредиторов. Такой именно характер носили, повидимому, волнения 1418 года, подробно описанные летописью и послужившие позднейшей литературе образцом «буйного новгородского веча» вообще. Они во всяком случае свидетель-

ствуют, какого напряжения достигла ненависть угнетенных к угнетателям уже за полстолетия до падения новгородской самостоятельности. Дело началось с того, что «некий человек» — летопись называет его уменьшительным именем «Степанко», без отчества, отмечая тем его плебейское происхождение — напал на улице на боярина Данила Ивановича, Божина внука, и стал сзывать толпу, крича: «господа! [1]) помогите мне против этого злодея!» Вместо того, чтобы схватить буяна, сбежавшиеся соседи схватили боярина и потащили его на вече, — а там «казнивши его ранами близ смерти», сбросили его с моста в Волхов. Летописец ни слова не говорит нам о репутации Данила Ивановича, Божина внука, но ход событий достаточно обрисовывает эту последнюю. Как велико было негодование народной толпы, показывает продолжение истории: когда один рыбак, выловив боярина из Волхова, взял его в свой челнок, новгородцы бросились на дом этого рыбака и разграбили его. Спасшийся из воды боярин в первую минуту, очевидно, ничего не мог предпринять против своих врагов. Но, дождавшись, когда вече разошлось, он велел схватить Степанка и начал его «мучить». Волнение, однако, далеко не улеглось, как думал, повидимому, боярин, а известие об аресте Степанка подлило масла в огонь. Тотчас сзвонили опять вече на Ярославовом дворе,—то же повторялось и в следующие дни: «и собиралось людей множество, кричали и вопияли много дней: пойдем на того боярина и разграбим его дом!» Агитация против Данила Ивановича перешла мало-по-малу в агитацию против бояр вообще, и толпа сторонников Степанка, «придя в доспехах со стягом» на Кузьмодемьянскую улицу, разграбила там не только дом непосредственного виновника, но и «иных дворов много», а также и на соседней Яневой улице: все это было в самом аристократическом квартале Новгорода. Неожиданное народное восстание навело сначала панический ужас на бояр. Кузьмодемьянцы бросились к архиепископу и молили его о вмешательстве. В доказательство своей покорности вечу они привели к владыке и Степанка, которого архиепископ отослал к «собранию людскому» в сопровождении одного священника и владычнего боярина. Вече приняло посольство

---

[1]) *Господа* («Господо») или *господа* и *братья*—обычная форма обращения к народу в Новгороде, обращался ли посадник к вечу или частное лицо к уличной толпе.

и Степанка, но это не остановило погрома. Грабили не только боярские дворы, перейдя с Кузьмодемьянской и Яневой улиц на Чудинцеву и на Людогощу, но и монастыри, служившие боярам кладовыми; случилось, значит, то, чего только боялись в Киеве во время восстания 1113 года. Нападение на главное гнездо новгородского боярства, Прусскую улицу, было, однако, отбито: здесь успели приготовиться к обороне. Это было исходным моментом реакции; восставшие были оттеснены на Торговую сторону — более демократическую, и которая вся в целом стала за Степанка и его друзей. Скоро в оборонительном положении оказалась уже Торговая сторона, а центром сражения сделался мост через Волхов: здесь свистели стрелы, звенело оружие, падали убитые, «как на войне». Но, повидимому, более благоразумная часть боярства стояла за то, чтобы не обострять дела. «Христоименитое людство», «люди богобоязливые» уговаривали владыку пойти на мост крестным ходом и разделить сражающихся. Вслед за владыкой на мосту появился и боярский совет. На Ярославов двор опять было отправлено владычнее посольство, которое на этот раз имело больше успеха: вече разошлось «и бысть тишина в граде». Такой исход, несомненно, был подготовлен уже предыдущими переговорами — это видно из того, что посланные архиепископа уже нашли на Ярославовом дворе степенных посадника и тысяцкого, которые, конечно, не были руководителями того «собрания людского», что громило боярские дворы. Появление владыки на мосту было, в сущности, официальной церемонией: конец усобице положило желание боярства использовать достигнутый успех, не рискуя новой схваткой, которая могла кончиться и не в его пользу.

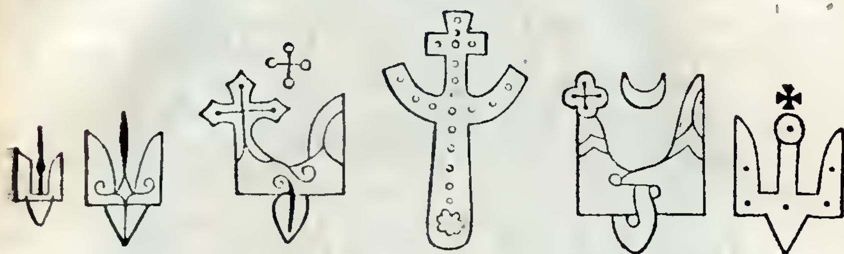
В социальные отношения эта вспышка никакой перемены не внесла и не могла внести: купечество Торговой стороны не могло обойтись без боярских капиталов. Но так как боярству такие взрывы не могли быть выгодны, оно заботливо канализировало накоплявшуюся в народных массах энергию. «Политика отвлечения» была так же хорошо знакома позднейшему, крупно капиталистическому Новгороду, как и многим другим странам в аналогичные эпохи. Одновременно с тем, как падает политическое значение народной массы, мы все чаще и чаще слышим о колониальных предприятиях того единственного типа, который был знаком древней Руси: грабительских походах на окраины, заселенные инородцами, а иногда и на соседние русские земли. В последнем слу-

чае, обыкновенно, соблюдали приличия, и дело принимало характер частной антрепризы — Новгород, как государство, оставался в стороне. Летопись точно различает эти два типа «колониальных войн». «Ходиша из Заволочья войною на Мурман (норвежцев), *новгородским повелением,* а воевода Яков Степанович посадник Двинский», читаем мы под 1411 годом; а под 1366: «Ездиша из Новаграда люди молодые на Волгу, *без новгородьчкого слова;* а воеводою Есиф Валъфромеевич, Василий Федорович, Олександр Обакунович...» Мы ясно видим, что и там, и тут были правильно организованные экспедиции — и там, и тут во главе стояли настоящие «воеводы», а не какие-нибудь атаманы разбойников, и воеводы эти в обоих случаях принадлежали к новгородской знати. Но первая была направлена против иноземцев, это был легальный случай из области международных отношений, а по поводу второй пришлось иметь объяснение с великим князем Дмитрием Ивановичем, и новгородские власти желали себя оградить от ответственности. Желание, впрочем, было тщетным: московский великий князь интересовался сущностью дела, а не его юридической оболочкой, и корректность правившего Новгородом боярского совета нисколько не помешала тому, что Дмитрий Иванович «разверже мир с новгородци». Двадцать лет спустя за такую же экспедицию Новгород поплатился восемью тысячами рублей контрибуции. Но зато «люди молодые» находили себе иное занятие, чем громить боярские дворы, и никакая контрибуция не могла заставить новгородское боярство отказаться от столь выгодной для него политики. Но бывали, однако, случаи, когда два течения сливались — и колониальная экспедиция становилась сама орудием социальной борьбы. В 1342 году Лука Варфоломеев, видный новгородский боярин, ездивший когда-то послом к Ивану Даниловичу Калите, «не послушав Новаграда, митрополичьего благословения и владычняго», собрал «холопов сбоев» и отправился с ними ставить города по Двине. Надо иметь в виду, что Двина и все Заволочье были в руках крупнейших новгородских капиталистов: вся река Вага, напр., принадлежала одной фамилии, Своеземцевым, родоначальник которой купил ее в 1315 году у местной «чуди» за 20.000 белок и 10 рублей. Уже одно появление здесь нового колонизатора с его более, нежели демократической дружиной, должно было создать очень острые отношения, а Лука Варфоломеевич, вдобавок, вел себя в Заволочье, как настоящий конквистадор, и вооружен-

ной рукой заставил себя слушаться все двинские погосты. Повидимому, считая свое положение здесь уже достаточно прочным, он отправил большую часть своих сил на Волгу, для новой экспедиции, оставив у себя только двести человек. Этим воспользовались его заволоцкие враги; Лука был разбит в одной схватке и убит. Когда весть о его смерти пришла в Новгород, «встали черные люди на посадника Федора Даниловича, говоря, что это он послал убить Луку», и началась уже знакомая нам картина боярского погрома. Посадник со своими сторонниками бежал в Копорье и там просидел всю зиму, до великого поста. Но дело этим не кончилось. Вернувшийся из волжской экспедиции сын убитого, Онцифор Лукич, поднял формальное обвинение против Федора Даниловича — в убийстве Луки. Бояре и тут смалодушествовали, выдали посадника, но он, не совсем понятным для нас образом, нашел поддержку на Торговой стороне: вероятно, купцы, заинтересованные в хороших отношениях Новгорода с низовскими землями, не особенно благосклонно отнеслись к подвигам Онцифора на Волге. Бежать, в конце концов, пришлось Онцифору: но это не было концом его карьеры вообще. Шесть лет спустя мы встречаем его воеводой против шведов, а еще через шесть лет — степенным посадником.

Эта яркая картина из истории новгородского «империализма» ясно показывает нам, куда новгородская крупная буржуазия отводила внимание народной массы, где она сулила «черным людям» эквивалент за все более и более утрачивавшуюся ими политическую самостоятельность. Но иной раз «черным людям» приходилось так туго, что никакой империализм, никакие миражи колониальных завоеваний не помогали—и «молодшие» начинали искать управы на «старейших» поближе. То, куда они обращали при этом взоры, было зловещим предзнаменованием для новгородской самостоятельности. За два года до похода на Двину Луки Варфоломеевича поссорились новгородцы с московским князем Семеном Ивановичем из-за дани, которую тот стал собирать в Торжке. Как можно догадаться из дальнейшего, спор шел не столько из-за сбора дани, сколько из-за ее распределения — куда ей итти: в новгородскую казну или в сундуки московского князя. В перспективе была война. Но новгородскому правительству очень быстро пришлось понизить тон по совершенно неожиданному поводу: в Новгороде «чернь» не захотела итти на войну против Москвы. Между

тем в Торжке уж были приняты самые серьезные меры: московские наместники и «борцы» (собиратели дани) были окованы и посажены в тюрьму; но когда «чернь» в Торжке узнала, что делается в Новгороде, она встала на бояр так решительно, что те прибежали в Новгород «только душою, кто успел». А московские наместники были освобождены тою же «чернью».

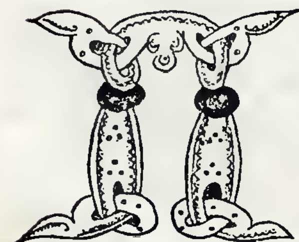


Изображеиия иа оборотиой стороне серебряных моиет Владимира I (первые два), Святополка I (третье) и Ярослава I (пятое и шестое).

Изображение шлема XIII века, хранящегося в Московской Оружейной Палате.

ГЛАВА V.

Образование Московского государства.



ромежуток времени с XIII по XV век выделяют иногда как специально «удельный» период русской истории: «раздробление русской земли на уделы» является здесь, таким образом, определяющим признаком. Нет надобности говорить, что представление это исходит от мысли о «единстве русской земли» до начала удельного периода. Русь рассыпалась, и ее потом опять «собирали». Но мы уже знаем, что говорить о едином «рус-

ском государстве» в киевскую эпоху можно только по явному недоразумению. Выражение «русская земля» знакомо и летописи, и поэтическим произведениям этого времени: но им обозначалась киевская область, а распространительно, поскольку Киеву принадлежала гегемония во всей южной Руси, и вся эта последняя. Из Новгорода или Владимира ездили «в Русь», но сами Новгород и Владимир Русью не были. Притом это был термин чисто бытовой, не связывавшийся ни с какою определенною политической идеей: политически древняя Русь знала о киевском, черниговском или суздальском княжении, а не о русском государстве. Рассыпаться было нечему — стало-быть, нечего было и «собирать». В устаревшую — собственно, по своему происхождению, карамзинскую — термонологию пытались вдохнуть новое содержание, то приурочивая к началу этого периода особенное, будто бы, измельчание княжеств, то связывая с этим именно временем глубокий упадок княжеской власти, утрату князьями всяких «государственных идеалов» и превращение их в простых вотчинников. Но мы не знаем, каковы были минимальные размеры самостоятельной «волости» в предшествующую эпоху, а на первом плане политической сцены мы и в «удельный период» встречаем князей тверских, московских, нижегородских и рязанских, стоявших во главе крупных областей, не меньших, нежели прежние княжества черниговское, смоленское или переяславское. Что касается государственных идеалов, то таковые можно найти, в зачаточном виде, у новгородского веча — этого воплощения антигосударственности для официальной историографии — но никак не у древнерусских князей. Самые выдающиеся из них не поднимались выше некоторого туманного представления о «социальной справедливости», и все вообще считали добывание столов главной целью княжеской политики, а вооруженные набеги на соседние области — главным княжеским ремеслом. Единственным общим делом, которое время от времени объединяло их всех, была борьба со степными кочевниками, но и это объединение никогда не могло стать сколько-нибудь прочным и продолжительным. Военный союз северо-восточных князей под главенством московского, в конце XIV века, был ничуть не менее прочен, нежели объединение южной Руси против половцев в дни Владимира Мономаха: в этом отношении Руси «удельной» не было оснований завидовать Руси до-удельной, Киевской. Во внутреннем же управлении «володеть» и в XIII или

XIV столетиях значило то же, что в XII или даже X: и раньше, и позже дело сводилось к собиранию доходов в разных видах, при чем кто был более энергичным «собирателем» в этом смысле, Андрей ли Юрьевич Боголюбский или его на три столетия младший родич, Иван Васильевич Московский, сказать не умели бы, конечно, и современники.

Когда мы следим за цепью событий по летописям, мы замечаем легко две катастрофы, от которых, при желании, можно вести «новый период русской истории»: падение Киева во второй половине XII века и завоевание Руси татарами в XIII. Первая обусловила передвижку центра исторической сцены на несколько градусов севернее и восточнее, закрепив за исторической Россией тот характер северной страны с убогой природой, какого она еще не имела в мягком климате и на плодородной почве Украйны. Вторая закрепила то падение «городского» права и торжество «деревенского», которым на много столетий определилась политическая физиономия будущей «северной монархии». Но и в том и в другом случае катастрофа была только кажущейся — оба переворота были подготовлены глубокими экономическими причинами— передвижкой мировых торговых путей, истощением страны хищническими приемами хозяйства. Считать и их за какую-то «грань времени» было бы очень поверхностно. И с этой точки зрения, таким образом, говорить об особом «удельном периоде» русской истории не приходится. Та группировка феодальных ячеек, которой суждено было стать на место городовых волостей XI—XII веков, и которая получила название великого княжества, позже государства Московского, нарастала медленно и незаметно: и когда люди XVII века очутились перед готовым вчерне зданием, им трудно было ответить на вопрос — кто же начал его строить? Котошихин, как известно, не прочь был записать в основатели Московского государства Ивана Васильевича Грозного. Позднейшие историки отодвигали критический момент все дальше и дальше в глубь времен, — пока перед ними не встали фигуры, столь похожие на всех своих современников, что невольно явился другой вопрос: почему же это они стали основателями нового государства? Первый «собиратель Руси» на страницах школьных учебников, Иван Данилович Калита, под пером новейшего историка оказывается вовсе «лишенным качеств государя и политика». После этого, образование московского государства осталось приписать только сча-

стливому случаю: «случай играет в истории великую роль», говорит тот же исследователь [1]). Но апеллировать к случаю в науке значит выдавать себе свидетельство о бедности.

Эти «приведение к нелепости» индивидуалистического метода, сводящего все исторические перемены к действиям отдельных лиц—и останавливающегося в недоумении, когда лиц на сцене нет, а перемены, видимо, совершаются — эта катастрофа в области исторической литературы сама по себе есть, однако же, крупное завоевание научной истории. Только-что цитированный нами автор, на-ряду со «случаем», умел назвать и другой, безличный, но, тем не менее, вполне конкретный исторический фактор, который приходится поставить на место обанкротившихся перед наукой «собирателей Руси». Особенно благоприятным моментом в развитии московского великого княжества г. Сергеевич считает малолетство Дмитрия Ивановича Донского. «В этом обстоятельстве»— что тогдашнему собирателю было всего 9 лет — «и заключалось чрезвычайно благоприятное условие для успешного развития московской территории. В малолетство князей управление находилось в руках бояр... Боярам нужны богатые кормления. Чем меньше князей, тем этих кормлений больше. Бояре — естественные сторонники объединительной политики» [2]).

Отсюда, казалось бы, оставался один шаг до того, чтобы оставить в покое личности «собирателей» и трактовать московское государство XV века, как огромную ассоциацию феодальных владельцев — в силу особенно благоприятных условий поглотившую все остальные ассоциации. Но наш автор этого не делает, и продолжает занимать своего читателя тем, что делали и о чем заботились Иваны, Дмитрии и Василии, политическое ничтожество которых он только-что доказал. Так сильна традиция, гораздо более старая, чем можно думать, и унаследованная нашей ученой, университетской историографией от до-исторического периода русского бытописания: еще никоновская летопись заставляла московское правительство вести переговоры с казанским царем Утемиш-Гиреем, хотя сама же предусмотрительно отметила, что этому «политическому деятелю» было два года, и он едва ли с кем вел переговоры, кроме своей няньки. Но что у старого русского

---

[1]) См. *В. Сергеевич*, «Древности русского права», т. III, изд. 3-е, 1909 г., стр. 65 и 72.

[2]) Ibid., стр. 69.

летописца было характерным в своей наивности символизмом, было бы в современной исторической работе либо наивничаньем и подделкой под старину, либо тупым староверством. Читатель не посетует на нас поэтому, если мы не будем, с одной стороны, заниматься специально отличительными признаками «удельной Руси» — ибо мы эти признаки, в гораздо более широком масштабе, найдем в Руси московской; с другой стороны, оставим старым официальным учебникам подвиги «собирателей» и не будем вдаваться в обсуждение вопроса, были ли они люди политически бездарные или политически талантливые. Тем более, что, при скудости наших данных касательно их личных свойств, последний вопрос является и довольно безнадежным, помимо всего прочего.

В ряду безличных факторов, определивших «собирание» Руси около Москвы, *экономике* давно отведено одно из первых мест. Первоначальные наблюдения этого рода, сделанные проф. Ключевским и всем доступные на страницах его курса, дополнены и дальше развиты Забелиным в его «Истории города Москвы». Последний автор берет вопрос не в тесных рамках истории «удельной Руси» и образования московского княжества, а несколько шире. Он указывает на роль московско-клязьминского торгового пути, соединявшего промышленную область смоленских кривичей и крупнейший центр Поволжья X—XI веков — «Великий город» болгар, с его ярмаркой, предшественницей макарьевской и нижегородской. В ближайших окрестностях Москвы намечаются два узла этого пути — один на р. Сходне (Всходне), другой—на Яузе. Наличность многолюдного поселения около первого доказывается массою курганов. Торговое значение Яузы и перевалы от нее к Клязьме до сих пор дает себя знать в названии села Большие *Мытищи,* напоминающем о существовавшей здесь когда-то таможне. Характерно, что о Яузе определенно говорит летописное известие о постройке «города» Москвы, т.-е. древнейшей московской крепости (под 1156 годом). Очевидно, это географическое указание было далеко не безразлично для современников. Но на пути из Западной России в Поволжье Москва была лишь одним из узловых пунктов: важнейшим из них она стала лишь благодаря тому, что со старой дорогой восточной торговли пересекся новый путь торговли западной, из Новгорода в южную и восточную Русь, к Нижнему и Рязани. Путь из Новгорода Великого в Новгород Нижний по Волге описывает крутую дугу, добрая доля которой была

притом в руках ближайшего соседа и наиболее обычного антагониста новгородцев, великого князя тверского. Путь через принадлежавший Новгороду Волок на Ламе, а затем через Москву и Клязьму, был почти хордою этой дуги и гораздо менее зависел от политических случайностей. Московские князья на первых порах казались очень смирными и покладистыми, Новгород не видел от них никакой непосредственной опасности и в первую половину XVI века не было более обычной политической комбинации, как союз Новгорода и Москвы против Твери. В свою очередь, и московские князья не находили ничего для себя зазорного садиться в вечевом городе «на всей воле новгородской» — «и ради быша новгородци своему хотению». А когда московский князь, благодаря ловкости своей ордынской политики, стал наследственным великим князем владимирским, новгородско-московский союз стал экономической необходимостью для обеих сторон: суздальская Русь, теперь Русь московская, не могла обойтись без европейских товаров, шедших, главным образом, по Балтийскому пути; а новгородский гость «на низу», в нынешних Московской, Владимирской и Нижегородской губерниях исстари не мог обойтись без охраны великого князя владимирского. «А гостю нашему гостити по Суздальской земле», оговаривали трактаты Новгорода с великими князьями. Но, нужно заметить, необходимость была неодинакова для обеих сторон: в то время как новгородские торговцы, в тех случаях, когда запиралась перед ними суздальская Русь, теряли свой главный рынок и почти утрачивали смысл своего существования, Москва, кроме Новгорода, имела и другой выход в Западную Европу. Уже под 1356 годом летописи упоминают о присутствии в Москве «гостей сурожан», генуэзцев из крымских колоний. «Но, по всему вероятию, и раньше этого года генуэзские торговцы уже хорошо знали дорогу в Москву, так как северный торг, направлявшийся прежде, до XIII столетия, на Киев по Днепру, теперь изменил это направление и шел уже через Москву по Дону, чему еще до нашествия татар очень способствовали именно те же итальянские генуэзские торги, сосредоточившие свои дела в устьях Дона и в крымских городах Суроже и Кафе» [1]).

«Гости сурожане» объясняют нам несколько неожиданные с первого взгляда итальянские связи Москвы, памятником которых остался до сих пор московский кремль с его Успенским собором,

[1]) *Забелин*, назв. соч., стр. 86.

построенным Аристотелем Фиоравенти, и Спасскими воротами стройки «архитектона» Петра-Антония, «от града Медиолана». А не только местное, но международное значение Москвы объясняет нам еще другой, гораздо более важный, факт, что столица Калиты уже в XIV веке становится крупным буржуазным центром, население которого начинает себя вести почти по-новгородски. О размерах этого населения кое-какие указания дают летописи. Когда в 1382 году, после нашествия Тохтамыша, хоронили убитых москвичей, великий князь Дмитрий Иванович, уехавший перед татарским погромом на север и явившийся как раз во-время к похоронам погибших, платил за каждые 40 трупов по полтине — и всего истратил 300 рублей; всего, значит, было похоронено 24.000 человек. Правда, сюда входили не только горожане в тесном смысле, но и население ближайших окрестностей, искавшее за стенами города защиты от татар; зато и не все, конечно, городское население было поголовно истреблено, напротив, надо думать, что большая часть осталась в живых, либо была уведена в плен. В 1390 году летопись отмечает большой московский пожар, от которого сгорело несколько *тысяч* дворов; через пять лет опять Москва погорела — и опять сгорело дворов «неколико тысяч» [1]). Судя по всем этим данным, мы можем считать население города к концу XIV века в несколько десятков тысяч человек: для средних веков, когда городов с стотысячным населением едва ли было три во всей Европе, это не мало. В России того времени, кроме Новгорода и Пскова, не было города крупнее.

Уже размеры московского посада заставляют несколько ограничить очень распространенное представление о Москве, как разросшейся княжеской усадьбе: представление, много обязанное своей популярностью именно только-что цитированному нами Забелину. Как ни была многолюдна дворня московского князя, ей было далеко до десятков тысяч московских посадских: и как ни соблазнительно видеть в Хамовниках, Бронных, Хлебных и Скатертных переулках следы слобод *дворцовых* ремесленников, осторожнее видеть в них московских двойников Плотницкого или Гончарского концов Великого Новгорода. В тех случаях, когда московский посад выступает перед нами, в XIV веке, как политическая сила, он дает физиономию тоже, совсем не похожую на кня-

---

[1]) Ibid., стр. 98.

жеских челядинцев. Таким моментом было уже упоминавшееся нами нашествие Тохтамыша (август 1382 года). Татары появились на русских границах совершенно неожиданно — и московское начальство, светское и духовное, потеряло голову. Недавний победитель на Куликовом поле, великий князь Дмитрий Иванович, бежал сначала в Переяславль, а потом, найдя и это место недостаточно безопасным, в Кострому. Вместо себя он оставил в городе владыку-митрополита: но владыка — это был мало почетной памяти Киприан — был, конечно, человек, еще менее склонный к ратным подвигам, нежели сам великий князь. Киприану показалась достаточно безопасным местом Тверь — и он решил бежать туда. Примеру князя и митрополита готовились последовать, повидимому, и «нарочитые бояре»: московскому посаду предоставлялось защищаться от врага, как сам знает. И вот, рассказывает летописец, «гражданские люди возмятошася и всколебашася, яко пьяни, и *сотвориша вече*, позвониша во вся колоколы и всташа вечем народы мятежники, недобрые человеки, люди крамольники: хотящих изойти из града не токмо не пущаху, но и грабляху... ставши на всех воротах городских, сверху камением шибаху, а внизу на земле с рогатинами и сулицами и с обнаженным оружием стояху, не пущающе вылезти вон из града». Потом, поняв, вероятно, что от перепуганных владыки с боярами, а тем более от великой княгини Евдокии, тоже спешившей выбраться из города, толку в осадном деле быть не может, их пустили, но конфисковали все их имение. Летописец, сочувствие которого было на стороне власть имущих, как видно уже из приведенной цитаты, очень хотел бы свести все на пьяный бунт, усиленно подчеркивая разгром боярских погребов и расхищение из них «медов господских». Но «гражданские люди» сделали, несомненно, серьезное дело: они организовали ту самую оборону города, в возможности которой сомневались митрополит и «нарочитые бояре», и организовали так, что татары, после неудачного приступа, вынуждены были прибегнуть к хитрости, чтобы взять город. На стенах Москвы Тохтамыш нашел, рядом со старыми метательными орудиями, и такие новинки тогдашней военной техники, как самострелы (арбалеты) и даже пушки, которые тогда и в Западной Европе были еще свежей новостью. Всем этим посадские люди, московская буржуазия (летопись называет по имени «суконника» Адама — едва ли не итальянца) орудовали как нельзя более успешно. Но против всех западных новшеств, татары нашли старое и испытанное русское

средство. В войске Тохтамыша оказалось двое русских князей, зятьев Дмитрия Ивановича, которые взялись поцеловать крест перед москвичами, что татары не сделают последним никакого вреда, если они сдадут город. Москвичи поверили княжескому слову, отворили ворота — и город был разграблен, а жители перебиты или уведены в плен. Вся история как нельзя более характерна для отношений «народа» и «власти» в удельной Руси: и эти «строители» и «собиратели», продающие город татарам, и эта «чернь», умеющáя обороняться от татар без «собирателей» гораздо лучше, чем с ними.

События 1382 года не остаются изолированными в московской истории—через два следующие столетия, до половины семнадцатого, тянутся политические выступления московского посада, свидетельствуя, что тогдашняя русская буржуазия была гораздо менее безгласной, нежели во времена, более к нам близкие. Но если наличность крупного торгового центра, с его обильными денежными средствами [1]), давала опорный пункт для объединительной политики московского княжества, то активная роль в этой политике принадлежала не торговому городу: иначе венцом ее было бы образование новой городовой волости, вроде киевской, а не феодальной монархии, какой было московское государство. A priori можно предположить, что в создании этого последнего большое участие должны были принимать феодальные элементы—и что руководящее значение в процессе «собирания Руси» должны были иметь крупные землевладельцы. Мы видели, что это значение уже оценено по достоинству новейшей наукой, которая, в лице проф. Сергеевича, признала, что настоящими «собирателями Руси» были бояре, обнаруживавшие в этом деле гораздо больше чуткости и понимания, нежели номинальные основатели московского государства. Нам нет надобности поэтому особенно настаивать на этом факте. Политическое значение крупного землевладения в древней Руси мы уже рассмотрели подробно (см. гл. II—«Феодальные отношения в древней Руси»). Мы знаем, что во главе удельного княжества стояло не одно лицо—князь, а группа лиц—князь с *боярской думой*, и это обстоятельство обеспечивало непрерывность удельной политики даже в такие, нередкие в удельной практике, моменты, когда

---

[1]) О размерах этих средств дает понятие контрибуция, которую взял в 1446 году царь Махмет с Василия Васильевича Темного: 200.000 рублей—может быть до 20 миллионов рублей золотом на нынешние деньги.

номинального носителя государственной власти не было на-лицо—он был малолетний, или в Орде, или в плену. Борьбу между удельными княжествами нужно представлять себе, как борьбу между группами феодалов, отстаивавшими, прежде всего другого, свои собственные интересы. В первом эпизоде московско-тверской борьбы, в самом начале XIV столетия, мы почти не видим на русской сцене князей: они тягаются из-за столов где-то далеко, в Орде перед лицом «царя». Там выправляются юридические титулы на велико-княжеское достоинство: фактическая борьба на местах велась боярством. Тверские бояре ведут войну с Москвой, во главе тверской рати идет не князь, а боярин Акинф, во главе московской рати номинально стоит княжич, младший брат уехавшего в Орду Юрия, Иван (будущий Калита), но он шагу не делает без своего боярства. Несколько лет спустя, Дмитрий Михайлович Тверской идет ратью на Нижний-Новгород и Владимир, добивается великокняжеского стола—но все это лишь обычный символизм летописи: претенденту на великое княжение всего 12 лет и с ним происходит буквально то же, что проделают пятьдесят лет спустя со своими малолетними князьями московские бояре, когда они, забрав всех троих внуков Калиты (старшему, Дмитрию, будущему Донскому, шел тогда двенадцатый год), ходили в поход на соперника Москвы, князя Дмитрия Константиновича Суздальского. И этой привычки действовать самостоятельно московские феодалы отнюдь не утрачивают с ростом московского великого княжения, напротив, они тем сильнее и их тем больше, чем больше и сильнее вотчина Калиты. В 1446 году, когда Шемяка, воспользовавшись неудачной войной Василия Васильевича с татарами, захватил под ним Москву, взяв и его самого в плен, захватчик встречает дружное сопротивление сплоченной группы московского боярства—с князьями Ряполовскими во главе. Это сопротивление и заставило Шемяку уже в следующем году возвратить стол сверженному и ослепленному им противнику. Шаблонное противопоставление «боярства» и «государя», как сил центробежной и центростремительной в молодом московском государстве—один из самых неудачных пережитков идеалистического метода, представлявшего «государство», как некую самостоятельную силу, сверху воздействующую на «общество». На самом деле государство и в удельной Руси, как всегда, было лишь известного рода организацией командующих общественных элементов,—и московские князья, по-своему,

нисколько не думали отрицать того факта, что правят они своим княжением не одни, а вместе с боярами, как «первые между равными». Дмитрию Донскому летопись, как мы уже знаем, приписывает даже еще более лестную для бояр характеристику, заставляя его сказать перед кончиной: «и назывались вы у меня не боярами, а князьями земли моей». Если это еще может быть литературой, то совет его дяди, Семена Ивановича «Гордого», своим наследникам—«слушать старых бояр»—мы находим уже не в литературе, а в официальном документе, духовном завещании этого князя. А наиболее реальные политики того времени, ордынские дипломаты, не обинуясь, прямо ставили образ действий Москвы в зависимость от состава московской боярской думы. «Добрые нравы, и добрые дела, и добрая душа в Орде была от Федора от Кошки, добрый был человек,—говорит татарский министр Едигей великому князю Василию Дмитриевичу.—А ныне у тебя сын его Иван казначей, любовник и старейшина. И ты нынеча из того (Ивана) слова и думы не выступаешь, которая его дума не добра и слово, и ты из того слова не выступаешь... ино того думою учинилася улусу пакость» [1]).

Раз московское государство было созданием феодального общества, в его строительстве не могла не играть видной роли крупнейшая из феодальных организаций удельной России, как и средневековой Европы вообще—*церковь*. Казалось бы, невозможно преувеличить значение православия в истории русского самодержавия—и, тем не менее, приходится признать, что до появления II тома известной работы проф. Голубинского все, что говорилось на эту тему, было слишком слабо и, главное, било мимо цели. Говорилось, преимущественно, о влиянии церковной *проповеди* на развитие *идеи* самодержавия. Это правда, что московская политическая идеология была идеологией церковной прежде всего и больше всего—что московский царь мыслился своими подданными не столько как государь национальный, властитель определенного народа, сколько как владыка всего мира—царь всего православного христианства. Мы увидим в свое время чрезвычайно эффектные и яркие отражения этой центральной идеи московской официальной публицистики: но историю делает не публицистика. Какова была роль церкви в создании объек-

---

[1]) *Экземплярский.* «Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период», I, стр. 142.

тивных условий, вызвавших к жизни московский царизм? Что дала церковь не словами, а делом—дала, как определенная *организация?* Как интересами этой организации определялась политика создавшегося под ее влиянием государства? Вот вопросы, на которые позволил ответить впервые только материал, собранный названным историком русской церкви,—материал, сам вполне об'ективный и чуждый всякой идеалистической обработки.

Феодализация православной церкви началась задолго до рассматриваемого периода: уже в Киево-Новгородской Руси монастыри были крупными землевладельцами, а митрополиты и епископы располагали крупной долей политической власти, между прочим, являлись судьями для всего клира по всем вообще делам, а по целому ряду дел для всего населения вообще. Но поставленные на кафедру либо местным вечем, либо местным князем, древне-русские епископы зависели от этих светских политических сил—и мы уже видели на примере новгородских владык, как непосредственно отражалась на замещении архиепископской кафедры борьба новгородских партий. Монастыри, с другой стороны, часто самым фактом своего возникновения были обязаны князьям—у каждой княжеской династии был свой монастырь, в котором члены этой династии и хоронились, и постригались в иночество, если что-нибудь обрывало их политическую карьеру. Самостоятельный относительно мелких светских властей, такой монастырь составлял своего рода княжескую вотчину, и перед князьями никакой политической силы, разумеется, не представлял. Словом, зависимость церкви от государства в Киево-Новгородской Руси была лишь настолько меньше такой же зависимости в новейшее, после-петровское время, насколько и церковь вечевого города являлась демократической организацией. Освобождением от такой зависимости церковь была обязана событию, очень тягостному для остальной, не церковной России—завоеванию Руси татарами. Высший политический центр Руси переместился в Орду. За исключением Новгорода, епископ стал так же мало зависеть от веча своего родного города, как и князь. Но он перестал зависеть, в то же время, и от князя—по крайней мере, юридически: ибо юридически правовое положение церкви определялось теперь ханским *ярлыком*. В этих грамотах, данных «неверными» царями, привилегии русской церкви были закре-

плены так определенно и так широко, как еще ни разу не было при благоверных российских князьях: недаром на семь ордынских ярлыков ссылались еще митрополиты XVI века, защищая права церкви от захватов светской власти. Первый же из этих ярлыков, относящийся еще к XIII столетию, всего тридцатью, самое большее сорока годами позже разгрома, даровал православному духовенству не только самую широкую свободу исповедания, но и целый ряд «свобод» чисто гражданского характера. «Попы, чернецы и все богодельные люди» были освобождены как от татарской дани, так и от всех других поборов: «не надобе им дань, и тамга, и поплужное, ни ям, ни подводы, ни война, ни корм; во всех пошлинах не надобе им ни которая царева пошлина...» Привилегия распространялась и на всех церковных людей вообще, т.-е. и на мирских людей, состоявших в услужении церкви: «а что церковные люди: мастеры, сокольницы, пардусницы (звероловы), или которые слуги и работницы и кто ни будет из людей, тех да не замают ни на что, ни на работу, ни на сторожу». Одновременно за церковью были закреплены все недвижимые имения, находившиеся в данный момент в ее руках: «...земли, воды, огороды, винограды, мельницы, зимовища, летовища...» На ярлыке, данном Петру митрополиту ханом Узбеком, к этому прибавилась еще полная автономия церковного суда во всех делах, касающихся «церковных людей» в самом широком смысле слова: «а знает митрополит в правду, и право судит и управляет люди своя в правду, в чем ни буди: и в разбои, и в поличном, и в татьбе, и во всяких делах ведает сам митрополит един или кому прикажет» [1]). Ханские грамоты устанавливали, таким образом, самый полный *иммунитет* церкви, каким только она пользовалась в средние века где бы то ни было в Европе: восточному православию, в этом случае, не приходилось завидовать католицизму. Причины такого милостивого отношения «неверных» (сначала язычников, позже, с Узбека, магометан) завоевателей России к православной вере, ее представителям и даже ко всем, кто ей так или иначе служил, указаны в ярлыках вполне точно—и напрасно цитированный нами автор, спасая последние остатки церковно-исторического приличия, старается свести дело на необыкновенную веротерпимость татарских властителей. Все было гораздо

---

[1]) *Голубинский,* назв. соч., т. II, 1-я полов., стр. 33—34.

проще. «Чингиз царь и первые цари, отцы наши,—говорит, например, ярлык, данный Алексею митрополиту (около 1357 года),—жаловали церковных людей, *кои за них молилися*... Так молвя, написали есмя: какова дань не будет, ни пошлина, ино того тем ни видеть, ни слышать не надобе, чтобы во упокое Бога молили и молитву воздавали... И мы... есмя Алексея митрополита пожаловали. Как сядет на своем столе и *молитву воздаст за нас и за наше племя*...» «Молитва», конечно, предполагалась публичная, официальная—а не частная, про себя: эта последняя была делом совести пожалованного ханом владыки, а ни до чьей совести Орде, с ее строго практической точкой зрения на все, не было дела. Что было важно хану—это, чтобы его в России формально признавали государем, признавали те, чей голос имел вес и авторитет в глазах массы. И татары прекрасно понимали ту элементарную истину, что оружием можно завоевать страну, но держаться в ней при помощи одного оружия нельзя. Что церковь предоставляла в их распоряжение свое влияние на верующих, этого нельзя было не оценить, и естественно было наградить за это церковь привилегиями. А что эти последние стесняли власть местных светских правителей, это, конечно, Орде могло быть только приятно. Союз православной церкви и татарского хана на первых порах был одинаково выгоден для обеих сторон,—а что впоследствии он окажется выгоднее первой, чем последнему, этого татары не умели предусмотреть именно потому, что были слишком практическими политиками. Пока, они получали в свое распоряжение крупнейшую полицейскую силу, позволявшую заменить мечом духовным меч вещественный, который неудобно же было извлекать из ножен слишком часто. За исключением Твери, князья которой не ладили с церковью и были за то ею преследуемы, мы нигде не имеем за XIV век крупного *народного* восстания против хана; а когда началось княжеское восстание, под главенством Москвы, церковь уже давно успела прочно освоить себе все выгоды, предоставленные ей ярлыками.

Всякий феодал, чем он становился крупнее, тем меньше был склонен слушаться своего сюзерена, в особенности, когда он мог надеяться на поддержку сюзерена, еще более могущественного. Для русской церкви XIV века ближайшим сюзереном, который практически мог—и хотел, притом—вмешиваться в ее дела, был старший из северо-восточных князей, великий князь владимирский, не без содействия Орды ставший чем-то вроде сюзерена

всей северо-восточной Руси [1]). Но он сам был вассалом хана, и это давало прямое основание его непослушным вассалам искать помощи у последнего. В начале XIV века этих непослушных вассалов оказалось двое—одним был князь московский, другим—митрополит владимирский, глава если не всей русской (тут ему приходилось иногда делиться с митрополитом русско-литовским, распоряжавшимся в западных и юго-западных епархиях), то, по крайней мере, великорусской церкви. Не было ничего естественнее, как союз этих двух непослушных вассалов—непослушных потому, что самых сильных—и между собою, и с общим верховным сюзереном, ханом, против их ближайшего, местного феодального государя, которым был тогда князь тверской—он же и великий князь владимирский. Экономические пружины московско-тверской вражды слишком бросаются в глаза, чтобы нужно было долго их отыскивать. Москве и Новгороду нужны были непосредственные отношения—тверское княжество врезывалось между ними клином, и клин этот следовало устранить. Несколько глубже приходится искать причины антагонизма церкви и Твери. Тут важно, прежде всего, отметить, что Тверь, наравне с Новгородом и, кажется, одинаково с ним, под западноевропейским влиянием стала около этого времени (первые годы XIV столетия) одним из центров «еретического», как выражались тогда, «церковно-реформаторского», как сказали бы теперь, движения. Оно было направлено против того, что в средневековой Западной Европе называли *симонией*—против той стороны церковной феодализации, которая выражалась в продаже церковных должностей—т.-е., в сущности, права собирать церковные доходы. Симония вызывала протесты как со стороны массы верующих, лишенных возможности контролировать своих пастырей, купивших свои места и ставших как бы их полными собственниками, так и со стороны светской власти, которая не могла сочувственно смотреть на увеличение власти и доходов главы церковной организации, становившегося, благодаря этому увеличению, все более и более независимым. Великий князь Михаил Ярославич (1304—1318) и был, поэтому, ожесточенным и упорным врагом симонии и покровителем боровшихся с нею «ере-

[1]) До татар мы не встречаем такого постоянного главенства одного из князей над другими: гегемонии Владимира Мономаха, Мстислава или Андрея Боголюбского были фактом, а не правом. Ср. *Костомарова*, «Начало единодержавия в древней Руси».

тиков» из среды духовенства, один из которых, Андрей, стал епископом его стольного города, Твери. А так как митрополит Петр был несомненным, хотя и умеренным, «симониаком», то тем самым он должен был встать во враждебные отношения к великому князю, притом не столько лично (симонией он, повторяем, не злоупотреблял—и даже мог бы сослаться, в свою пользу, на нисколько не лучшие обычаи, господствовавшие тогда в восточной церкви вообще), сколько, как феодальный глава феодальной церкви. И это именно делало вражду совершенно непримиримой. Действуй св. Петр из личных корыстных мотивов, он, вероятно, нашел бы путь для компромисса со своим противником. Но тут речь шла о доходах митрополии и о независимости митрополита как снизу, так и сверху—и уступок быть не могло. Михаил Ярославич дважды пытался устроить громкий церковный скандал своему врагу—один раз собирал на него собор русских епископов и священников, другой раз возбуждал против него дело перед константинопольским патриархом. Но оба раза церковь, как целое, оказывалась на стороне своего главы, а духовные сторонники великого князя попадали в положение церковных отщепенцев—по-тогдашнему, почти что «еретиков». Ссорой двоих, как всегда, воспользовался третий. Московский князь Юрий Данилович, первый, усилившийся настолько, что смог начать тяжбу за великокняжеский стол, все время систематически тянул руку митрополита. И Петр, чувствовавший себя во Владимире, как во вражеском стане, отплатил своему союзнику совершенно по-средневековому: он приехал умирать в Москву, и своими мощами (от которых чудеса стали происходить немедленно—и московский князь принял все меры, чтобы они тщательно записывались) освятил столицу соперника тверских князей. Преемник Петра, грек Феогност, приехал на Русь, застал союз Москвы и церкви, как и антагонизм церкви и Твери, совершенно оформившимися. Ему оставалось только или принять сложившееся положение, или бороться с ним, к чему он не имел никаких поводов. Напротив, политика митрополита Петра явно приносила церкви добрые плоды—при них именно, как мы помним, иммунитет русской церкви получил окончательное завершение. Нет сомнения, что позиция церкви по отношению к тверскому князю была не без влияния в деле снискания ханских милостей: в Орде придерживались принципа: «разделяй и властвуй» и были весьма довольны, что на Руси имеются три соперничающих силы—Москва,

Тверь и церковь, на соотношении которых можно играть. Тем более, что «Тверь» означала в то же время и «Литву»: тверские князья явно тянули на запад и породнились с великими князьями литовскими, вовсе не подвластными хану [1]). Эти литовские князья рассматривали тверское княжество прямо, как свою землю,—и домогались, например, чтобы тверская епархия была подчинена их, литовско-русскому, митрополиту и изъята из ведения митрополита владимирского. Московские князья, на каждом шагу не устававшие давать яркие доказательства своего раболепства перед «царем», несомненно, были в глазах последнего много надежнее, нежели литовский форпост на верхней Волге. Дружба с Москвой означала, стало-быть, и дружбу с Ордой, а мы видели, как дорожила церковь этой последней дружбой. Словом, Феогност имел все основания держаться московско-татарского союза против литовско-тверского и засвидетельствовал свои симпатии вскоре весьма выразительно. В 1327 году тверской князь Александр Михайлович, сын противника Петра митрополита, как и отец, занимавший одновременно и великокняжеский стол во Владимире, нашел момент подходящим для того, чтобы стать во главе обще-русского восстания против татар. Восстание кончилось неудачей—Александр потерял великое княжение, отданное ханом Ивану Даниловичу Московскому, и должен был бежать. Он нашел себе убежище во Пскове—и новый великий князь, которому хан поручил полицейские обязанности в деле усмирения тверского восстания, не мог его оттуда достать. Тогда Иван Данилович обратился к содействию митрополита: Феогност наложил отлучение на весь город Псков, пока псковичи не выдадут мятежного тверского князя. Последний поспешил уехать в Литву, и отлучение было снято. В деле борьбы с противоордынской крамолой оба союзника—и светский, московский князь, и духовный, русский митрополит, действовали, таким образом, как нельзя более дружно. Хан не имел никаких оснований жалеть, что он оказывал так много покровительства и московскому княжеству, и русской церкви.

Мы изображаем отношения последних, как *союз:* обыкновенно изображают дело так, как будто церковь «поступила на службу» к московским великим князьям. Такая точка зрения является, опять-таки, одним из случаев модернизации древне-

---

[1]) История Литовской Руси см. ниже в главе, посвященной Западной Руси вообще.

русских отношений. Служебная сила—временно—по отношению к «царю» татарскому, церковь далеко еще не стала такой по отношению к будущему царю московскому. Здесь, в кругу русских отношений, вопрос о том, кто выше, светский глава или духовный, мог ставиться еще XVII веке: а в XIV и вопроса такого не ставилось, и Семен Иванович Гордый, которому ханом были отданы «под руки» все князья русские, прямо и просто рекомендовал своим наследникам слушаться во всем «отца нашего владыки Олексея»—Алексея митрополита, преемника Феогноста, точно так же, как он рекомендовал им слушаться и бояр—но уже после владыки. Еще из этого документа (завещания князя Семена) заключили, что митрополит Алексей был чем-то вроде председателя боярской думы, а из опубликованных позже греческих актов мы знаем, что после смерти в. кн. Ивана Ивановича, младшего брата Семена, Алексей был формально регентом московского княжества, которым фактически и управлял, вероятно, до самой своей смерти, в 1378 году. Когда мы читаем об «услугах», оказанных церковью московским князьям в их борьбе с союзниками—услугах, как сейчас увидим, не всегда опрятного свойства, мы должны твердо помнить это обстоятельство. Когда в 1368 году «князь великий Дмитрий Иванович с отцем своим, преосвященным Алексеем митрополитом, зазвал любовию к себе на Москву князя Михаила Александровича Тверского»—чтобы отдать спор его с Москвой на третейский суд, а потом «его изымали, а что были бояре около его, тех всех поимали и разно развели», то дело, очевидно, происходило так, что московское правительство, во главе которого Алексей именно и стоял, нашло удобным и приличным избавиться от своего противника при помощи такого рода западни—роль же восемнадцатилетнего Дмитрия Ивановича, и в зрелых годах решительностью не отличавшегося, была, как часто в подобных случаях, чисто символическая. Двоякие функции митрополита-регента делали в подобных столкновениях Москву особенно неуязвимой: совершив грех, она могла сама себе и отпустить его и, мало того, подвергнуть своих врагов, сверх светских неприятностей, еще и церковным карам всякого рода. Когда злополучному Михаилу Тверскому удалось бежать из московской ловушки и поднять против Москвы неизбежную Литву, Алексей, не будучи уже в силах добыть тверского князя физически, настиг его духовно, наложив на него и его союзников церковное отлучение. Иногда же удавалось ком-

бинировать действие обоих «мечей»—светского и духовного, и тогда эффект получался еще более поразительный. Так было, когда в стольном городе ослушного Москве нижегородского князя Бориса появился преподобный Сергий, затворивший все церкви, т.-е. наложивший интердикт на весь город,—а под стенами этого последнего вскоре затем появились московские полки. Борис, судя по его биографии, был очень упрям и очень уповал на свое родство с Ольгердом литовским (он был ему зятем), но тут он поспешил уступить.

В двух затронутых нами случаях московская политика определила направление политики церковной—это во-первых. Во-вторых, может получиться такое впечатление, как будто слияние в этой политике двух естеств, светского и духовного, было результатом случайного и личного обстоятельства, положения митрополита Алексея, как регента великого княжества московского. Но первое было вовсе не обязательно, а второе было бы не правильно. Мы имеем образчики такого же слияния и при преемниках Алексея—случаи, притом, еще более крупные, и где руководящая роль выпадает на долю церковных интересов. Такова была история распри митрополита с Новгородом из-за «месячного суда»—несомненный пролог к той катастрофе, которая покончила с новгородской свободой. Новгородский владыка, при всей самостоятельности своего положения, был все же подчиненный относительно митрополита владимиро-московского. Это выражалось, между прочим, в том, что владычный суд в Новгороде не был окончательным: на решения его можно было апеллировать к суду митрополита. Для разбора апелляционных жалоб последний приезжал в Новгород сам, лично, или присылал наместника раз в четыре года. Митрополит или его представитель оставались в городе месяц (отсюда и название «месячный суд»), и пользовались своим приездом, чтобы, кроме судебных пошлин, получить с новгородцев возможно больше денег в форме «кормов», подарков и т. д. Новейший церковный историк исчисляет весь возможный доход московской митрополии из этого источника в двести тысяч рублей на теперешние деньги. Уже под 1341 годом новгородский летописец записал жалобу на поборы митрополита,—тогда Феогноста: «тяжко бысть владыке и монастырям кормом и дары». Повидимому, аппетиты московского церковного начальства все росли, по мере роста его власти и влияния, потому что, четырнадцать лет спустя, новгородский

владыка Моисей жалуется уже императору и патриарху в Константинополь, прося у них «благословения и исправления о непотребных вещах, приходящих с насилием от митрополита». Но в Константинополе кто был сильнее, тот и правее. И новгородцы в конце концов решились обойтись своими средствами: в 1385 г. они на вече составили грамоту, на которой и поцеловали крест— у митрополита не судиться. В то же самое время владычный суд в Новгороде и получил окончательно то республиканское устройство, какое мы знаем: на нем появились выборные заседатели, по два от бояр и от житьих людей. Митрополит Пимен, как раз в это время бывший в Новгороде, уехал оттуда с пустыми руками. Та же участь семь лет спустя постигла и его преемника, Киприана. Его приняли с почетом и не отказали ему в подарках, но на его требование суда и пошлин ему было отвечено, что новгородцы «грамоты написали и запечатали, и *душу запечатали*». Распечатать новгородскую душу оказался бессилен даже сам патриарх, по настоянию Киприана отлучивший от церкви всю новгородскую епархию, со владыкою во главе. Тогда вмешался в дело московский великий князь Василий Дмитриевич. Его войска заняли Торжок и Волок Ламский, то-есть, по старому суздальскому обычаю, отрезали новгородским гостям путь «на Низ». Это оказалось действительнее церковного отлучения, и новгородцы выдали митрополиту крестоцеловальную грамоту. Но, по обыкновению новгородского веча, то была уступка на первый раз только юридическая: когда обрадовавшийся Киприан снова приехал в Новгород, как он ни бился, а ни копейки ему получить не удалось. Что он ни делал потом—раз пытался собирать собор на новгородского архиепископа, другой раз этого последнего «посадил за сторожа в Чудове монастыре»—«но месячного суда» так, повидимому, и не получил. И подчинение новгородской епархии московскому митрополиту было достигнуто не раньше, чем политически Новгород был подчинен Москве.

Но в истории этого подчинения церковные дела и интересы настолько переплетаются одни с другими, что представлять себе «падение Новгорода» вне связи с церковной политикой совершенно невозможно—и на этом, самом крупном эпизоде «собирательной» политики московских князей можно особенно хорошо видеть, насколько московское государство не только в идеологии было созданием церкви. Идеология совершенно точно отражала реальные отношения, при чем, нет надобности этого говорить,

реальная суть дела заключалась вовсе не в тех идеалах, носительницей которых официально заявляла себя церковь, а в этой последней, как известной феодальной организации. Прежде всего, на церковной почве произошел чрезвычайно выгодный для московской политики откол от Новгорода его меньшего брата, Пскова. Если московский митрополит эксплоатировал новгородскую церковь, то новгородский владыка стоял в таких же отношениях к церкви псковской. Перипетии этой церковной борьбы привели постепенно к тому, что псковичи пожелали иметь особого владыку—и с этим пожеланием обратились, конечно, в Москву, как церковный центр. Здесь их просьбы не удовлетворили—история с «месячным судом» в Новгороде отнюдь не располагала к увеличению числа вечевых церквей, но антагонизм Пскова и Новгорода на церковной почве использовали, заручившись союзом псковичей на случай московско-новгородской войны. Успех в самой этой последней, при Иван Васильевиче, был на добрую половину обеспечен тем, что в то время, как московский великий князь располагал вполне силами всех своих вассалов, Новгород был лишен военной подмоги со своих церковных земель, ибо митрополит московский, далеко не в первый уже раз открыто солидаризировался и в этом случае со своим князем, а у новгородского архиепископа не хватило духа пойти на явный церковный раскол. Наконец, и самая юридическая форма последнего разрыва Москвы и Новгорода была дана церковными отношениями: «благочестия делатель», великий князь Иван Васильевич, юридически, шел вовсе не против веча и новгородской свободы. Он шел восстановить православие, пошатнувшееся в Новгороде благодаря союзу последнего с «латинами», в лице польско-литовского короля Казимира. Это был крестовый поход, всем участникам которого заранее было обеспечено царствие небесное и прощение всех грехов, неизбежно связанных с войною. «Писание сице глаголет: воин на брани за благоверье аще убьет, то не убийства вменишася от св. отец». Псковичам великий князь писал в официальной грамоте: «чтобы великому Новгороду целованье с себя крестное сложили да на конь с ним (великим князем) всели на его службу, на великий Новгород, занеже *от православия отступают к королю, латинскому государю*». Ивана Васильевича, когда он отправлялся в поход, торжественно благославлял митрополит Филипп со всем «освященным собором»—«как Самуил благословлял Давида на Голиафа». Московское обще

ственное мнение глубоко прониклось такой точкой зрения на предмет — и стиль крестового похода выдержан московскою летописью бесподобно. «Неверные изначала не знают Бога: а эти новгородцы столько лет были в христианстве, а под конец начали отступать к латинству!—рассказывает летописец своим читателям.—Великий князь пошел на них не как на христиан, но как на иноязычников и на отступников от православия; *отступили они не только от своего государя, но и от самого Господа Бога*. Как прежде прадед его великий князь Дмитрий вооружился на безбожного Мамая, так и благоверный великий князь Иоанн пошел на этих отступников». И все мотивы отдельных деятелей столкновения сводились к той же основной линии. «Сия Марфа окаянная,—говорит летописец о женщине, стоявшей во главе противомосковской партии, — весь народ хотела прельстить, с правого пути их совратить и к латинству их приложить: потому что тьма прелести латинской ослепила ей душевные очи...»

«Тьма» религиозного фанатизма, действительно, настолько окутывает последние минуты Великого Новгорода, что настоящие причины катастрофы рассмотреть с первого взгляда довольно трудно. А они очень характерны—и напоминают нам о тех двух факторах объединительной политики Москвы, которые мы видели в своем месте, и которых отнюдь не надо забывать из-за того, что они отчасти по скромности, отчасти по непривычке формулировать свои требования литературно, уступили первое место людям, умевшим говорить «от божественного». То были московское боярство и московская буржуазия. Мы нигде, правда, не слышим их голоса: но за них говорят факты, и говорят не менее красноречиво, чем московские летописи. Первое же крупное столкновение Москвы с Новгородом, при великом князе Василии Дмитриевиче, в 1397—1398 годах, было чрезвычайно типичной «борьбой за рынки». Впервые Москва осмелилась отнять у Новгорода Двину и все Заволочье, главный источник пушного товара, по которому Новгород держал монополию по всей Европе. Это не был просто разбойничий набег—это была колониальная война большого стиля, в которой Москва действовала чрезвычайно осмотрительно, видимо, рассчитывая прочно закрепить за собою захваченную землю. До нас дошла жалованная грамота Василия Дмитриевича двинянам—крайне любопытная, потому что она показывает нам, в каком направлении развивались внутренние отношения в новгородском обществе, и как

пользовалась этим процессом московская политика. Грамота дана прежде всего *боярам,* и с первых же слов начинает заботиться о неприкосновенности бояр, не только физической, но и моральной: «а кто кого излает боярина, или до крови ударит, или на нем синевы будут, наместники присуждают ему по его отечеству бесчестие». Сам же боярин мог подвластного ему человека не только «излаять», но, в припадке барского гнева, и убить: «а кто осподарь огрешится, ударит своего холопа или рабу, и случится смерть, в том наместники не судят, ни вины (штрафа) не берут». Как видим, если низшие классы новгородского общества и склонны были с надеждой оглядываться на Москву, то феодальная Москва отнюдь не склонна была потворствовать низшим классам—старалась ассимилировать с собою те элементы новгородского общества, которые носили наиболее ярко выраженный феодальный характер. По отношению к Новгороду в XV веке происходило то же самое, что в половине XVII повторилось по отношению к Украине, а в первой половине XIX по отношению к Польше. Но из массы «черных людей» двинская грамота выделяет, однако же, один элемент, интересами которого, хотя и на последнем, а не на первом, месте она занимается не менее, чем интересами боярства. Этим элементом было двинское купечество: «а куда поедут двиняне торговати,—говорит великий князь,—ино им не надобе во всей моей отчине в великом княжении ни тамга, ни мыт, ни костки, ни гостиная, ни явка, ни иные некоторые пошлины. А через сю мою грамоту кто их чем изобидит или кто не имет ходити по сей грамоте, быти тому от меня от великого князя в казни». Грамота освобождает двинских торговых людей не только от поборов, но и от московской судебной волокиты—их должны были судить или их двинские власти, или непосредственно сам великий князь. Перспективы, развернутые Москвой перед двинскими землевладельцами и двинским купечеством, были настолько заманчивы, что на Двине образовалась московская партия, которой и удалось-было провести присоединение богатейшей новгородской колонии к московскому великому княжеству. Но это было бы такой катастрофой для Новгорода, что в борьбе с захватом Двины он напряг все свои силы—и в конце концов выиграл войну. Двина и Заволочье остались пока за новгородцами—Москва отступила на время, твердо решив, однако, что отложенное еще не значит потерянное. Два раза после этого двинские эмигранты с московской ратью по-

являлись в Заволочье — «на миру», «без вести», т.-е. внезапно, без объявления войны, грабили, убивали и с полоном скрывались во владениях великого князя. Только замешательства на самом московском столе, при Василии Темном, положили конец этой колониальной войне. Когда же в 1471 году Иван Васильевич пошел своим крестовым походом на Новгород, особый отряд московского войска был отправлен на Двину, которой он и завладел без большого труда: новгородский летописец прямо обвиняет двинян в измене. Но в это время не стоило слишком хлопотать о захвате одной из новгородских колоний—когда сама метрополия со всеми колониями готовилась стать московской добычей. А едва она такой стала, московские князья немедленно положили конец коммерческой самостоятельности Новгорода: в 1494 году, придравшись к ничтожному предлогу, Иван III закрыл немецкий двор в Новгороде, арестовав при этом 49 купцов и конфисковав товаров на 96.000 марок серебра (около полумиллиона золотых рублей на теперешние деньги). Этим разумеется не прекратилась торговля с Западом: но ее центр перешел в Москву—московская буржуазия стала на место новгородской одновременно с тем, как Новгород окончательно и бесповоротно стал вотчиной московского князя.

Симпатии московского общественного мнения к «благочестия делателю», великому князю Ивану Васильевичу, имели, как видим, очень материальное основание. Московский посад не мог не сочувствовать походу, который передавал торговую гегемонию над Русью в его руки. Но еще больше должны были сочувствовать делу его непосредственные руководители—московские бояре. Поскольку для московской буржуазии Новгород являлся торговым соперником, обладателем лакомых кусков, на которые зарилась она сама—постольку для боярства богатая серебром область была завидным источником всякого рода поборов и пошлин: и недаром эти последние служили таким же яблоком раздора, как и Двина. Денежная эксплоатация Новгорода началась еще раньше, чем его колониальные войны с Москвой. Уже в 1384 году, после разгрома московского княжества Тохтамышем, Дмитрий Иванович попытался перевалить на Новгород часть (быть может, бóльшую) татарской контрибуции, обложив новгородцев так называемым «черным бором»—поголовной податью. На этот раз новгородцам удалось уклониться от платежа—но в Москве не забыли своей претензии, и, два года спустя, оправившись от

татарского разорения, москвичи пришли ратью под самый Новгород. Теперь Дмитрию Ивановичу удалось получить 8.000 (по-нынешнему 800.000 золотых) рублей. Эта контрибуция послужила исходным пунктом дальнейшей распри: новгородцы рассматривали ее, как нечто экстренное и исключительное, московское же правительство видело здесь прецедент, которым и пользовалось все чаще и чаще. Черного бора требовали и Василий Дмитриевич, и Василий Васильевич—и под конец Новгород стал платить его даже, повидимому, без лишних споров, особенно, если из Москвы бора «просили» учтиво и вежливо. Но у московских князей аппетит рос вместе с едой. Когда, во время распри Василия Васильевича с дядей Юрием и его сыновьями, Василием Косым и Шемякой, положение князя на Москве стало не прочно,—а перемена московского князя обозначала и перемену новгородского, ибо династия Калиты, вслед за великим княжением владимирским, успела монополизировать в свою пользу и новгородский стол—каждый из временных государей спешил насладиться своим часом, и Василий Косой, просидев год в Новгороде, просто-на-просто «много пограбил, едучи по Мсте, и по Бежицкому верху и по Заволочью». Но и будучи претендентом, каждый из спорящих князей искал случай сорвать с богатого города кое-что себе, хотя бы под тем предлогом, что Новгород, державший строгий нейтралитет в этих домашних московских распрях, принял к себе его соперников. На таком именно основании Василий Васильевич добился от новгородцев новой контрибуции в 8.000 рублей, как и его дед—придравшись к тому, что новгородцы приняли его врага, Шемяку. Нельзя не заметить, что сопротивление города этим вымогательствам становилось все более и более вялым: по мере того, как «московское княжество» и «северо-восточная Русь» сливались в одно понятие, экономически Новгород все более и более подпадал в двойную зависимость от московского великого князя. С одной стороны, Новгород по-прежнему не мог обходиться без низового хлеба, и Москва всегда могла принудить его к повиновению голодовкой, а надеяться на то, что выручит кто-нибудь из других князей, не приходилось, потому что ни один из князей не смел теперь итти против Москвы. С другой стороны, «низ» был нужен новгородскому купцу, как рынок сбыта, а этот «низ» представлял теперь собою одно государство под главенством князя московского. Поссорившись с Москвой, теперь негде было ни продавать, ни покупать. В Москве понимали это—и наступали на вечевые

вольности все ближе и ближе, не потому, чтобы сознавали теоретическую несовместимость веча с московскими порядками или хотя бы интересовались этой стороной дела—а потому, что вечевые порядки стесняли финансовую эксплоатацию страны. Уже Василию Темному удалось фактически упразднить суверенитет Новгорода, добившись, после похода 1456 года, лишний раз доказавшего военную слабость новгородской буржуазии, того, что последняя отказалась от «вечевых грамот»—признала, другими словами, что городская община одна, без санкции великого князя, не может издавать законов. Грамоты теперь имели силу только, если к ним была привешена печать великого князя. А практический смысл этого ограничения становится нам совершенно ясен, когда мы узнаем, что тем же договором 1456 года «черный бор» был превращен в постоянную подать, и за великим князем были закреплены судебные штрафы (раньше, повидимому, «утаивавшиеся»—т.-е. по большей части остававшиеся в новгородском кармане), «дары» от волостей и все пошлины по старине. Иван III принципиально немного мог сюда прибавить. Характерно, что после своего «крестового похода» в 1471 году он оставил всю новгородскую администрацию в прежнем виде. В договоре с ним Новгорода после этой войны—последнем договоре, который заключил еще вольный, номинально, город,—сохранены все стереотипные ограничения княжеской власти: и суда без посадника не судити, и волостей без него не раздавать, и держать волости мужами новгородскими. Все это мало интересовало победителя—главное для него было в том, чтобы «суда» (т.-е. судных пошлин) «у наместников не отнимати»—да «виры не таити», да чтобы Новгород делился с ним, великим князем, новыми штрафами, что ввела «новгородская судная грамота»; да сверх того он взял контрибуции уже 15.000 рублей (полтора миллиона). Главный предлог дальнейшей распри—перенесение апелляционного суда в Москву, вопреки правилу всех договоров: «новгородца на Низу не судити»—сводился тоже к финансовому вопросу, и новгородцы знали, что делали, когда предлагали Ивану Васильевичу, за возвращение к прежнему порядку, по 1.000 рублей каждые 4 года. Но великий князь рассчитывал и, вероятно, был прав, что сохранение в московских руках самого *права* суда даст больше. Окончательный разгром города, выразившийся в переводе в «Низовские земли» 7.000 человек житьих людей, зажиточной новгородской буржуазии, отчасти отвечал интересам московских конку-

рентов в этой последней, отчасти имел в виду подсечь под корень всякое сопротивление финансовой эксплоатации. Район «кормлений» московского боярства, расширившись вдвое географически, захватил теперь в свои пределы богатейшую область тогдашней России—и оно так широко использовало открывшиеся перед ним возможности, что тридцать лет спустя после покорения, сын «благочестия делателя», великий князь Василий Иванович должен был ограничить судебную власть своего наместника в Новгороде, опасаясь, что иначе земля вовсе опустеет.

Государственный переворот, произведенный в Новгороде Иваном III, был одним из наиболее ярких моментов «собирательной» политики. За исключением борьбы с Тверью, нигде более не играла такой роли *открытая сила.* Но широкое применение этой последней, само по себе, еще не дало «покорению Новгорода» исключительного характера. Иван Васильевич не для того ходил войною на Новгород, чтобы упразднить новгородскую автономию: он упразднил ее только потому, что она мешала ему быть в Новгороде «таким же государем», как на Москве—т.-е. собирать доходы таким же порядком, как и там. Он бы, может быть, и вече оставил—после первой своей победы, в 1471 году, он его не тронул—если бы была какая-нибудь надежда добиться от него «соблюдения прав» московского великого князя. Только сознание того, что вече всегда будет опорой анти-московской крамолы, заставило Ивана Васильевича в этом пункте отступить от «старины», на которую он так любил ссылаться и, конечно, не из одного лицемерия. Как и все потомки Калиты, он менее всего был революционером. Боярский совет, после произведенной среди новгородского боярства чистки, казался более безобидным—и он остался, мы не знаем, правда, надолго ли. В 1481 году договор с ливонским орденом заключил, как бы то ни было, именно он, как бывало и в старое время.

Этот консервативный характер московского завоевания нашел себе особенно яркое выражение в истории подчинения Москве Пскова. «Младший брат» Великого Новгорода, в силу своего исключительно благоприятного географического положения—близости к немецким колониям на восточном берегу Балтики—экономически скоро перерос свой стольный город. В начале XVI века во Пскове, только в одном «Застенье», т.-е. части города, окруженной стенами, без предместий, считалось 6.500 дворов. Это дает не менее 30.000 населения только самого города, т.-е.

тысяч 50—60 жителей во всем Пскове, вместе с предместьями. Для средних веков это был громадный центр—больше его, в эту эпоху, была одна Москва; Новгород, вероятно,—меньше. Уже за двести лет раньше Псков был настолько велик, что новгородцы не смогли удержать его на положении своего пригорода, и договором на Болотове (1348 г.) отказались от права посылать во Псков своего посадника и требовать псковичей к своему суду. С тех пор псковская земля стала самостоятельным княжеством, которое, однако же, очень скоро—с последних лет XIV века—начинает попадать в зависимость от московских великих князей. Эти последние и в этом случае представляли торговые интересы центральной России, для которых нужно было в каком-нибудь пункте нарушить новгородскую монополию торговли с Западом и создать Новгороду конкурента в лице его «младшего брата». С другой стороны, псковичи, политически слишком слабые, чтобы исключительно собственными силами отстоять свою экономическую независимость от своих немецких соседей, привыкли ждать военной помощи от Москвы. Новгород, в силу самых условий возникновения псковской автономии, был скорее врагом, чем союзником—да в это время (XIV—XV век) и в военном отношении был далеко уже не то, что при Мстиславе Торопецком. Ослабление демократии дало, в этом случае, самые невыгодные результаты: Псков, более военный, благодаря своему пограничному положению, сохранил и более демократическое устройство; «черные люди» в нем еще в самом конце XV века сохранили влияние на дела и, что особенно характерно, вече, где участвовали эти «черные люди», назначало военных командиров городской рати [1]). Соответственно с этим власть князя в Пскове была еще теснее ограничена, нежели в Новгороде, если только вообще можно говорить о «княжеской власти» в псковской республике. «Псковский князь,—говорит только-что упомянутый нами исследователь, которого никак нельзя заподозреть в преувеличении псковского демократизма,—был только главным слугою веча, исполнял разнообразные поручения последнего, совершал с псковичами походы на неприятеля, строил города, принимал участие даже в постройке церквей; но кроме судебной деятельности, служившей для него

[1]) Известный специалист по истории Пскова, покойный варшавский профессор Никитский, в своей работе «Внутренняя история Пскова», считает, наоборот, псковское устройство более аристократическим, чем новгородское, но доказательств этому никаких не приводит; а приводимые им факты рисуют совершенно противоположную картину.

главным источником доходов, он не имел никакой определенной роли в общественных делах, ни в законодательстве, ни в управлении» [1]).

Именно это политическое ничтожество псковского князя и позволило псковичам отнестись равнодушно к такому факту, что, помимо Пскова, князь стал присягать великому князю московскому, превратившись, юридически, в его наместника. Не все ли было, в сущности, равно, в качестве чего этот кормленщик псковской общины ходил в походы и строил церкви? Но последствия очень скоро показали, что эта почти незаметная юридическая перемена была симптомом очень серьезного изменения в фактическом положении города. Сначала князь только присягал Москве, а назначал его Псков. Потом стал и назначать великий князь; псковичи попробовали-было удержать за собою право смещения, но из Москвы им объяснили, что это значит «бесчествовать» великого князя в лице его наместника, и предложили, в случае недовольства последним, жаловаться на него в Москву. Фактически, князь перестал зависеть от веча, при чем оно само, вероятно, не сумело бы сказать, как это случилось и когда началось. Утешением оставалась крайняя ограниченность прав этого, теперь уже не «республиканского магистрата», а великокняжеского губернатора. Но едва Иван Васильевич справился с Новгородом, как он принялся за расширение привилегий и своего псковского агента. Расширение коснулось, само собою разумеется, финансовой области—псковский князь потребовал себе «наместничьей деньги» и увеличения судебных пошлин. Вече отказало, ссылаясь на «псковскую пошлину». Иван Васильевич потребовал документальных доказательств этой последней. Псковичи предъявили грамоты, подписанные их прежними выборными, князьями, но в Москве этим грамотам не придали никакого значения: «то грамоты не великих князей,—сказали там псковским посланным,—и вы бы князю Ярославу (наместнику) освободили, чего он у вас ныне просит». Тут впервые для Пскова выяснилось, какою дорогой ценой он купил покровительство московского великого князя: было очевидно, что псковская пошлина станет нарушаться всякий раз, как она не сойдется с пошлиной московской. Чтобы не оставалось в этом сомнений, великий князь прямо объявил, что суд в псковской области будет впредь твориться не только по псков-

---

[1]) *Никитский*, названное сейчас сочинение, стр. 120.

ской старине, но и по его, великого князя, «засыльным грамотам»: рядом с вечевым приговором и выше его стал «высочайший указ» московского государя. Совершенно незаметно псковичи из «граждан» превратились в «подданных»... При этом и вече, и боярский совет, и выборные псковские судьи—все это оставалось на своем месте: но перевес силы был настолько явно на стороне Москвы, что сопротивляться Псков не решился. Городская масса всколыхнулась только, когда из нового юридического порядка Москва сделала практический вывод: до сих пор крестьянство псковской области, псковские «смерды», были, как и в Новгороде, подданными городской общины—платили в ее пользу подати и отправляли натуральные повинности. Из наших источников не совсем ясно, что именно послужило поводом к увеличению этих податей и повинностей; быть может, вече надеялось переложить на сельское население те новые поборы, которые появились вместе с московскими порядками. Смерды заволновались, и московский наместник оказался на их стороне. Апелляция к псковской «пошлине» дала точь-в-точь такие же результаты, как и прежде: найденные в городском «ларе» (архиве) грамоты оказались, в глазах Москвы, совершенно неубедительными. Псковичи были так ошеломлены этим новым покушением на права городской общины, что в первую минуту заподозрили посаженного Москвою к ним князя в прямой подделке документов. Потом ярость веча обрушилась на посадников, одного из которых убили, а троих, бежавших, заочно приговорили к смертной казни—составили на них «мертвую грамоту». Затем, несколько придя в себя, ревнители псковской «старины» сами, повидимому, прибегли к фальсификации документов: каким-то попом при чрезвычайно подозрительных обстоятельствах была якобы найдена грамота, уже бесспорно, по мнению псковичей, устанавливавшая права города на дань и труд смердов. Но Иван Васильевич решительно отказался слушать что бы то ни было: и Псков вынужден был не только уничтожить «мертвую грамоту» на трех провинившихся перед вечем посадников, но и просить прощения у великого князя за то, что осмелился наказать непослушных смердов. Город оказался лишенным всяких финасовых прав на окружающую его страну— и все полномочия коллективного господина по отношению к псковским «волостям» перешли к московскому государю: смерды стали теперь крепостными его, как раньше они были крепостными вечевой общины.

После всего этого формальное упразднение псковской независимости было только вопросом времени: Но Иван Васильевич не только не спешил с ним, а, напротив, готов был, повидимому, оттянуть этот момент на неопределенный срок, создав из Пскова удел для своего старшего сына Василия, которому он сначала не хотел оставлять московского стола. До такой степени «собирателю» была чужда идея единого национального государства! Защитниками этой последней идеи неожиданно оказались сами псковичи, сообразившие, что отдельный князь обойдется им много дороже простого наместника, и потому упорно державшиеся теперь уже за московскую «пошлину». Когда Василий Иванович сделался великим князем, он это и припомнил псковскому вечу, закончив, в то же время, финансовую ассимиляцию Пскова с остальными московскими владениями. «Лучшие» псковичи, из рядов, преимущественно, буржуазии—землевладельческая аристократия в Пскове далеко не была так сильна, как в Новгороде—были сведены в центральную Россию, а на их место появилось триста купеческих семей из Москвы и ее пригородов. Вместе с ними во Псков пришли и московские торговые порядки: *тамга* и, вероятно, другие торговые налоги и пошлины. Раньше псковичи торговали у себя беспошлинно и добивались права беспошлинного торга даже на землях ливонского ордена—и то, и другое ставило их в привилегированное положение относительно московских купцов. Теперь и эта привилегия была отобрана.

Но финансово-экономическим завоеванием Пскова (оно было дополнено введением московской монеты вместо туземной, псковской) Василий Иванович и ограничился. И после него мы встречаем в Пскове, как и в Новгороде, выборных судей, старост с целовальниками, присяжными. Мало того: может быть, по примеру бывших вечевых общин, эти учреждения были распространены в XVI веке на все московское государство. Во всяком случае, в *этом* отношении не пришлые москвичи вводили новые порядки, а наоборот: среди псковских судебных старост половина выбиралась из переведенных в Псков московских купцов. И этим сохранением суда в руках буржуазии московское господство не шло вразрез с местными порядками, а закрепляло то, что самостоятельно складывалось уже на местах: в Новгороде народ, как мы знаем, был уже давно устранен от суда, а во Пскове развитие шло в том же направлении. Видеть тут какую-либо сознательную бережливость по отношению к местным особенностям, ко-

нечно, не приходится. Но отмечать этот консерватизм московского завоевания нужно, чтобы не впасть в очень распространенную ошибку, не представить себе «собирания Руси» образованием единого государства. Политическое единство «великорусской народности» мы встречаем лишь в начале XVII века, под влиянием экономических условий, много более поздних, чем «уничтожение последних уделов». Московское государство XVII века было результатом ликвидации феодальных отношений в их более древней форме, а московские князья, до Василия Ивановича включительно, тем менее могли думать о такой ликвидации, что они сами были типичными феодальными владельцами. Вся их забота сводилась к исправному получению доходов—и так же смотрела на дело вся их администрация. Наши *Уставные грамоты* начала XVI века—не что иное, как такса поборов такого же типа, как в любой боярской вотчине. Сравните грамоту, которой жалует своих «черных крестьян» великий князь Василий Иванович, с жалованной грамотой, какую дал Соловецкий монастырь своим крестьянам [1])—и вы не заметите разницы. То, что впоследствии стало функцией полицейского государства, осуществляется самими жителями: «а доищутся душегубца, и они его дадут наместником и их тиунам», и дальше, через своих уполномоченных, «старосту и лучших людей», будут следить, что с пойманным будут делать волостель и его тиуны. Эти же последние, в свою очередь, смотрели только за тем, чтобы в волости «самосуда» не было: «а самосуд то: кто поймает вора с поличным да отпустит прочь, а волостелю и его тиуну не явит, а его в том уличат»... Самосуд—попытка утаить судебные пошлины. «Управление» московского великого князя, как и «управление» его удельного предка, было особой формой хозяйственной деятельности—и только. Когда пришлось в широком масштабе организовать полицию безопасности, ее возложили «на души» местных жителей, а наместников и волостелей отставили по совершенной их к этому делу неспособности. И сами *волости,* собравшиеся в таком большом количестве в руках потомков Калиты, даже территориально, продолжали сохранять свою прежнюю удельную физиономию. За выдачу замуж дочери из одной великокняжеской волости в другую по-прежнему приходилось платить «выводную куницу». Границы этой волости также оставались неприкосновенными—и управляли ей

---

[1]) Акты Археограф. эксп., т. I, №№ 144, 180, 221.

очень часто те же самые люди. Оболенское княжество еще в половине XVI века было все в руках князей Оболенских, давно ставших слугами московского князя. Великий князь ярославский и после аннексии Ярославля Москвою, в 1463 году, остался наместником великого князя московского—а после его смерти эту должность унаследовал его сын. «В 1493 г., когда московский воевода взял у Литвы Вязьму и князей Вяземских привели в Москву, великий князь их пожаловал их же вотчиною Вязьмою и повелел им себе служити» [1]). Если к этому прибавить, что и раньше самостоятельность мелких удельных князей никогда не была полной—внешние, дипломатические сношения, в особенности с Ордою, всегда составляли прерогативу великого князя; право начинать войну и заключать мир самостоятельно тоже имел только он; татарскую дань собирал тоже он, и что он с нею делал, касалось только его—то мы поймем, что медиатизированный князь, перестав быть самостоятельным государем, мог и не заметить этого, продолжая давать жалованные грамоты «по старине, как давал дед и отец его», еще поколения два спустя после медиатизации. Прибавим, что ему трудно было бы и растолковать, что он перестал быть государем,—да он и продолжал им быть, поскольку был государем всякий землевладелец.

Но если в практике великого княжества московского не было ничего, к чему могла бы привязаться идея единой российской монархии, то было на-лицо учреждение, в котором единство было практически достигнуто—где, стало-быть, было место и для теории единодержавия. Раньше, чем московский князь стал называть себя царем и великим князем всея Руси, давно уже был митрополит всея Руси: церковное объединение России на несколько столетий старше политического. Мы видели, как этому объединению помогала татарщина, своими ярлыками создававшая из русской церкви государство в государстве. Мы видели также, как ускорялся этот процесс финансовой организацией церкви—как единство митрополичьей казны приводило, само собою, к подавлению церковной автономии даже там, где для нее была почва. Роль церкви, как могучей организующей силы, подмечена давно, но недостаточно оценена даже на западе: идеализм нигде не свил себе такого прочного гнезда, как в церковной истории, по причинам вполне понятным. Экономическое значение церковных учрежде-

---

[1]) *Ключевский*, «Боярская Дума», изд. 3-е, стр. 233—240.

ний обычно выводилось из их религиозных функций—хотя сами средневековые церковные документы, в своей наивности, не умеют скрыть, что дело происходило совсем наоборот. Ростовщичество древне-русских монастырей, которое мы могли наблюдать уже в XII веке и которым полна церковная полемическая литература вплоть до XVI, никак, конечно, нельзя связать логическою связью с теми чудотворными иконами и мощами, какие в тех монастырях хранились. Первые крупные землевладельцы современного типа, находимые нами в XV—XVI веках, были те же монастыри; первое применение принудительного крестьянского труда, предвосхищавшее будущий расцвет крепостного права, дают нам монастырские имения; первыми крупными торговцами были опять-таки монастыри [1]). Употребляя красивое выражение историка боярской думы, церковь «держала в руках нити народного труда» гораздо раньше, чем этого достигли светские землевладельцы—и гораздо лучше их. Изучая аграрный кризис XVI века, мы увидим, как богатства и земли плыли в руки церкви и уплывали из рук боярства: борьба против церковного землевладения, а косвенно и вся «нестяжательская» полемика не имеют другого основания, кроме этой конкуренции светского и духовного помещика. Но экономическая прогрессивность средневековой церкви вела к тому, что она и в политической области, и у нас, и на Западе шла впереди светского феодального общества. Теорию общественного договора западно-европейский читатель XI века впервые узнал от богослова. У нас, в России, теория политического единодержавия, осмыслившая и связавшая в одно стройное целое пеструю практику ощупью двигавшегося «собирания», тоже обязана своим возникновением всецело церковной литературе.

Соотношение светской и церковной властей и необходимость первой для последней, хорошо и с большою откровенностью, резюмированы в одном нашем памятнике XVI века, которого с других сторон нам еще не раз придется касаться—так называемой «Беседе Валаамских чудотворцев». «Сотворил Бог благоверных царей и великих князей и прочие власти на воздержание мира сего для спасения душ наших,—говорит «Беседа».—*Если бы не царская всегодная гроза,* то по своей воле многие не стали бы

---

[1]) Выше уже говорилось о том, что в киевской Руси торговля таким предметом первой необходимости, как *соль,* сосредоточивалась в руках Киево-Печерского монастыря; в московскую эпоху она была в руках Соловецкого монастыря, продававшего ежегодно до ста тысяч пудов соли.

каяться никогда, *и попов бы не слушались, и даже прогнали бы попов».* И в западной церковной литературе трудно найти лучшее выражение средневекового церковного взгляда на светское государство, как на *руку* церкви («плеща мирские»), обязанную силой подчинять церковной дисциплине тех, кто не слушался церкви по доброй воле. Отсюда с неизбежной логикой вытекало то, о чем наставлял еще в конце XIV столетия константинопольский патриарх Антоний москвичей, вздумавших было не поминать на ектеньях византийского императора, т.-е. переставших за него молиться. «Невозможно христианам иметь церковь, но не иметь царя. Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении между собой, и невозможно отделить их друг от друга». Отношение между этими двумя неразрывными частями христианского мира византийской литературой давно было уподоблено тому, «какое существует между телом и духом». «Как жизнь человеческая идет правильно только в том случае, когда душа и тело находятся в гармонии между собой и *тело следует разумным велениям души,*—говорит «Эпанагога» патриарха Фотия,—так и в государственном организме благополучие подданных и правильное течение их жизни наступают тогда только, когда священство и императорство находятся в согласии». Из вежливости, придворный богослов византийского императора не договаривает, кому принадлежит право восстановлять «согласие» в случае спора, но выше им употребленное сравнение достаточно красноречиво. «Не от царей начальство священства приемлется, *но от священства на царство помазуются»,* более бесцеремонно разъяснял впоследствии эту истину царю Алексею патриарх Никон.

Эти богословские понятия в Византийской империи давно стали почти—а отчасти даже и вполне—юридическими нормами. Фактическое соотношение сил на Востоке, где православию приходилось отстаивать свое существование от целой тучи ересей и в этой борьбе поминутно звать на помощь «светскую руку», помешало развивать до конца аналогию души и тела: тело здесь было слишком нужно душе. Но нераздельность церкви и государства нашли себе в Византии другое выражение: нельзя было оставаться подданным императора, перестав быть верным сыном церкви. Только православный христианин мог быть полноправным гражданином, и отлучение от церкви было равносильно лишению всех прав состояния. Наоборот, принятие православия делало человека, хотел он этого или не хотел, и даже, ведал он это или

не ведал, подданным императора. Принятие Владимиром христианства в X веке было немедленно истолковано в Константинополе, как подчинение Руси Восточной империи. «Так называемые руссы,—писал тот же патриарх Фотий,—в настоящее время променяли эллинское и нечестивое учение, которое содержали прежде, на чистую и неподдельную веру христианскую, с любовию *поставив себя в чине подданных* и друзей (наших)...» Киевский князь получил определенное место в византийской придворной иерархии, став ***стольником*** императора, и последний в глазах не только своих подданных, но и западных европейцев, сделался «сюзереном Руси»: ему жаловались на неправомерные поступки русских властей, когда не могли найти на них управы у туземного князя. Символом этой вассальной зависимости Руси от «царя» и служило поминовение его в ектеньи, на прекращение чего жаловался патриарх Антоний в цитированной нами выше грамоте.

Реально, как мы знаем, удельная Русь зависела вовсе не от этого царя, а от другого, от татарского хана. Но теория патриарха Фотия отнюдь не была забыта, а к последним годам XIV века, когда о ней напомнил патриарх Антоний, обстоятельства складывались так, что являлась возможность использовать ее непосредственно в пользу московского великого князя. Сам византийский патриарх оговаривался, что царей, «которые были еретиками, неистовствовали против церкви и вводили развращенные догматы», христиане могут и отвергать. По всей вероятности, он имел в виду настоящих еретиков, в точном богословском значении этого слова. Но примитивный ум московских книжников, горделиво заявлявших о себе, что они «эллинских борзостей не текли и риторских астрономий не читали, ни с мудрыми философы в беседе не бывали», ставили понятие «ереси» гораздо шире. Всякий, кто, в чем бы то ни было, был не согласен с православной церковью, хотя бы только в обрядах, был еретик. А особенно злыми еретиками были «латиняне», т.-е. католики: и тут уже, кроме примитивности древне-русского богословского мышления, добрую долю ответственности несли на себе и учителя русских, греки. Крестив Русь в разгаре своей борьбы с западной церковью, и не без конкуренции с этой последней, византийское духовенство постаралось внушить своей новой пастве самое совершенное отвращение к «латине», какое только можно вообразить,—и церковные поучения XI—XII в.в. ставят даже вопрос: можно ли есть из одной посуды с католиком, не осквернившись? Греки и не

подозревали тогда, что им самим может когда-нибудь грозить опасность подпасть обвинению в «латинской ереси». Но когда в XIV—XV веках константинопольские императоры, стесненные турками, обратились за помощью на запад, и, между прочим, к папе—от которого они ждали организации крестового похода против турок,—поведение их стало представляться их русским «подданным» крайне сомнительным. Когда же на Флорентинском соборе (1439 года) царь и патриарх вынуждены были, ради обещанной им военной помощи, подписать унию с западной церковью, а пятнадцать лет спустя Царьград был взят турками, смысл этих явлений и их взаимная связь не оставляли уже у русских книжников никаких сомнений. «Разумейте, дети,—писал в 1471 г. митрополит московский Филипп в своей увещательной грамоте новгородцам,—царствующий град Константинополь и церкви Божии непоколебимо стояли, пока благочестие в нем сияло, как солнце. А как оставил истину, да соединился царь и патриарх Иосиф с латиною, да подписали папе золота ради, так и скончал безгодно свой живот патриарх, и Царьград впал в руки поганых турок».

Но, помимо этого отрицательного вывода, падение Константинополя открыло перед политической фантазией московских богословов положительные перспективы необычайной широты и грандиозности. В самом деле, ежели центр вселенского православия изменил и перешел к латинам морально, за что и был наказан физическим пленением со стороны агарян, то к кому же перешла роль этого центра? В Москве имели основание думать, что за этим городом достаточно заслуг перед православной верой, чтобы ей не показалось тяжко даже и наследство Константинополя. Недаром же, когда митрополит Исидор явился из Флоренции обратно на свою московскую кафедру униатом, великий князь Василий Васильевич так энергически «поборол по божьей церкви и по законе и по всем православном христианстве и по древнему благолепию»—и впадший в латинскую прелесть иерарх не только «ничто же успе» на Москве, но, просидев малое время в подвале под Чудовым монастырем, должен был украдкою и переодевшись бежать за границу обратно. За этот подвиг православный преемник Исидора, митрополит Иона, первый поставленный собором русских епископов, а не присланный из Константинополя, впервые применил к Василию Васильевичу титул, которого прежде удостоивались только византийские императоры да татарские

ханы, назвав его «боговенчанным *царем* всея Руси». На место Константинополя естественно должна была стать Москва. «Сия убо вся благочестивая царствия, греческое и сербское, басанское и арбаназское Божием попущением безбожные турци поплениша и покориша под свою власть,—заключает современная «Повесть о разорении Царьграда безбожными агарянами»,—наша же Русийская земля, Божией милостью и молитвами Пречистые Богородицы и всех святых чудотворцев, растет и младеет и возвышается... Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быть».

Со значением этой знаменитой теории о «Москве—третьем Риме» в истории русских религиозных представлений читатели познакомятся в другом месте. Но ее политические,—точнее, политико-литературные,—следствия были не менее обширны. Вышивая далее по этой канве, фантазия русских книжников создала целый роман, в котором не без художественности откристаллизовалась идея преемства московского царства от византийского императорства. В этой окончательной форме мы и возьмем эту идею, не анализируя ее состава детально и не прослеживая постепенных этапов ее развития: и та, и другая задача более относятся к истории русской литературы, чем к сюжету настоящей главы «Русской истории».

В самом начале XVI века к киевскому митрополиту Спиридону, прозванному за свой сердитый нрав «Сатаной», обратился один его знакомый, «ищучи от него неких прежних лет от историкии». Бывший киевский митрополит—он проживал тогда не то на покое, не то в заключении в Ферапонтовом Белозерском монастыре—был уже очень стар, ему был 91 год от роду. Просьбу тем не менее он исполнил и послал своему любознательному знакомому нечто вроде конспекта всемирной истории, необычайно своеобразного состава. Начинается изложение Спиридона, как водилось в те времена, с расселения сыновей Ноевых по лицу только-что просохшей от Всемирного потопа земли. Проследив судьбу Ноева потомства до единственного уцелевшего в его памяти египетского фараона «Сеостра» (Сезостриса Великого, т.-е. Рамзеса II), автор очень логично переходит к Александру Македонскому, который, по общепринятой в средние века легендарной его биографии, был сыном не македонсокго царя Филиппа, а египетского жреца Нектанеба. Связав таким путем греческого завоевателя Египта с туземной династией, совершенно естественно

было перейти к греческим государям последних веков перед Р. Хр.—к Птоломеям. Но так как их было много, по конспекту—20, то автор и решил их «преминуть», спеша к самому интересному для него пункту рассказа. У последнего Птоломея была дочь, «премудрая Клеопатра». «В то время Юлий, кесарь римский, послал своего зятя, стратига римского, именем Антония (в подлиннике «Онтонина») на Египет воинством». Но премудрая Клеопатра приняла свои меры, и Антоний, вместо того, чтобы воевать с египетской царицей, женился на ней. Юлию, кесарю римскому, такой исход дела не показался удовлетворительным: поставил он брата своего, Августа, стратигом и «послал его со всею областию римскою на Онтонина». Антоний был убит, а царица Клеопатра, когда ее со всем богатством египетским на корабле везли в Рим, уморила себя ядом.

Вскоре после того, пока Август был еще в Египте, восстали на Юлия, кесаря римского, «ипатии» его, «Врутос, Помплие и Крас», и убили его мечом. Пришла об этом весть к Августу стратигу; созвал он на совет вельмож и своих, римских, и туземных, египетских, и поведал им о смерти Юлия Кесаря. И решили римляне и египтяне венчать, на место Юлия, Августа стратига венцом римского царства. Облекли они его в одежду царя Сезостриса, «первого царя Египта», в порфиру и виссон, и возложили на голову ему митру Пора, царя индийского, которую принес Александр Македонский из Индии, а на плечи «окрайницу» (бармы) «царя Филикса, владущего вселенною» — и, украсив Августа регалиями владык всего мира, воскликнули велним гласом: «Радуйся, Августе, *цесарю римский и вселенныя!*»

Так объясняет наш рассказ происхождение всемирной Римской империи, легшей в основу всемирного христианского царства средневековой политической литературы. Сделавшись «цесарем Рима и всея вселенныя», Август начал «ряд покладати на вселенную»: поставил во главе различных областей мира своих братьев: «Патрикия»—царем Египту, Августалия—Александрии, а *Пруса—на берегах Вислы реки,* в городе, называвшемся Мамборок (Мариенбург); оттого и страна эта стала называться Пруссией. Потомки Августова брата и царствовали здесь до четвертого колена. В это время умер новгородский воевода Гостомысл. Перед смертью посоветовал он своим землякам послать в Прусскую землю и *призвать князя* от тамо сущих родов *римского царя Августа рода.* Так и сделали новгородцы: нашли они «некоего князя, именем *Рюрика*»,

«суща от рода римска царя Августа», и призвали его княжить в Новгород. С тех пор, как поселился в Новгороде сродник Августа, царя всей вселенной, Новгород стал называться «Великим». «А от великого князя Рюрика четвертое колено князь великий Владимир, просветивший Русскую землю святым крещением... а от него четвертое колено князь великий Владимир Всеволодович».

Итак, династия, правившая Русью в начале XVI века, происходит не от безвестного варяжского конунга, а от самого царя всея вселенныя, — государь московский Василий Иванович, дальний потомок Владимира Всеволодовича Мономаха, *вотчич* не только всей Русской земли, но и *всего мира.* Вот какой прямой вывод следовал из той концепции всемирной истории, какую сообщил своему знакомому митрополит Спиридон. Это право московского государя прямое, неотъемлемое; великий князь московский — законный наследник всемирного римского императора. Оно признано было и самими императорами восточного Рима, при Владимире Всеволодовиче, добровольно переславшими на Русь императорские инсигнии, в том числе и знаменитую шапку Мономаха, ставшую самым наглядным символом московской царской власти. Владимир Всеволодович, рассказывает тот же митрополит Спиридон, собрал раз на совет своих князей и своих бояр, и стал к ним держать такую речь: «Вот, предки мои ходили и брали дань с Константинополя, нового Рима. А я их наследник: так не попытать ли и мне там счастья? Какой мне совет дадите?» И сказали князья, и бояре, и воеводы: «Сердце царево в руце Божией, а мы есмы в твоей воле, государя нашего по Бозе». Тогда Владимир отправил своих воевод походом на Фракию, и «поплениша ю довольно». Тогдашний византийский император, Константин Мономах, воевал в это время с персами и с латинами — был, значит, в очень стесненном положении. Не в состоянии отразить русского нашествия, он решил склонить русского князя на мир. Снял он со своей шеи крест «от самого животворящего древа», снял свой царский венец, велел принести сердоликовую чашу, из которой пил на пирах Август, царь римский, и бармы, которые императоры носили на плечах, — и все это отослал Владимиру Всеволодовичу, как законному наследнику своей власти: «Прими от нас, боголюбивый и благоверный князь, сии честные дары от начаток вечного твоего родства... на славу и честь, и венчание твоего вольного и самодержавного царствия...» Посол императора, митрополит эфесский Неофит, и венчал Мономаха — как стали называть теперь Владимира Всеволо-

довича — на царство всеми присланными регалиями. С тех пор и доныне венчаются тем царским венцом великие князья владимирские. Внутренняя сила наследственного права государя московского была, таким путем, в свое время закреплена при помощи внешнего обряда.

Нам нет надобности останавливаться долго на критике «историкии», написанной митрополитом Спиридоном. Что касается первой ее части, то всякому достаточно известно, что Август не был вотчичем римского государства и не мог поделить его между своими братьями, которых притом у него и не было. Не мог он дать одному из этих несуществовавших братьев город Мариенбург, основанный в XIII веке немецкими рыцарями. И самый рассказ о короновании Августа в Египте коронами всего мира — такой же точно историко-политический роман, как и рассказ о происхождении Александра Македонского от египетского «волхва» Нектанеба. Словом, фантастичность этой части Спиридонова повествования стоит вне всякого спора. Но еще не так давно (в кое-каких учебниках это можно встретить и до сих пор) придавали некоторую, с оговорками, историческую цену второй части рассказа, о регалиях Мономаха. Однако же, легендарность и этого рассказа ясна как нельзя более. Ни одна подробность его не подходит к тому времени и к тем лицам, о которых он говорит. Константин Мономах умер, когда Владимиру Всеволодовичу было всего два года. Он не мог воевать с персами, царство которых было разрушено за сотни лет раньше арабами. Он не мог посылать на Русь эфесского митрополита Неофита, потому что такого митрополита не было в Эфесе ни в то время, ни раньше, ни позже. Археологические исследования доказали, что шапка Мономаха не была с самого начала царским венцом: отличительный признак царской короны — полушарие с крестом наверху — приделан к ней впоследствии. Сначала это была не царская корона, а просто «золотая шапка», под каковым именем она и значится в завещаниях московских князей XIV века. Очевидно, не присутствие в великокняжеской казне этой шапки напоминало московскому князю о его вселенском значении — а, напротив, потому, что он стал приобретать в своих глазах такое значение, ему понадобилась царская корона. То, что сейчас сказано о шапке Мономаха, вполне приложимо и ко всему рассказу: не потому стали считать московского царя наследником восточного — в глазах православных всемирного — императора, что какому-то досужему книжнику при-

шло в голову сочинить рассказанную выше легенду; легенда понадобилась потому, что «великий князь владимирский», потомок Рюрика и Владимира Мономаха, стал фактически наследником того «православного царства», представителем которого до сих пор был восточный император.

Рассказ, который мы находим у митрополита Спиридона (вероятно, не бывшего его автором, а пересказывавшего с чужих слов), быстро получил чрезвычайно широкое распространение. «Сказание о князьях Владимирских» еще не было известно в 1480 г. в московских официальных кругах: в послании ростовского архиепископа Вассиана к Ивану III, по поводу нашествия хана Ахмата, в числе прародителей великого князя не поминается кесарь Август, а по поводу Владимира Мономаха говорится лишь о его битвах с половцами — и ни слова о каких-либо сношениях с Византией. Лет 50 спустя и фантастическая родословная князей владимирских, и легенда о мономаховых регалиях были приняты официально, и Иван Грозный говорил о своем происхождении от Августа Кесаря, как о деле общеизвестном.

Потомками римских императоров по этой генеалогии были, конечно, все наличные Рюриковичи, т.-е. не только великий, но и все удельные князья. Но «православное царство» могло иметь только одного главу — даже семья великого князя могла подняться над другими княжескими семьями только через него, а не сама по себе. Неопределенная зависимость слабого от сильного, лежавшая в основе княжеских договоров удельной поры, сменяется вполне определенным *подданством* удельного князя, как православного христианина, главе всемирного христианского царства. Само собою разумеется, что это новое *понимание* дела ни на иоту не могло изменить реального соотношения сил: национальные короли Западной Европы, французский или английский, могли сколько угодно на словах признавать свою зависимость от западного императора, последний мог сколько угодно настаивать на том, чтобы его принимали в их столицах не как гостя, а как хозяина — последствия всех этих притязаний и разговоров не шли дальше этикета; на практике, государь священной Римской империи не только в Париже или Лондоне, а и у себя дома, в Германии, значил подчас меньше, нежели король французский. Московский князь практически был несравненно сильнее всех удельных к концу XV века: наиболее крупные из некогда соперничавших с Москвою династий были медиатизированы, предварительно пройдя стадию подручни-

чества у своего московского старшего брата. Рязань находилась в таком положении уже с 1456 года: малолетний наследник княжества и проживал в Москве, а в его стольном городе сидели московские наместники. Выросши, рязанский княжич сам, в сущности, превратился в такого же наместника, а номинальная независимость при нем Рязани объясняется, кажется, ближе всего тем, что он был женат на сестре Ивана III и таким путем сделался членом московской княжеской семьи. Под опекой Москвы в Рязани просидело еще два поколения потомков Олега Ивановича, — причем территория «независимого» княжества все сокращалась, так как выморочные рязанские уделы доставались прямо князю московскому. Возможно, что рязанские князья так мирно и перешли бы в бояр великого князя, подобно ярославской династии, если бы последний рязанский княжич, Иван Иванович, не запутался в какие-то подозрительные отношения с татарами — что и было ближайшим поводом к официальному «присоединению Рязани» в 1520 году. С Тверью дело кончилось еще раньше и решительнее: превращенный договором 1485 г. в московского подручника, князь Михаил Борисович очень недолго вытерпел в таком положении и, по традиции, обратился за помощью в Литву, к Казимиру. Но дело тверского князя имело настолько безнадежный вид, что король Казимир не нашел для себя выгодным ссориться из-за него с Москвой и отказал в своей помощи. А 12 сентября 1486 года Тверь была взята московской ратью, и князь Михаил Борисович искал теперь у Казимира уже не поддержки, как политический противник Москвы, а убежища, как эмигрант. Но с падением Твери и Рязани никаких, имеющих политическое значение, уделов не осталось в северо-восточной Руси, вне пределов династии Калиты. Только родные и двоюродные братья великого князя были теперь покрупнее обычных феодальных владельцев,— но они были, даже все вместе, мельче его самого. По духовному завещанию Ивана III его старший сын, Василий Иванович, получил 66 городов с волостями, а все остальные четверо его сыновей вместе — только 30. В каждую тысячу ордынской дани Василий Иванович вносил 717 рублей, а все остальные его братья—283. Даже при коалиции всех младших против старшего, за последним оставался громадный перевес. Церковная теория была весьма кстати, чтобы освятить совершившийся факт. Удельный князь, писал одному из братьев Василия знаменитый волоколамский игумен, Иосиф Санин, родоначальник «осифлянского» направления москов-

ской публицистики, должен «от сердца воздавать любовь богодарованному царю нашему, воздающе ему должное покорение, и послушание, и благодарение, и работающе ему по всей воле его и повелению его, *яко Господеви работающе, а не человеком*».

Но наиболее неожиданные эффекты давала новая теория в области отношений международных в настоящем смысле — отношений московского государя к нерусским землям. Два факта, обыкновенно украшающие собою главу об Иоанне III в школьных учебниках — «свержение татарского ига» и брак московского великого князя с византийской княжной Софьей Палеолог — непосредственно связаны с рассматриваемым нами циклом идей. Относительно последнего события теперь не может быть сомнений, что тут не было никакой, благоприятной для московского государя, случайности, что это был обдуманный шаг московской политики,— что Иван Васильевич специально искал себе именно такую невесту, и посылал особых агентов в Италию хлопотать об этом браке. Нет надобности объяснять, почему «царь всего православного христианства» не удовлетворялся теперь русскими княжнами и искал себе лучшей, по его мнению, партии. «Свержение татарского ига» в 1480 году было, собственно, торжественной формальностью: уже почти сто лет Орда могла добиться повиновения от северо-восточной Руси только путем повторных военных экспедиций, которые не всегда и удавались притом, как показывал пример Мамая. Место монголов в авангарде тюркских племен давно заняли турки-османы, центром внимания которых была южная Европа, в первую очередь Балканский полуостров, тогда как русским еще не приходилось с ними соприкасаться непосредственно. В связи с передвижением театра тюркского наступления к югу и среди обломков бывшей орды Чингисхана и Батыя выдвинулись на первое место крымские татары, — впоследствии верные союзники и вассалы турецкого султана. Но их набеги грозили, главным образом, юго-западной, литовско-польской Руси—а для московского великого князя, именно в силу этого, крымский хан часто являлся союзником. Так было и в 1480 году, когда нашествие хана большой орды, Ахмата, всеми признаками напоминало простой разбойничий набег, а отнюдь не завоевательные походы Чингиза или Тамерлана. Тем не менее, как известно, и в отражении этого набега Иван Васильевич отнюдь не обнаружил большой смелости — и решимость ликвидировать начисто свои отношения к Орде пришла к нему только под настойчивым влиянием церкви. Участие в этом деле епископа

Вассиана было совсем не случайно — и аргументация Вассиана прямо отправлялась от новых политических понятий, возникших в XV веке. «Какой пророк пророчествовал или какой апостол или святитель научил тебя, *великого русских стран христианского царя* повиноваться сему *богостудному и скверненому, самозванному царю»*, хану Ахмату — писал Вассиан Ивану III. Было время, когда церковь не гнушалась признавать владыку Золотой Орды «царем» по преимуществу, но это время давно прошло...

«Великий русских стран христианский царь» не только не мог быть в подчинении у какого-то татарского хана — но и дружбою своею мог удостоить не всякого. Во всей Европе был ему только один ровня — «кесарь римский», император западной империи. Но практически московскому правительству чаще приходилось иметь дело не с ним, а с государями польскими и шведскими. А как раз в XVI веке, на другой день, можно сказать, после того, как Москва стала «Третьим Римом», а московский царь — преемником «кесарей ромэйских», и шведский и польский троны оказались «плохо занятыми» с точки зрения царского местничества: государи на них были выборные, не могущие похвастаться своей генеалогией. Это было бесконечным источником самодовольства для московских государей и их дипломатов. Грозный писал шведскому королю Иоанну Вазе: «И ты скажи, отец твой, Густав, чей сын, и как деда твоего звали, и с которыми государи был в братстве, и которого ты роду государского?» А бояре говорили шведским послам «в рассуд, а не в укор» про их, послов, государя: «которого он роду и как животиною торговал и в свейскую землю пришел: то недавно ся деяло и всем ведомо». В 1578 году послам польского короля Стефана Батория, ранее бывшего воеводою седмиградским, было сказано, что великому государю с королем Стефаном быти в братстве непригоже, потому что его государство почало от Августа, кесаря Римского, и от Пруса, Августова брата: что польские короли Сигизмунд и Сигизмунд Август (из династии Ягеллонов) были славные великие государи, *наши братья,* по всей вселенной ведомы, а что «Седмиградского государства нигде есмя не слыхали»... Позднее Грозный объяснял, что так и не узнал родства Батория, «какова он роду человек и которых государей племя» и что потому, «берегучи своего царства чести», он допрашивал его послов, «какого родства государь их, Стефан король? *чтобы нашему царству в том укоризны не было, что который не наш брат, да нам братом учинится...»* А так как Грозный слышал про Бато-

рия «в каковой он низости был до сего времени», то московскому государю было короля «для его родственные низости братом писати не пригоже...»

Итак, новая теория вела, прежде всего к внешнему, так сказать, географическому расширению власти великого князя московского: она помогала ему обосновать свои притязания в той области, где старая удельная традиция не давала ему твердой почвы,— как это было в отношениях к удельным князьям и к Новгороду; эта же теория сразу дала определенный тон и дипломатическим сношениям с иноземными государями, тон очень повышенный, как мы сейчас видели; она, наконец, поскольку речь шла об отношениях к татарам, помогла московскому князю сознать себя *самодержцем* в тогдашнем смысле этого слова: как известно, тогда под «самодержавием» разумелась не абсолютная власть царя внутри государства, а его независимость извне, от соседей, — «самодержцу» противополагался не государь с ограниченной властью, а вассал. Насколько теория оправдывала самодержавие в нашем смысле этого слова, т.-е. *абсолютизм?* Обыкновенно отвечают на этот вопрос очень категорически: новая теория освящала самые широкие притязания, какие только мог заявить московский государь. Она провозгласила его наместником Бога на земле, даже земным Богом (Иосиф Волоколамский писал о государях: «Бози есте и нарицаетесь»), а неповиновение ему — не только преступлением перед человеческими законами, но и тяжким грехом перед Богом; изменить царю, значит погубить свою душу—так объяснял Грозный эту теорию Курбскому. Соглашаясь в этом случае с Грозным, исследователи несколько неосторожно подчиняются такому толкованию теории, какое давали заинтересованные в деле лица. Присмотревшись к ней ближе и отрешившись от условно-официального ее понимания, мы найдем, что она далеко не оправдывала той формы абсолютизма, какую пытался осуществить Грозный. В своих непосредственных выводах она не расширяла, а ограничивала патриархальный деспотизм. По крайней мере в одном пункте она представляется нам даже революционной, и ею действительно пользовались для оправдания революций.

Прежде всего, царь православного христианства должен быть, конечно, православным. Патриарх Антоний, из грамоты которого московские великие князья, повидимому, многому научились, прямо оправдывает неповиновение царю, впавшему в ересь. Иосиф Волоколамский, — этот, по общему мнению, основатель московского

самодержавия — тоже ставит вопрос: обязан ли православный христианин повиноваться неправославному царю? — и отвечает на него отрицательно,—потому что Бога больше следует слушаться, нежели людей. Под пером Иосифа эти рассуждения носят еще довольно невинный академический характер: самый большой практический результат, на который они метили, мог состоять разве в том, чтобы попугать несколько Ивана Васильевича, иногда слишком равнодушного к вероисповедным вопросам, как думало тогдашнее духовенство. Политические враги московского великого князя еще не усвоили себе тогда новой теории или не успели ею воспользоваться. Полвека спустя дело изменилось значительно для него к худшему. При внуке Ивана III боярская оппозиция в лице Курбского очень ловко пользовалась аргументацией, освященной авторитетом Иосифа Волоколамского. Обвинение, которое бросил Грозному Курбский, обвинение в «небытной ереси» — в отрицании страшного суда и мздовоздаяния грешникам — в XVI веке было далеко не риторической фразой, какой оно кажется нам теперь. В нем было вполне реальное содержание: отрицание воскресения мертвых и страшного суда составляло одну из заметных частей того богомильского толка, который вскрывался на Руси не раз на протяжении двух столетий, под именем стригольничества и жидовства. Недаром Грозный так старательно опровергал это обвинение, стараясь оборотить его на противника, не один раз повторяя, что он-то, Иван, верует страшному Спасову судищу и не причастен «манихейской» (т.-е. богомильской) ереси, а вот верует ли Курбский, — сомнительно. Аргумент Курбского для того времени был очень силен и, употребляя его собственное выражение, «зело кусателен».

Обострение борьбы все больше и больше расширяло применение этого аргумента. От смутного времени до нас дошел один весьма любопытный памфлет, обыкновенно приписываемый Авраамию Палицыну, — едва ли справедливо, как увидим впоследствии. Автор этого памфлета ярый сторонник Романовых: их ссылку при Годунове он считает одним из главных грехов, навлекших смуту на Русскую землю. Симпатии к Романовым сами собою обусловливают антипатию автора к Годунову. В наше время антипатия выразилась бы, вероятно, в отрицании всяких заслуг Годунова перед Россией — в очернении всей его политики: но, к немалому нашему удивлению, публицист смутного времени не думает отрицать политических заслуг Бориса. Только в его глазах вовсе не они

имеют решающее значение: все его заботы о материальном благосостоянии его подданных ничего не стоят, потому что Борис плохо заботился об их душах и мог своей политикой даже повредить душевному спасению русского народа. Во-первых, Борис почитал иноязычников — немцев — паче «священноначальствующих», и даже дочь свою хотел выдать за немца; потакал «ереси армянской и латинской» и принимал у себя людей, зараженных такими ересями. Для всего этого, однако, автор находит еще оправдание в богословском невежестве Бориса — в том, что он «писанию божественному не навык». Но вот чего нельзя уже было оправдать и отсутствием богословского образования: во время голода Борис приказал употреблять на просфоры для евхаристии ржаную муку вместо пшеничной; это до чрезвычайности возмущает нашего автора: «не гордости ли се исполнено и нерадения о Боге?», с негодованием спрашивает он — и не прочь объяснить бедственный конец Бориса этим «нерадением о Боге».

Борис был первым русским царем, которому пришлось бороться с революцией. Революция эта—восстание Названого Димитрия — была подготовлена боярами: так говорил во всеуслышание сам царь Борис, и современники, подтверждая его слова, в числе бояр называют сторонников изгнанной семьи Романовых и их самих [1]). Мнения, которые мы находим в памфлете псевдо-Палицына, очень может быть, имеют не одно литературное значение: весьма вероятно, что боярский кружок, свергнувший Бориса, оправдывал свои действия и перед самим собою, и перед другими, между прочим, сочувствием Годунова к иноверцам и его не совсем тактичными распоряжениями касательно церковной обрядности. Так уже не только прямая ересь, но и мелочные уклонения царя от православия могли обратиться в сильное оружие против него в руках оппозиции.

Сменивший Годунова Названый Димитрий оказался крепче на престоле, нежели этого ожидали выдвинувшие его бояре: пришлось свергать и Названого Димитрия. Во главе заговора стал Василий Иванович Шуйский, тотчас после переворота и избранный в цари. Чувствуя потребность оправдаться и оправдать все совершившееся, новый царь разослал по всей России грамоты, где убийство Димитрия объяснялось, прежде всего, его проектами Унии с римской церковью: что он «многое христианство широкого

---

[1]) Подробнее об этом см. в главе о Смутном времени.

московского государства своим злохитрством в веру латинскую привести и укрепить» хотел. За это, как еретик, он был убит благочестивыми людьми, с Василием Шуйским впереди других. Чтобы правильно оценить учение Иосифа Волоколамского об обязательном православии царя, нужно прочесть эти грамоты Шуйского: переворот 17 мая 1606 года был прямым приложением этого учения к практике. Понятно, почему сам благочестия делатель, царь Василий Иванович, спешил прежде всего поставить вне спора свое православие: едва он вступил на престол, как на Руси уже появился новый угодник — открылись мощи царевича Димитрия.

С этой стороны трудно было подкопаться под Шуйского: его врагом оставалось только более слабое, менее эффектное обвинение, — но для постановки царской власти по новой теории тоже очень характерное. Не находя данных обвинить царя Василия в неправославии, враги ставили ему на счет *отступления от аскетической морали*, его, будто бы, пьянство и разврат. «Всячествованием неистовен», писали о нем публицисты враждебного лагеря: за его грехи кровь христианская льется. Обвинение не было новостью, придуманной специально для Шуйского: мы находим его уже у Курбского в применении к царю Ивану. В первом послании «беглого боярина» приведен длинный список грехов Грозного: в числе их не последнее по значению место занимают «Афродитские дела». Времяпрепровождение Ивана Васильевича напомнило кн. Курбскому классические Сатурналии — «Кроновы жертвы». Царь Иван не остался равнодушен к обвинению и, не отрицая факта, пытался оправдать себя тем, что он запил, что называется, с горя— после смерти жены, будто бы отравленной друзьями Курбского. «Только бы вы не отняли у меня юницы моея, то не было бы и Кроновых жертв», пишет он в своем ответе. В другом месте он подбадривает себя примерами угодников Божиих, которые сначала много грешили, но потом покаялись — и прежние грехи не помешали им угодить Богу. Как бы то ни было, самого принципа, в силу которого христианский царь должен быть образцом христианской нравственности для своих подданных, Грозный не думает отрицать. В самом деле, может ли спасать души тот, чья душа сама не заслуживает спасения? А что на православном царе лежала обязанность руководить подданными на пути ко спасению, это был один из кардинальных пунктов теории. «Всемилостивый Боже... устроил мя земли сей православной царя и пастыря, вождя и правителя еже правити люди его в православии непоколебимом быти...—писал

Грозный.—Тщуся с усердием люди на истину и на свет наставити, да познают Бога истинного и от Бога данного им государя...»

Но решить вопрос, кто непоколебим в православии, кто нет, могла только церковь. Создавая великого князя московского, царя всего православного христианства, она, как видим, вовсе не думала создать себе господина. Ей нужны были «плеща мирские» — и вождям церковно-политического движения XV века в голову не приходило, что созданный церковью на потребу себе аппарат может когда-нибудь быть обращен против нее.



Изображение святого князя на медальоне из склада золотых предметов, найденного в 1822 г. на земле Старой Рязани.

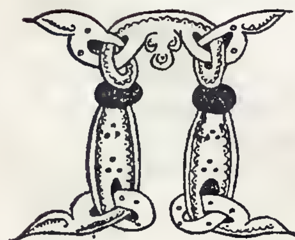


Портрет царя Ивана Грозного, работы профессора Николая Уткина.

ГЛАВА VI.

Грозный.

1. Аграрный переворот первой половины XVI века.



ервый, по времени, историк царя Ивана Васильевича, писавший в то время, когда грозный царь еще сидел на московском престоле, князь Курбский, объясняя, почему Иван губил «всеродне» русских «княжат», приводит такой мотив: «понеже отчины имели великие; мню, негли (вероятно) из того их погубил». Литературный противник Ивана Васильевича не отличался ни писательским талантом, ни особенно глубоким понима-

нием происходившего вокруг него. Поминая об «отчинах», как поводе для истребления его родичей, Курбский, может быть, имел в виду очень узкую практическую цель—пугнуть польско-литовскую аристократию, которая в те дни, когда писалась «История князя великого московского», не далека была от мысли посадить Ивана и на польский престол. Но практические люди, именно потому, что они лишены широкого кругозора, ближайшие причины явлений часто замечают лучше, нежели те, кто смотрит на вещи через очки идеалистической теории. Курбскому пришлось долго ждать, пока были оценены его мимоходом брошенные замечания о причинах «тиранства» Грозного. Только в 70-х годах прошлого века покойный петербургский профессор Жданов стал решительно на ту точку зрения, что в споре из-за земли следует искать ключ ко всей трагедии опричнины [1]). А в промежутке каких только объяснений не привелось испытать на себе задним числом царю Ивану: от самых возвышенных, по методу философии Гегеля, делавших московского самодержца орудием всемирного духа в его разрушительно-творческой работе, до самых реалистических, утверждавших, что будь в России XVI века сумасшедшие дома, и найди Иван Васильевич себе место в одном из них, никакой трагедии и вовсе не было бы [2]).

Сейчас аграрная подкладка опричнины составляет, можно сказать, общее место—оригинальностью было бы не отстаивать взгляды историка XVI века, а спорить с ним. «Опричнина была первою попыткою разрешить одно из противоречий московского государственного строя,—говорит один из осторожнейших в своих выводах русских историков, проф. Платонов,—*она сокрушила землевладение знати* в том его виде, как оно существовало из старины». Все гипотезы относительно «личности» Грозного отходят на третий план перед этим простым житейским фактом, подмеченным современниками триста лет назад. Но и простой житейский факт нуждается в объяснении не менее, чем самое сложное и романтическое «душевное состояние». Почему Грозному понадобились вотчины его бояр, когда и у него самого этих вотчин было достаточно, когда его отец и дед, достраивая московское государство, уживались с владельцами этих вотчин довольно мирно—и, во

---

[1]) См. его—напечатанную лишь впоследствии—работу о «сочинениях Ивана Грозного». Сочинения, т. I, Спб. 1904.

[2]) См. книгу проф. *Ковалевского:* «Душевное состояние Ивана Грозного». Харьков 1883, и ст. г. *Глаголева*—«Русский архив», 1902.

всяком случае, до «всеродного» губительства этих владельцев не доходили? Опричнина была лишь кульминационным пунктом длинного социально-политического процесса, который начался задолго до Грозного, кончился не скоро после его смерти и своей неотвратимой стихийностью делает особенно праздными всякие домыслы на счет «характеров» и «душевных состояний». Иван Грозный, Федор Иванович и Борис Годунов представляют собою, психологически, три совершенно различных типа: истеричного самодура, помнящего только о своем «я» и не желающего ничего знать помимо этого драгоценного «я», никаких политических принципов и никаких общественных обязанностей,—безвольной игрушки в чужих руках, этого «я», как будто, вовсе лишенной—и, может быть, единственного государственного человека московской Руси, всю свою жизнь подчинившего известной политической задаче и погибшего от того, что он не смог ее разрешить. Но пребывание на верхушке государственного здания этих трех совершенно различных персонажей ничем не отразилось на том, что внутри этого здания делалось. Политика опричнины красною нитью проходит через все три царствования, от 60-х годов шестнадцатого века вплоть до Смуты, имея минуты ослабления и напряжения, но вне всякой связи с чьей-либо личной волей. В 40-х годах шестнадцатого столетия приближение катастрофы уже настолько определенно чувствовалось, что программа опричнины могла быть дана за двадцать лет вперед человеком, который сам, быть может, и не дожил до того, чтоб видеть опричнину своими глазами. А в сороковых годах «добродетельная» эпоха царствования Грозного, которую Карамзин противопоставлял эпохе его «тиранства», была еще вся впереди. Еще Иван не успел стать ни «добрым», ни «злым», а уж ему пророчили, что если он «*не великою грозою народ угрозит,* то и правды в землю не введет». Прозвище носилось в воздухе раньше тех дел, которые должны были закрепить за царем это прозвище в истории.

Вступая на престол в 1533 году—трех лет от роду,—Иван Васильевич унаследовал от своих отца и деда московскую вотчину в том феодальном ее виде, который подробно охарактеризован нами выше. Московский великий князь был сюзереном бесчисленного количества крупных и мелких землевладельцев, «державших» от него свои земли—кто в качестве перешедшего на московскую службу удельного князя, кто в качестве мелкого вассала, «сына боярского», может быть, вчера еще только повер-

станного в московскую службу из боярских «послужильцев», если не холопов. Разница между этими двумя полюсами московского вассалитета *количественно* была огромная, *качественно* же они оба принадлежали к одной категории: теоретически оба они порядились служить своему сюзерену на известных условиях, и с устранением этих условий кончалась их обязанность служить. Теоретически: на практике соблюдение прав служилого человека всецело зависело от доброй воли, от силы и уменья того, кому он служил. Знаменитое «право отъезда» слуг вольных, о котором можно столько прочесть в старых курсах русской истории, или никогда не существовало, или существовало в своем традиционном виде вплоть до Грозного—тот или иной ответ на этот вопрос будет зависеть от того, будем ли мы рассматривать это право вне связи с «силой» или нет. Сильный князь никогда не стеснялся казнить слабого отъездчика. В 1379 году правительство Димитрия Ивановича казнило боярина Вельяминова, отъехавшего с московской службы на тверскую; в то же время тверские и рязанские бояре свободно переходили на московскую службу—московский князь был сильнее, и с ним их прежние сюзерены не могли тягаться. А на словах право служилого человека выбирать, кому он будет служить, признавалось еще и в 1537 и даже в 1553 годах. Под первым из этих годов в летописи рассказывается, что князь Андрей Иванович Старицкий, дядя великого князя, незадолго перед тем целовавший крест на том, что ему «людей от великого князя не отзывати», стал рассылать грамоты новгородским помещикам, и в них писал: «князь великий мал, а держат государство бояре, и вам у кого служить? Приезжайте служить ко мне, а я рас рад жаловать». Державшие тогда государство бояре тех помещиков, которые польстились на «жалованье» князя Старицкого, велели бить кнутом и вешать «по новгородской дороге не вместе и до Новагорода». А в 1553 году эти самые бояре, во время смертельной, как всем казалось тогда, болезни Ивана, рассуждали: «как служить малому мимо старого»—ребенку-сыну великого князя мимо взрослого потомка Ивана III, князя Владимира Андреевича Старицкого, сына того, что соблазнял новгородских помещиков на их гибель. И боярам казалось возможным променять малолетнего сюзерена на его взрослого соперника. Но такие случаи представлялись все реже и реже: московский князь фактически уже не имел при Грозном другого постоянного конкурента, кроме великого князя Литовского, а тот был като-

лик, и переход на службу от царя всего православного христианства к «латинскому» государю, как бы он ни был бесспорен с точки зрения феодального права, с точки зрения господствовавшей церковной теории был, не менее бесспорно, невозможен для члена православной церкви. Те, кто к этому прибегали, как Курбский, подвергали спасение своей души огромному риску в глазах не только одного Ивана Васильевича, а, вероятно, и большей части самого московского боярства. Внутри морально-допустимых пределов переходить было не к кому: «право отъезда» вымирало не потому, чтобы его кто-нибудь отменил, а потому, что применять его на практике стало негде. Путем чисто количественного нарастания вотчина Калиты упраздняла очень существенную сторону феодальных отношений. Форма надолго пережила содержание. На бумаге еще помещик семнадцатого века «договаривался» с правительством насчет условий своей жизни. «Быти ему на обышном коне, а с государственным жалованием будет на добром коне», записывалось в «десятне» о том или другом служилом человеке. Размерами вознаграждения—одна ли земля или земля и, кроме того, денежное жалованье—определялось качество службы. Стороны как будто и здесь еще торговались: но это был лишь *обряд* торга. На деле помещик *не смел* отказаться от той службы, какую ему предлагали, ибо в XVII веке даже и на минуту не могло появиться иного сюзерена, к которому можно было бы «отъехать», кроме царя и великого князя московского.

Ограничивалось ли это выветривание старо-русского феодализма юридическими отношениями? Уже с первого взгляда такое изменение юридической надстройки при старом экономическом базисе являлось бы непонятным. Независимое положение вассала по отношению к сюзерену было политическим эквивалентом экономической независимости вотчины этого вассала от окружающего мира. Сидя в своей усадьбе, землевладелец лишь изредка, лишь, так сказать, в торжественные моменты своей жизни входил в непосредственные отношения с этим миром. В будничной жизни он имел все нужное у себя дома. Происхождение классической гордости средневекового рыцаря было, как видим, весьма прозаическое. В XVI веке в России—для Запада это были XII—XIV века, смотря по стране—целый ряд признаков показывает нам, что эта экономическая независимость феодальной вотчины уж не так велика, как веком—двумя ранее. Наиболее заметным из этих признаков является стремление феодального землевладельца

получать свой доход в *денежной форме*. Мы помним, что крестьянский оброк в древне-русской вотчине уплачивался, обычно, продуктами: хлебом, льном, бараниной, сыром, яйцами и т. д. Если мы возьмем новгородские писцовые книги, которые заключают в себе данные за несколько последовательных периодов, то мы увидим, что из всего этого устойчиво держится только *хлебный* оброк, тогда как сыр, яйца и баранина к средине XVI века отчасти, а к концу его без исключения заменяются деньгами [1]). Причины симпатии землевладельца к хлебу и антипатии к баранине мы скоро увидим; пока же заметим, что наблюденный нами факт отнюдь не был местной, новгородской особенностью. «В 1567—1568 г.г. в костромских дворцовых селах Дыбине и Сретенском с деревнями платили оброк посопным хлебом (рожью в зерне), а мелкий доход уже весь переведен на деньги. В 1592—1593 г.г. в костромских вотчинах Троицкого-Сергиева монастыря выти, с которых не отбывалось изделье (барщина), все обложены были денежным оброком. От 90-х годов до нас дошел ряд описаний вотчин Троицкого-Сергиева монастыря в разных уездах московского центра, и чрезвычайно характерно, что везде оброк монастырю платится деньгами: об этом свидетельствуют писцовые книги уездов Московского, Дмитровского, Ярославского, Ростовского, Углицкого, Пошехонского, Солегалицкого. Из этих уездов о Пошехонском имеем известие, что там еще в 50-х годах оброк собирали посопным хлебом: так было в вотчине кн. П. А. Ухтомского в 1558—1559 г.г., при чем мелкий доход уже превращен в денежную форму. То же самое можно наблюдать в дворцовом селе Борисовском, Владимирского уезда, в 1585 году: мелкий доход здесь платился деньгами, а оброк посопным хлебом» [2]). Великий князь и его наместники не составляли в данном случае исключения в ряду других вотчинников—и у них мы можем проследить этот денежный аппетит до значительно более ранней эпохи. Первая «уставная грамота», переводящая натуральные повинности населения в денежные (Белозерская), относится к 1488 году. В ней перечислены как наместничьи «кормы», так и судебные штрафы в их первоначальном виде, в форме продуктов, но сейчас же идет и их замена: «за

---

[1]) *П. Рожков,* «Сельское хозяйство московской Руси в XVI веке», М. 1899, стр. 235 и сл.

[2]) Ibid., стр. 238—239. Ссылки на соответствующие архивные документы там же.

полоть мяса 2 алтына... за боран—8 денег» и т. д. Введение денежных податей было поводом для появления большей части дошедших до нас уставных грамот начала XVI века крестьянам Артемоновского стана 1506 г., бобровникам Каменского стана 1509 г., Онежского 1536 г., Андреевского села 1544 г. и т. д. [1]). Административные заботы московского правительства имели, таким образом, вполне реальное, чисто экономическое основание.

И большие и малые вотчинники стремились получать свои доходы не в прежней, неуклюжей форме непосредственно потребляемых продуктов. Им понадобилась форма более гибкая. Но эта новая, более гибкая, форма дохода—денежная—была бы бессмыслицей при том хозяйственном строе, в рамках которого сложилась феодальная вотчина. Там и деньги нужны были тоже в «торжественных» случаях, удельному князю, например, когда он собирался отправлять в Орду дань, и ему, и его подданным, когда они покупали заморское сукно, заморское вино или заморские фрукты. Ежедневные, будничные потребности удовлетворялись своими, домашними средствами—деньги для этой цели не были нужны. А раз деньги нужны были лишь изредка, не было и поводов стремиться к тому, чтобы свои доходы получать в денежной форме. Переход феодального вотчинника к денежному хозяйству стал, таким образом, только внешним выражением гораздо более крупной перемены. Эта перемена состояла в *разрушении феодальной вотчины, как самодовлеющего экономического целого и появлении землевладельца,* прежде гордого в своем экономическом уединении, *на рынке,* как в качестве покупателя, так и в качестве продавца.

Указание на связь вотчины с рынком—связь не случайную, а постоянную, нормальную, так сказать—встречается нам впервые еще в одном памятнике XV века, возникшем, правда, на самой прогрессивной, экономически, окраине тогдашней России: в Псковской судной грамоте. В одном из поздних постановлений этой последней [2]) говорится об обязанности «старого изорника», т.-е. *бывшего* крестьянина, по окончании полевых работ, на Филиппово заговенье (15 ноября) «отказавшегося» от своего барина, *возы возити на государя.* Хлеб и живность отправляли в

[1]) См. акты. собранные Археографической экспедицией, т. I, passim.

[2]) Поздним его приходится считать потому, что им ограничиваются права крестьянина,—именно *право иска* его по отношению к барину,—ср. ст. 42 и 75. В тексте идет речь о последней.

город, на рынок по первопутку—а зима могла стать позже 15 ноября, позже формального прекращения обязательств между «изорником» и его бывшим «государем». Последний мог оказаться в затруднительном положении: есть, что продавать, а везти в город некому и не на чем. Ограждая интересы землевладельца, псковское право и оговаривало, что, хотя формально отношения и кончились, бывший крестьянин все же должен выполнить свою последнюю экономическую функцию—доставить продукты своего труда на рынок. «Повоз» упоминается и в московских документах XVI века [1]). Но не всегда крестьянин являлся на рынки только в качестве барского батрака. Самостоятельность отдельного мелкого хозяйства, связанного с центром вотчины лишь данями и оброками, вела к тому, что и продавцом продуктов крестьянин часто являлся за себя лично. Цитированный уже нами историк сельского хозяйства Московской Руси приводит очень живую картинку этого крестьянского торга из одного жития, начала XVI века, рассказывающего, как крестьяне окрестностей Переяславля-Залесского ходили «во град, на куплю несуще от своих трудов земленых плодов и прочево снена и от животных», «*до светения утра, еще тме сущи, дабы на торговище ранее успети*» [2]).

Чрезвычайно ценно это указание на существование мелких местных, так сказать, уездных рынков,—цитированный нами автор приводит их целый ряд. Крупный обмен, даже и предметами первой необходимости, особенно хлебом, существовал и ранее, поскольку существовали крупные торговые центры, вроде Новгорода, с многолюдным не земледельческим населением. В XVI в. место Новгорода, сохранившего, однако, большую половину своего значения, заняла Москва, по словам иностранных путешественников, растянувшаяся на девять почти верст по течению реки Москвы и считавшая, во вторую половину царствования Грозного, более 40.000 дворов, т.-е. не менее 200.000 душ населения [3]). Флетчеру, бывшему здесь при Федоре Ивановиче,

---

[1]) См., напр., одну из уставных грамот Соловецкого монастыря, 1561 г., цитируемую г. Лаппо-Данилевским, сборник «Крестьянский строй», Спб. 1901, т. I, стр. 38.

[2]) *Рожков,* назв. соч., стр. 283.

[3]) Вот описание Москвы, какой она была в начале рассматриваемого периода, в 1525 г. Оно принадлежит итальянскому путешественнику Павлу Иовию и заимствовано нами из «Истории города Москвы» *Забелина* (ч. I, стр. 143):

«Город Москва по своему положению в самой средине страны, по удобству водяных сообщений, по своему многолюдству и, наконец, по крепости стен

город показался не меньше Лондона, а есть основание верить его утверждению, что Москва сильно пострадала к этому времени от татарского набега 1571 года и, нужно прибавить, от общего экономического кризиса, запустошившего все города центральной России [1]). Москва должна была втягивать огромное количество продуктов сельского хозяйства, и 700—800 возов с зерном, въезжавших ежедневно в Москву по одной только ярославской дороге, о которых рассказывает один из тех же иностранных путешественников, по всей вероятности вовсе не были преувеличением. Но здесь было еще все-таки лишь количественное изменение, сравнительно с предшествующей эпохой, хотя количество и тут переходило уже в качество. С точки зрения экономической эволюции гораздо интереснее те мелкие городские центры, какие мы встречаем в средней и северной России за то же царствование Ивана Грозного и его преемника. Мы приведем только несколько

своих есть лучший и знатнейший город в целом государстве. Он выстроен по берегу реки Москвы, на протяжении пяти миль, и дома в нем вообще деревянные, не очень огромны, но и не слишком низки, а внутри довольно просторны, каждый из них обыкновенно делится на три комнаты: гостиную, спальную и кухню. Бревна привозятся из Герцинского леса; их отесывают по шнуру, кладут одно на другое, скрепляют на концах—и таким образом стены строятся чрезвычайно крепко, дешево и скоро. При каждом почти доме есть свой сад, служащий для удовольствия хозяев и вместе с тем доставляющий им нужное количество овощей; от сего город кажется необыкновенно обширным. В каждом почти квартале есть своя церковь; на самом же возвышенном месте стоит храм Богоматери, славный по своей архитектуре и величине; его построил шестьдесят лет тому назад Аристотель Болонский, знаменитый художник и механик. В самом городе впадает в р. Москву речка Неглинная, приводящая в движение множество мельниц. При впадении своем она образует полуостров, на конце коего стоит весьма красивый замок с башнями и бойницами, построенный итальянским архитектором. Почти три части города омываются реками Москвою и Неглинною; остальная же часть окопана широким рвом, наполненным водою, проведенною из тех же самых рек. С другой стороны город защищен рекою Яузою, также впадающею в Москву несколько ниже города».

А вот как описывает Москву Флетчер, видевший ее в 1588 году:

«Город почти круглый; он окружен тремя рядами толстых стен, отделенных друг от друга улицами. Внутренняя ограда и находящиеся в ней здания служат местом жительства императора. Город защищается рекой Москвой, которая течет вокруг него, и пользуется такой же безопасностью, как сердце в средине тела. Мне говорили, что во время переписи, незадолго перед сожжением города татарами, насчитали 41.500 домов. После осады и пожара (в 1571 году) видны обширные пустые пространства, которые еще недавно были покрыты домами, в особенности в южной части, которая была построена императором Василием для его солдат... В настоящее время город Москва немного больше, чем Лондон...» («О государстве русском», глава IV).

[1]) О размерах запустения можно судить по следующим данным: в Коломне в 1578 году было 32½ двора жилых на 662 пустых: в Можайске по переписи 1595—1598 г.г. 205 жилых дворов, 127 пустых и 1.446 пустых дворовых мест. См. *Платонов:* «Очерки по истории Смуты», стр. 46—47.

примеров. Смоленский Торопец—когда-то вотчина Мстислава Мстиславича Удалого—в XVI веке «имел средние размеры и не отличался процветанием торга». Тем не менее в нем в 1540—1541 г.г. было 402 тяглых двора—на 80 служилых, 79 лавок и 2.400 человек приблизительно населения. В Сольвычегодске, во вторую половину того же века, было около 600 тяглых дворов, т.-е. не меньше 3.000 жителей: а «эти места не отличались ни населенностью, ни оживлением». В не менее медвежьем углу, Каргополе, документы 1560-х годов считают 476 тяглых дворов, т.-е. самое меньшее до двух с половиною тысяч жителей. На юг от Москвы, в Кашире, в конце семидесятых годов того же века было «около 400 посадских дворов и значительный торг, заключавший больше 100 лавок». Даже разрушение Каширы татарами, которые выжгли город до тла, не убило ее торгового значения. В Серпухове уже к 1552 году успела запустеть пятая часть посада и, тем не менее, оставалось еще более 600 дворов и 250 лавок [1]). Мы видим отсюда, как неосторожно было бы представлять себе город Московской Руси в виде крепости, населенной почти исключительно военно-служилыми людьми. Как ни скромны приведенные цифры торгово-промышленного населения по нашему теперешнему масштабу, для средневековой страны, какой была Московская Русь XVI века, это дает право говорить о буржуазии, как о достаточно выделившемся общественном классе—и как о социальной силе, влияние которой не могло не сказаться в критические минуты. Апогея своего это влияние достигло в дни Смуты, когда буржуазия оказалась в силах выдвинуть своего царя и поддерживать его несколько лет. Но уже политические деятели эпохи Грозного считаются с этой силой, тем самым заставляя с ней считаться и историка.

Но не только буржуазия выделялась из массы сельского населения, буржуазные отношения стали проникать и в среду этого последнего. Было бы очень странно представлять себе отношение *всех* крестьян XVI века к землевладельцам по образу и подобию отношений теперешних арендаторов к теперешним помещикам, как это иногда делалось в литературе. Но царствование Грозного знает уже и настоящие случаи денежной аренды, притом не только крестьянской. В 1560 году игумен одного монастыря бил челом царю о том, чтобы монастырю отдали на

---

[1]) См. для всех этих данных цитир. сочинение проф. Платонова, гл. I, passim. Выдержки в « » взяты оттуда же.

оброк дворцовые земли—они были нужны для округления монастырского хозяйства. Из ответной царской грамоты мы узнаем, что эти земли и раньше были на оброке, у помещиков братьев Щепотьевых. Игумен «наддал оброку» 25 алтын и перебил землю у прежних арендаторов. А в выписи из рязанских писцовых книг, относящейся к 1553 году, мы находим монастырские села и деревни «в *нагодчине* за детьми боярскими», при чем «нагодчина», ежегодная плата за землю, везде выражена в *денежной* форме—полтина, две гривны, десять алтын, а начало арендных отношений возводится еще ко временам великих князей рязанских, на грамоты которых ссылается московская писцовая книга [1]). Древнейшие крестьянские «порядные», дошедшие до нас, не даром относятся именно к этому времени: это не значит, что раньше порядных вовсе не было; весьма возможно, что отдельные их образчики от более ранней эпохи просто не дошли до нас. Но чем такие документы становились чаще, тем больше вероятия было, что отдельные экземпляры их встретятся исследователям. В самом раннем из них, от 1556 года, «оброк», т.-е. арендная плата, выражена не в деньгах, а в хлебе: «хлеба, ржи и овса, 5 коробей, в новую меру, из года в год, и из леса пятой сноп, а из Заозерья шестой сноп» [2]). Но это вовсе не доказывает господства натурального хозяйства, а скорее наоборот: желание землевладельца получить участие в прибылях от *продажи* хлеба. При наличности рынка, хлеб был те же деньги—особенно в руках монастыря, каким и был землевладелец в настоящем случае. Соловецкий монастырь, например, в конце 50-х годов шестнадцатого века закупал до 3.000 четвертей ржи ежегодно, а в 80-х годах до 8.000 четвертей. Троице-Сергиевский к одному только устью Шексны, где монахи забирали свои рыбные запасы, отправлял по несколько лодок, в каждой по сту четвертей ржи, «да тридцать пуд соли». Если в первом случае и можно допустить, что весь хлеб шел на нужды самого монастырского хозяйства, то размеры закупки указывают на почти капиталистические размеры этого последнего; и из других источников мы знаем, что в Соловках, кроме 270 человек братии, было до 1.000 «работных людей», в самом монастыре, так и на промыслах, главным обра-

---

[1]) Акты, относ. до истории тягл. населения, изд. Дьяконовым, II n° 19. Писцовые книги Рязанского края, изд. В. Сторожевым, т. I, стр. 422.

[2]) Акты юридические, № 177. Приведена у *Сергеевича*, «Древности русского права», т. I, изд. 3-е, стр. 240.

зом, солеваренном [1]). Торговля солью уже тогда была одним из крупнейших зачатков торгового капитализма и составляла почти монополию монастырей в Московской, как и в Киевской Руси. Соловецкий продавал ежегодно до 130.000 пудов соли. Кириллов-Белозерский торговал ею «на Двине, и во Твери, и в Торжку, и на Угличе, и на Кимре, и в Дмитрове, и в Ростове, и на Кинешме, и на Вологде, и на Белоозере с пригороды и по иным местам: где соль живет поценнее, и они тут и продают», наивно признавались в своем барышничестве монастырские власти. Второстепенные монастыри (как, например, Свияжский Богородицкий) продавали по 20.000 пудов соли в год. Рядом с этим монастыри вели обширный торг и другими продуктами—рыбой, маслом, скотом. Монастырские склады в Вологде занимали шестьдесят сажен в длину и восемь в ширину. Когда Кириллов монастырь, в конце XVI века, перенес свой торг на новое место, туда же пришлось передвинуть и царскую таможню: до такой степени обитель являлась коммерческой столицей края [2]).

Если монастыри барышничали, почти без соперников, солью—то по части барышничанья другими предметами первой необходимости остальное общество не отставало от них. По связи с монастырями характерной является коммерческая роль духовенства, на которую имеется целый ряд указаний. К тому священнику-прасолу из Пошехонского уезда, который «от дальних стран скот приводил и отводил от человеков к иным человекам»—его извлек из одного жития XVI века Н. А. Рожков—можно прибавить лицо, исторически и литературно весьма знаменитое, руководителя Грозного в дни его «добродетели», благовещенского протопопа Сильвестра. Наставляя своего сына быть честным в расплатах, Сильвестр приводит истинно-буржуазные доводы, под которыми охотно подписался бы любой средневековый купец. «А сам у кого что купливал, ино ему от меня милая разласка: без волокиты платеж, да еще хлеб да соль сверх; ино дружба в век; *ино всегда мимо меня не продаст*... А кому что продавывал, все в любовь, а не в оман... ино добрые люди во всем верили, и *здешние и иноземцы*». Это участие московского протопопа в *заграничной* торговле интересно потому, что указывает на круг его отношений и знакомств: мы увидим дальше, что

---

[1]) *Платонов*, цит. соч., 7. *Рожков*, цит. соч., 272—274.

[2]) Ср. *Платонов*, цит. сочин., стр. 33—34. *Костомаров*, «Очерк торговли Московского государства», стр. 153—154.

некоторые проекты первой половины царствования Грозного приходится поставить в связь именно с этим кругом. Заграничный торг уже тогда не был ничтожным, что и вполне естественно, если мы припомним, что падение Новгорода вовсе не было обрывом коммерческих сношений с заморскими странами, а лишь сосредоточением их в самой Москве. В 60-х годах прибавилось еще одно «окно в Европу»—открытый англичанами путь по Северной Двине, через Архангельск; но и это, конечно, отнюдь не упразднило старого пути. Флетчер уверяет, что пока Нарва была в русских руках (с 1558 по 1581 год) из нее выходило ежегодно не менее 100 кораблей, «больших и малых», только со льном и коноплею. Воску вывозилось, будто бы, до 50 тысяч пудов, сала—до 100 тысяч, кожи—до 100 тысяч штук в год. Падение вывоза к царствованию Федора Ивановича—втрое, а иногда вчетверо—он приписывает неудачам русской внешней политики: связь этой последней с коммерческими интересами мы рассмотрим в своем месте. По поводу же Сильвестра стоит еще отметить, что он, помимо того, что сам занимался торговлей, готовил к той же деятельности и других: многие из его воспитанников, по его рассказу, «рукодельничают всякими промыслы, *а многие торгуют в лавках; мнози гостьбу деют в различных странах всякими торговлями*». Наставник царя Ивана был не даром автором умеренного и аккуратного, истинно мещанского «Домостроя»: он же был родоначальником и коммерческого образования в России.

Если верить одному моралисту-проповеднику первой половины XVI века, который сам был, впрочем, весьма плохим образчиком добродетельного жития, увлечение торговлей было в те дни чем-то вроде повальной болезни, отбивавшей людей от всяких других занятий. «Всяк ленится учиться художеству, все бегают рукоделия, *все щапят торговати*, все поношают земледелателем...» [1]). Но по крайней мере об одном классе общества, кроме духовенства, то же решительно утверждают и иностранцы, вовсе не склонные к морализированию. Объясняя вздорожание хлебных цен в 80-х годах, Флетчер говорит: «виновата была в этом не столько земля, сколько *происки дворян, барышничающих хлебом*» [2]). Действительно, цены на хлеб в XVI веке поднимались с правильностью и неуклонностью, совсем независевшими от случайного неурожая.

---

[1]) Из проповедей митрополита Даниила, цитир. *Жданова*, «Сочинения», т. I, стр. 233, прим. 2-е.

[2]) «О государстве русском», гл. III.

По исследованиям Рожкова, влияние урожаев на хлебные цены тогда было не сильнее, чем теперь: между тем «в западном Полесье (нынешние Новгородская и Псковская губернии) в самом начале столетия рожь стоила около 7 московок за московскую четверть, а к 60-м годам ценность ее увеличилась втрое — до 21 слишком деньги. В центре (Московская и прилегающие к ней губернии) с 5 денег в 20-х годах XVI века цена четверти ржи поднялась в следующем десятилетии до 20 денег, в 50-х и 60-х годах—до 30-ти, а в 80-х годах—даже до 40 денег. На севере (губернии Архангельская, Вологодская и Олонецкая) до 20-х годов включительно 14 д. за четверть ржи считались уже дорогой ценой, а в 60-х, 70-х годах нормальной была здесь уже цена в 20—25 денег за четверть, в 80-х в 40, а в 90-х даже в 50 денег и более» [1]. А что землевладельцы были в ценах на хлеб непосредственно заинтересованы, доказывает то распространение оброка «посопным хлебом», которое мы уже отмечали выше.

Хлебный оброк или участие помещика в доле урожая был самым простым способом извлечения денег из своего имения в земледельческих местностях — как денежный оброк в неземледельческих. За одно и то же время (1565—1568 года) в Вотской пятине — нынешней Петербургской и отчасти Выборгской губерниях — посопный хлеб и доля урожая составляли 84,1% всего оброка, а деньги лишь 15,9%: а в Обонежской пятине, «по естественным своим условиям примыкающей уже к Северу», хлебный доход помещика, в обеих его формах, не превышал 25%, а денежный давал более 75% всего дохода. Но колоссальный, как мы сейчас видим, рост хлебных цен должен был толкать помещиков земледельческой Росси к новым, более сложным формам производства. Уже и тогда находились люди, которым традиционное, мелкое крестьянское хозяйство не казалось достаточно производительным. Это мелкое хозяйство было рассчитано на удовлетворение потребностей своего двора: на барский двор шла меньшая часть урожая,— четверть или треть по новгородским писцовым конца XV века [2]. Но теперь выгодно было забирать себе все, за вычетом необходимого на пропитание самих работников. В предшествующий период барская пашня служила только для удовлетворения потребностей барского двора и оттого была, обычно, очень невелика по разме-

---

[1] Цитир. сочин., стр. 210, ср. 286.
[2] Ibid., стр. 242.

рам [1]). Уже исследователь новгородского хозяйства конца XV века заметил в этом случае довольно резкую перемену. «Собственная боярская запашка в Новгороде только в редких случаях достигала 5 обеж на одну семью; обыкновенно же она не превышала 3 обеж. Напротив, с *водворением московского владычества боярская запашка значительно увеличивается.* Большие семьи, состоявшие из нескольких помещичьих дворов, запахивали нередко на себя по 16 и 17 обеж. Так, князь Димитрий с детьми имел запашку в 17 обеж, князь Борис Горбатый с матерью—16. Но и у отдельных помещичьих семей собственная запашка была нередко довольно значительная. Тот же князь Горбатый запахивал исключительно на себя 12 обеж; Гордей Сарыхазин располагал запашкой точно в таком же размере» [2]). Обработка этой расширившейся барской пашни производилась руками барских же людей — холопов; о только-что упомянутом Гордее Сарыхазине писцовая книга говорит: «и из тех обеж Гордей *пашет на себя с своими людьми* 12 обеж». В главе о русском феодализме мы имели случай отметить роль холопов, как военных сотрудников своего господина; теперь начинается их экономическая утилизация. Каких размеров она достигала, показывает завещание одного богатого человека времен молодости Грозного, князя Ив. Фед. Судцкого, писанное в 1545—1546 г.г. По завещанию можно насчитать не менее 55 семей холопов, которых князь оставляет в наследство своей жене и дочерям, не считая отпускаемых им на свободу: из них 30 семей людей *деловых страдных,* обрабатывавших княжескую пашню. Десять лет спустя, в духовной другого богатого помещика мы встречаем кроме «страдных слуг» — просто пашенных холопов — еще *страдных людей кабальных,* работников, закрепощенных путем займа. Любопытно, что и теми и другими одинаково завещатель распоряжается совершенно свободно, как своею собственностью, считая их «головами», как скот [3]). Так уже в 50-х годах шестнадцатого века явственно намечается один из корней будущего крепостного права.

Холопский труд на пашне был очень распространен в первой половине столетия: по подсчету Н. А. Рожкова, в Тверском уезде в 1539—1540 г.г. на помещичьих землях барские дворы составляли

---

[1]) См. «Русскую историю», ч. I, стр. 29.

[2]) *Никитский,* «История экономического быта Великого Новгорода», стр. 210.

[3]) См. акты, собр. Лихачевым, т. I, стр. 16—17, 29.

4,5%, холопские 8,8%, крестьянские 86,7% общего числа земледельческих дворов [1]). В отдельных имениях процент холопских дворов заходил и выше 10. Но даже с искусственным расширением контингента «страдников», посредством закабаления свободных крестьян, барская пашня росла все же быстрее, чем количество занятых на ней холопских рук. Помещик с лихорадочной торопливостью стремился увеличить площадь земли, доход с которой шел целиком ему, — захватывал не только отдельные крестьянские дворы, почему-нибудь запустевшие, но и целые деревни и починки. Уже в новгородских писцовых перед нами мелькают такие записи: «деревня (такая-то) ... дв. княжой человек (такой-то) пашет ее на князя». В московских подобных примеров гораздо больше. Вот один из типичных: «За Яковом за Семеновым сыном Якушкина отца его поместье сельцо Сушино ... да к тому же сельцу припущены в пашню: пустошь Скородная, да пустошь, *что был починок* Боровой, а поставлен на той же сельской земле, а в нем двор помещиков, *да людских пять дворов,* да двор пуст...» Там, где было раньше целых три крестьянских поселка, расположился один помещик с пятью семьями своих дворовых. Или: «За Иваном за Тимофеевым сыном... треть пустоши, что была деревня ...... да две пустоши *спущены пашнею вместе,* да жеребей пустоши...» [2]). Отдельные некрупные землевладельцы еще могли обходиться при расширении своей запашки холопским трудом, но крупный собственник, организуя свое хозяйство, должен был искать более обширного резервуара рабочих рук. И уже очень скоро помещик напал на мысль — расширять в *этом* направлении натуральные повинности сидевших на его землях крестьян. Первые образчики развития *барщины* мы встречаем, как и следовало ожидать, на земле церковной: в знаменитой грамоте митрополита Симона, которая некогда играла такую роль в спорах о возникновении русской поземельной общины. Мы уже упоминали, что доказательством существования общины этот случай никак служить не может—упоминающийся в грамоте передел произведен был не крестьянами, а вотчинником [3]). Но напечатанный в полном виде лишь в недавнее время документ оказался имеющим капитальную важность в другом отношении: им непререкаемо устанавливается наличность пра-

---

[1]) Цит. соч., стр. 140.

[2]) Первый пример взят из писцовых книг, изд. Калачевым, т. I, ч. 2-я, стр. 700—ср. там же, стр. 709, 718, 719, 721 и мн. др. Второй из писцовых книг Рязанского края, изд. Стороженым, I, стр. 169—ср. стр. 172—173 и др.

[3]) См. «Русскую историю», I, стр. 3.

вильно организованной издельной повинности крестьян уже на рубеже XV и XVI-го веков. Барщина была на первый раз не тяжелая — на каждые пять десятин своей земли крестьянин должен был пахать одну десятину церковной. Это было, однако, уже усиление барщины: поводом к грамоте было то, что крестьяне «пашут пашни на себя много, а монастырские пашни пашут мало». В имении было уже заведено трехпольное хозяйство — культура была, по-тогдашнему, довольно интенсивная. Еще более интенсивное хозяйство мы находим лет сорок спустя в дворцовых вотчинах великого князя—и то же на-ряду с урегулированной барщиной: в Волоколамском уезде дворцовые крестьяне обязаны были на каждые шесть десятин своей земли пахать седьмую на великого князя, при чем точно были определены размеры посева на этой десятине — «2 четверти ржи, а овса вдвое». Великокняжескую землю крестьяне должны были и унаваживать за свой счет, при чем опять-таки точно были определены не только количество «колышек» навоза на десятину, но и размеры каждой колышки [1]). Имения средних и мелких владельцев долго должны были дожидаться столь рационального хозяйства. Но барщина и здесь появляется довольно скоро: даже исследователь, который утверждает, что до конца XVI века «барщины не существовало», приводит целый ряд указаний на барщинные имения в первой половине столетия, и ряд этот мог бы быть еще увеличен [2]). Рядом с кабальным хозяйством завязывался и другой корень крепостного права — с дальнейшим его ростом мы познакомимся, изучая экономическую жизнь Московской Руси XVII века. Для современного читателя, привыкшего рассматривать «крепостное хозяйство», как синоним регресса, странно встретить первые зачатки крестьянской крепости в связи с интенсификацией культуры; но для феодальной вотчины, не знавшей пролетариата, было невозможно построить новую систему хозяйства на чем-либо, кроме подневольного труда в той или иной его форме. Стоит отметить, как характерный симптом, ***попытки вести хозяйство вольнонаемными рабочими:*** в 50-х годах на монастырских землях мы уже встречаем «детеньшей» — сроковых работников на денежной плате, как показывает назва-

---

[1]) Оба документа и грамота митрополита Симона и сотная 1544 г. о дворцовых имениях Волоколамского уезда напечатаны впервые г. *Милюковым* в его «Спорных вопросах финансовой истории Моск. гос—ства», стр. 32, прим. 1 и 2.

[2]) *Н. А. Рожков*, цит. соч., стр. 129 и 153—154. Ср. А. Ю. №№ 177 и 178.

ние, вербовавшихся сначала из ушедших на заработки младших членов крестьянских семей. Но сколько-нибудь значительного развития сельский пролетариат достиг только к самому концу рассматриваемого периода, когда, на фоне всеобщей «разрухи», рабский труд окончательно укоренился, как господствующая форма эксплоатации, и к услугам рабовладения был весь аппарат государственных учреждений. Необходимое условие для развития буржуазного хозяйства стало намечаться тогда, когда никаких предпосылок для этого хозяйства уже не было.

В ту эпоху, которую мы рассматриваем теперь — в первую половину царствования Грозного — аграрный кризис был еще далеко впереди, и печальный конец начинавшегося хозяйственного расцвета никем не предчувствовался. Деньги и денежное хозяйство были внове, все стремились к деньгам и все «щапили торговати». Превращение хлеба в товар сделало товаром и землю, которая давала хлеб. Охотников на этот товар было много, и редко когда в древней Руси земельная мобилизация шла более бойко, нежели в первой половине XVI века. Но раз землю много и часто покупали, значит, кто-то продавал землю, т.-е. *обезземеливался*. Один разряд терявшего землю населения мы уже видели в главе II-ой: то было мелкое вотчинное землевладение, крестьяне-вотчинники. Но обезземеливались не только они: на крайнем противоположном полюсе, среди крупнейшего вотчинного боярства, мы замечаем то же явление. Два условия вели к быстрой ликвидации тогдашних московских латифундий. Во-первых, их владельцы редко обладали способностью и охотой по-новому организовать свое хозяйство. Человек придворной и военной карьеры «боярин XVI в. был редким гостем в своих подмосковных и едва ли когда заглядывал в свои дальние вотчины и поместья; служебные обязанности и придворные отношения не давали ему досуга и не внушали охоты деятельно и непосредственно входить в подробности сельского хозяйства» [1]). Во-вторых, феодальная знатность «обязывала» и в те времена, как позже: большой боярин или медиатизированный удельный князь должен был, по традиции, держать обширный «двор», массу тунеядной челяди и дружину — иногда, как свидетельствует Курбский, в несколько тысяч человек. Пока все это жило на даровых крестьянских хлебах, боярин мог не замечать экономической тяжести своего официального престижа. Но когда многое пришлось поку-

---

[1]) *В. Ключевский*, «Боярская Дума», изд. 3-е, стр. 313.

пать на деньги — деньги, все падавшие в цене год от году, по мере развития менового хозяйства — он стал тяжким бременем на плечах крупного землевладельца. Историк служилого землевладения в XVI веке приводит трогательный, можно сказать, эпизод, ярко рисующий эту сторону дела. В 1547 году царь Иван просватал дочь одного из знатнейших своих вассалов, князя Александра Борисовича Горбатого-Шуйского, за князя И. Ф. Мстиславского—тоже из первых московских бояр. И вот оказалось, что матери невесты не в чем выехать на свадьбу, ибо муж ее, отправляясь на царскую службу, т.-е. мобилизуя свою удельную армию, заложил все, что только можно было заложить, в том числе и весь женин гардероб... [1]). Мелкий вассалитет был в этом случае в гораздо более выгодном положении: он не только не тратил денег на свою службу, но еще сам получал за нее деньги. Денежное жалованье мелкому служилому человеку все более и более входит в обычай в течение XVI века. Если прибавить к этому, что маленькое имение было гораздо легче организовать, чем большое — легко было «спустить вместе» две—три деревни или починка и совсем невозможно проделать эту операцию над несколькими десятками и сотнями деревень; что мелкому хозяину легко было лично учесть работу своих барщинных крестьян и холопов, а крупный должен был это делать через приказчика, который весьма охотно становился фактическим хозяином, — то мы увидим, что в начинавшейся борьбе крупного и среднего землевладения экономически все выгоды были на стороне последнего. И, экспроприируя богатого боярина-вотчинника в пользу мелкопоместного дворянина, опричнина шла по линии естественного экономического развития, а не против него. В этом было первое условие ее успеха.

2. Публицистика и „реформы“.

Политические последствия основного экономического факта эпохи — кризиса крупного вотчинного землевладения — сказались очень скоро. Уже в первой половине XVI века боярство чувствовало, что почва под ним колеблется, и принимало меры для упрочения своего пошатнувшегося положения. Меры эти, и их последствия, очень сжато и выразительно описаны в одном прави-

---

[1]) *Рождественский*, «Служилое землевладение XVI в.», Спб. 1897, стр. 83.

тельственном документе, относящемся к пятидесятым годам столетия. «Прежде жаловали мы,—говорится от царского имени в этом документе,—бояр своих и князей, и детей боярских, давали им города и волости в *кормленья,* и нам от крестьян челобитья великие и докука была беспрестанная, что наместники наши и волостели и их пошлинные люди, сверх нашего жалования указу, чинят им продажи и убытки великие, а от наместников и от волостей и от их пошлинных людей нам докука и челобитья многие, что им посадские и волостные люди под суд на поруки не даются, и кормов им не платят, и их бьют, и в том меж их поклепы и тяжбы великие...» [1]). Чтобы понять этот текст, нужно ясно представить себе, что такое были *наместники и волостели* удельной Руси. Это отнюдь не было что-либо похожее на современных нам губернаторов или даже на *воевод* XVII—XVIII веков — как и удельный князь не был похож на современного нам государя. Для князя его княжение было, прежде всего другого, источником доходов, в виде дани, судебных пошлин и тому подобного. Доходы эти, в натуральной форме, он не везде мог собирать сам: и иногда для него было выгодно в той или другой местности сдать их в аренду менее крупному феодалу. Тот и является в роли княжеского наместника, «кормленщика», как его еще называли, потому что он кормился от своей должности. То была в полном смысле слова *натуральная* администрация, точно соответствующая всем условиям натурального хозяйства. Арендовавший княжеские доходы боярин въезжал в волость со всей своей дворней, поставляя таким образом натурой всю местную администрацию. Его холопы и мелкие вассалы, «послужильцы», становились в волости судьями, полицейскими, сборщиками податей — «пошлинными людьми», по выражению цитированной нами грамоты, ибо в сборе разного рода пошлин была их главная функция. *Кормлени*е было, стало быть, своего рода предприятием —весьма доходным, если верить одному современному публицисту, утверждающему, что где приходилось взять в царскую казну десять рублей, в боярский карман попадало сто. Официальный документ не противоречит этому, рисуя картину неистовых вымогательств, от которых «на посадах многие крестьянские дворы, а в уездах деревни и дворы запустели, и наши (царские) *дани и оброки сходятся не сполна*». Нас, конечно, и в этом случае не должна смущать обычная *форма* древне-русских

---

[1]) Жалованная грамота переяславским рыболовам 1555 года. Акты, изд. Археограф. экспед., т. I n° 242.

документов и летописей, изображающих дело так, что царь *давал* волости и города в кормления: в тридцатых и сороковых годах на престоле всемирного православного царства сидел ребенок, который ничего никому давать не мог. Нищавшие вотчинники сами жадно разбирали кормления, видя в этом единственное средство поправить свои дела, особенно с тех пор, как «дани и оброки» были переверстаны на деньги и арендованные велико-княжеские доходы стали поступать в наиболее выгодной для арендаторов форме. В колоссальном злоупотреблении кормлениями и заключались те «ужасы» боярского правления, о которых так много приходится слышать и от современников, и от позднейших историков. А народный бунт 1547 года, внешним поводом к которому был грандиозный московский пожар, объединил в один огромный взрыв все те мелкие «сопротивления властям», о которых упоминает та же цитированная нами грамота. Что бунт был вовсе не случайным смятением на пожарище, доказывает его дата: он начался на пятый день после того, как пожар потушили. А то, что жертвой бунта стал тогдашний глава московского правительства, дядя Грозного, князь Юрий Васильевич Глинский, со своими чиновниками, совершенно определенно подчеркивает политические причины движения. Надо сказать, что движение и не было местным московским: зачинщики его нашли убежище «в иных градах»: их укрыла вся русская земля. «Предприятия» кормленщиков всех против них озлобили — и бедняков, которые не находили у них никакой управы, и богатых, которых кормленщики систематически грабили. Достаточно привести один из приемов кормленцицкого управления, чтобы настроение имущих слоев по отношению к боярской администрации стало нам совершенно ясно. «Вельможи царские в городах и на волостях,—рассказывает тот же публицист,—своим лукавством и дьявольским прельщением додумались до того, что стали выкапывать новопогребенных мертвецов из земли, зарывая потом обратно пустые гроба; а выкопанного мертвого человека, исколовши рогатиной или иссекши саблей, да вымазав кровью, подкидывали в дом к какому-нибудь богачу; а потом находили истца-ябедника, который Бога не знает, да осудив богатого неправедным судом, все подворье его и богатство грабили». На этом примере особенно ярко видно противоречие интересов кормленщика и *всего* населения: первый жил, больше всего другого, судебными пошлинами; чем больше было преступлений в его округе, тем выше был его доход. А обществу, и как раз ко-

мандующим слоям его, тем больше нужно было порядка и обеспеченности, чем оно экономически было развитее; а мы видели уже, каким темпом шло экономическое развитие русского общества в дни Грозного. То, что разрушало экономический базис боярства, готовило ему и противников: и когда после казанского похода «государь пожаловал кормлениями всю землю», это было ответом на единодушные заявления не одного «простого всенародства», бунтовавшего в 1547 году, а всех, кроме только самих бояр. Некоторые из этих заявлений до нас дошли: Важская уставная грамота 1552 года, например, в своей самой существенной части просто переписывает челобитную самих Важан, даже со всеми комплиментами челобитчиков по адресу их наместников и волостелей, которых важане по-просту сравнивали с «татями, костерями и иными лихими людьми» — разбойниками. Но то, что другие заявления этого рода до нас не дошли, отнюдь не значит, что их и не было. Было даже нечто большее простых челобитных — был целый, сознательно выработанный план реформ, нашедший себе и частное и официальное выражение — под пером первых русских публицистов, и в форме вопросов, с которыми царь Иван обращался к Стоглавому собору.

И публицистика 40—50-х годов, и «царские вопросы» интересны особенно потому, что они дают нам возможность вскрыть те социальные силы, которые стояли за так называемыми «реформами Грозного». Изображать эти «реформы», как продукт государственной мудрости самого царя и тесного кружка его советников, уже давно стало невозможно. Участие в «реформах» самого населения — и притом в качестве инициатора — также давно признано [1]). Но в анализе этого факта обыкновенно не шли дальше ссылок на «ход дел» и «силу вещей». Ценные сами по себе, как признание материального фактора движущею силой истории, они не дают нам однако же представления, в какую конкретную форму облекалась «сила вещей» в этом случае. Хозяйственные перемены, наблюдавшиеся нами в начале этой главы, должны были выдвинуть новые общественные классы или, по крайней мере, новые социальные группы. То было среднее землевладение, успешно сживавшееся с условиями нового менового хозяйства — то была буржуазия, исстари сильная в самой Москве, благодаря этому хозяйству,

---

[1]) См. по этому поводу ст. *Дитятина:* «Роль челобитий и земских соборов etc.» и ст. пишущего эти строки в сборнике «Мелкая земская единица», Спб. 1903.

получившая совсем особенное значение и влияние далеко за пределами столицы. Как оба класса должны были относиться к хозяевам удельной Руси, крупному феодальному землевладению, мы сейчас видели на отдельном примере. Но это отношение вовсе не приходится констатировать по глухим намекам источников, как можно бы, пожалуй, подумать. Оно вполне отчетливо было формулировано еще современниками — и в установлении этого факта заключается крупное научное открытие, до сих пор недостаточно учтенное историками, специально изучавшими наш шестнадцатый век, хотя первые указания на сознательную планировку «реформ», шедшую гораздо дальше того, что в действительности осуществилось, относятся еще к семидесятым годам прошлого столетия [1]). Особенный скептицизм вызывало существование современной Грозному *публицистики,* хотя, казалось бы, само по себе было ясно, что переписка царя с Курбским не могла быть изолированным фактом. Формулировать свои политические взгляды на бумаге, защищать их с пером в руке не могло же быть индивидуальной привычкой двух человек. Скептицизму много помогало твердо укоренившееся убеждение в поголовной безграмотности старой московской Руси, но и это убеждение должно было поколебаться хотя бы у тех, кто знал, что для занятия некоторых должностей (губного головы, например, о котором будет еще речь ниже) уже при Грозном требовался минимальный образовательный ценз — грамотность, — кто знал, какую роль играли в те времена люди пера и бумаги, дьяки, в глазах иностранцев часто бывшие вершителями судеб государства. «Читающей публики» в нашем смысле, конечно, не было, но в любом медвежьем углу могли найтись люди, умевшие прочесть написанное и рассказать содержание его своим соседям [2]). *Печатать* было, пожалуй, еще не для кого — печатный станок и заведен был при Грозном только для богослужебных книг, но *писать* было кому — и то, что нравилось, приобретало достаточно широкое распространение, чтобы влиять на умы по крайней мере верхних, командующих слоев. Так возник целый ряд произведений, в привычную для того времени форму притчи, апокрифа или нравоучительного исторического рассказа, влагавших очень деловое содержание. То была иногда челобитная, будто бы поданная

---

[1]) Статьи проф. *Жданова* о «Стоглавом соборе» появились в 1876 году.

[2]) Губная грамота 1539 года предполагает, например, существование грамотных помещиков— и притом не как единичное исключение,—в Белозерском уезде.

царю каким-то служилым человеком, то разговоры, которые будто бы вели о России заграничные знаменитости того времени, то повести о чужих землях и царях—в которых, однако же, не трудно было узнать московское государство и Ивана Васильевича, — то откровения святых чудотворцев. Большая часть дошедших до нас произведений этого рода связана с именем лица, несомненно легендарного, что, конечно, не мешало ему иметь однофамильцев и в действительной жизни, «выезжего из Литвы» Ивана Семеновича Пересветова [1]). Прошедший «весь свет» «воинник», служивший на своем веку и «Фордыналу ческому», и «Янушу, угорскому королю» и Петру «волоскому воеводе», был чрезвычайно удобной ширмой для резкой критики отечественных порядков: с одной стороны, он импонировал своим авторитетом полу-иностранца, видавшего тогдашнюю Европу и могшего сослаться, при случае, на ее порядки; с другой, именно как с иностранца, что с него возьмешь, коли он и погрешит чем против православной старины. А грешит в этом случае наш памфлетист много. Его этико-религиозные взгляды поражают своей широтой, если припомнить, что дело идет о современнике Стоглавого собора. Церковная идеология совершенно чужда этому, в высшей степени светскому, человеку. Пересветов недаром выехал из Литвы, где в то время сильна была протестантская пропаганда — евангелие для него едва ли не единственный религиозный авторитет, да и то не столько из-за своего божественного происхождения, сколько ради заключающихся в нем нравственных идей. Христос «дал нам евангелие правду», а правда — выше веры: «не веру Бог любит, а правду». Если по старой памяти и говорится о «ереси» греков, как о причине падения Царяграда, то это не более, как остаток традиционной фразеологии; на самом деле причиной катастрофы было то, что греки «евангелие читали, а иные слушали, а воли Божией не творили». А вот «неверный иноплеменник», Махмет-салтан, царь турецкий (Магомет II) «великую правду в царство свое ввел» — «и за то ему Бог помогает». За такие речи в московском царстве и на костер недолго

---

[1]) Все, связанные с этим именем, памфлеты собраны и изданы недавно г. Ржигой («И. С. Пересветов, публицист XVI века», Москва 1908). Издатель усиленно старается доказать реальность номинального автора, но ему удается лишь установить существование фамилии Пересветовых в XVI веке. Еще менее, конечно, можно кого-либо убедить ссылками на рукописи XVIII в., как это делает автор другого издания о Пересветове, г. Яворский. Если бы весь план «реформы» и опричнины вышел из чьей-либо одной головы, существование ее не пришлось бы доказывать таким сложным способом.

было попасть, а уж в монастырское заточение наверное: полуиностранный псевдоним был очень кстати.

Пересветовские писания все сосредоточиваются около одной центральной темы: причин падения Константинополя, гибели православного царя «Константина Ивановича» и успеха неверного «Махмет-салтана». Тема была весьма популярна в тогдашней русской литературе, но никто ее не брал с такой точки зрения. Благочестивые книжники видели в этом событие скорее радостное: ересь была посрамлена, а древнее благочестие воссияло, яко солнце, и место падшего второго Рима занял третий Рим, Москва. Приличие требовало пролить несколько слез по поводу гибели старой столицы православного царства, но ей была уже готова наследница, и особенно плакать было не о чем. Для Пересветова падение Константинополя — прежде всего грозный исторический пример того, как гибнут государства, которыми плохо управляют, где нет «правды». «Третий Рим» его нисколько не интересует: если в Москве дела будут итти таким же порядком, как в Византии, и Москве не миновать такого же конца. Будущая политическая карьера Москвы всецело зависит от того, есть ли здесь «правда». Это ничего, что в Москве «вера христианская добра и красота церковная велика»: «коли правды нет, то всего нет». А правды не будет, пока будет сохраняться удельный способ управления. Петр, волошский воевода, устами которого высказываются наиболее смелые пересветовские сентенции (для них, таким образом, понадобился *двойной* псевдоним) особенно не хвалит, что царь Иван «особную войну на свое царство напущает»: дает города и волости держать вельможам, а вельможи от слез и от крови христианской богатеют нечистым собранием. Кормленщики являются, таким образом, первым препятствием к осуществлению «правды» на русской земле. А между тем Махмет-салтан давно подал пример, как обойтись без кормлений: неверный, он «богоугодная учинил, великую мудрость и правду в царство свое ввел» — по всему царству разослал верных своих судей, «*изоброчивши их из казны своим жалованьем*». «А присуд (судебные пошлины) велел брать на себя в казну», чтобы судьям не было искушения судить неправо; и выдал им книги судебные, по чему им винити и правити. Пересветовские памфлеты возникли, как можно судить по целому ряду признаков, между 1545—1548 годами: а так называемый «Царский судебник» Ивана Васильевича издан в июне 1550 года. Одной этой справки достаточно, чтобы видеть, насколько публицистика времен Гроз-

ного была тесно связана с жизнью. Но Махмет-салтан не ограничился централизацией одних судебных доходов — он ввел «единство кассы» для всех своих доходов без исключения: «и с городов, и с волостей, и из вотчин, и из поместий все доходы в казну свою царскую велел собирати по всякий час», а сборщиков из казны оброчил своим жалованьем. Так же точно, на жалованье, организована и вся военная сила. Московское государство давно начало переходить от натурального хозяйства к денежному, но действительность была бесконечно далека от такой грандиозной ломки всего административного аппарата — от полной замены феодального государства, с его вассалитетом, режимом централизованной монархии, с чиновничеством на жалованье. То, что грезилось «Пересветову», осуществилось лишь в XVIII веке. Еще дольше пришлось дожидаться своей реализации другой мысли нашего публициста. Он великий противник рабства. Его герой, Махмет-салтан турецкий, велел «огнем пожещи» книги полные и докладные—документы о холопстве — и даже пленникам позволял выкупаться на волю по истечении семилетнего срока. И устами турецкого владыки высказывается великолепная апология свободы народа, как необходимого условия национальной самостоятельности. «В котором царстве люди порабощенны, и в том царстве люди не храбры...» Этой «правды» потомкам Пересветова пришлось ждать совсем долго. Но логика денежного хозяйства неотвратимо вела к замене холопства вольнонаемным трудом, и не вина была нашего автора, что блестящий экономический расцвет первой половины века так скоро уступил место кризису и реакции.

Но Пересветов был не только представителем нового экономического миросозерцания — его индивидуальная черта не в этом: тут у него нашлись бы товарищи и из лагеря, с которым он был в лютой вражде. Денежное хозяйство не прочь были использовать и бояре — и грабежи кормленщиков были своеобразной формой эксплоатации новых источников дохода. Пересветов — не землевладелец-предприниматель, и не буржуа из города. На купца он смотрит с обычной точки зрения средневекового потребителя: купец — обманщик, за ним нужно строго следить, торговля должна быть точно регламентирована, цены должно назначать государство: а если кто обманет, обвесит или обмерит или цену возьмет «больше устава царева», — «таковому смертная казнь бывает». И богатый землевладелец, кто бы он ни был, не возбуждает его сочувствия. Вельможи Ивана Васильевича не только потому плохи,

что они «от слез и от крови христианской богатеют», но и потому, что они вообще богатеют «и ленивеют». «Богатый о войне не мыслит, мыслит об упокои; хотя и богатырь обогатеет, и он обленивеет». И не трудно заметить группу, на стороне которой все симпатии Пересветова: ни о чем так не заботятся его герои, как о «воинниках». Махмет-салтан «умножил сердце свое к войску своему и возвеселил вся войска своя. С году на год оброчил их своим царским жалованьем из казны своей, кто чего достоин — а казне его нет конца...» Петр, волошский воевода, поучает Ивана Васильевича: «воина держать, как сокола чередить — всегда ему сердце веселить, а ни в чем на него кручины не допустить... Который воинник лют будет против недруга государева играти смертною игрой и крепко будет за веру христианскую стоять, ино таковым воинникам *имена возвышати* и сердца их веселити, и жалованья из казны своей государевой прибавляти... *и к себе их припущати и во всем им верити,* и жалобы их слушать во всем, и любить их как отцу детей своих, *и быти до них щедру*...» И Царьград пал от того, что у царя Константина «воинники» оскудели и обнищали. Но не все военные люди на одно лицо: крупные вассалы московского великого князя, которые «тем слуги его называются, что цветно, конно и людно выезжают на службу его, а крепко за веру христианскую не стоят», только «оскужают» московское царство. Идеал Пересветова тот воинник, что «в убогом образе» пришел к Августу Кесарю (любопытно, что о родстве его с московским государем наш публицист не упоминает ни словом — так мало интересует его церковная легенда) — и Август Кесарь за то его пожаловал и держал его близко себя и род его». Вместо пышного вассалитета, Петр, волошский воевода, рекомендует небольшое, но отборное, наемное войско: «двадцать тысяч юнаков храбрых с огненною стрельбою». Какого происхождения «храбрые юнаки»— все равно: «Кто у царя (Махмет-салтана) против недруга крепко стоит, играет смертною игрою, полки недруга разрывает, верно служит, *хотя от меньшего колена,* и он его на величество поднимает и имя ему велико дает... А ведома нет, какова отца они дети, да для их мудрости, царь велико на них имя наложил...»

Чтобы понять эти намеки первого русского публициста — из *светских* публицистов Пересветов безусловно был в московском государстве *первым* по времени: Курбский стал писать лет на двадцать позже, — современный читатель должен вспомнить, что как раз на эту эпоху приходится окончательное юридическое упроче-

ние одного очень известного обычая московской Руси. Ища себе экономической опоры в кормлениях, падавшее боярство пыталось найти юридическую — *в местничестве*. Сущность местничества заключалась в наследственности отношений между должностями: каждая служилая семья занимала определенное положение в ряду других таких же семей и каждый член ее, независимо от своих личных заслуг, мог претендовать на такое место в служебной иерархии, какое занимали его предки. Формально, местничество связано, конечно, с патриархальными представлениями — с тем «групповым началом», о котором нам не раз уже приходилось говорить: личные заслуги потому не принимались в расчет, что ни право, ни нравы не умели выделить лица из семейной группы. Но когда патриархальные понятия господствовали во всей силе, их и не приходилось поддерживать искусственно: всякий знал свое место, и на чужое не посягал. В случае сомнения взывали к «памяти» старых людей — и этого было достаточно. Если теперь, в подкрепление *обычаю,* начинают ссылаться на письменные *документы* — и даже фабриковать таковые — это верный знак, что обычай пошатнулся, и то, что не держится само собою, стараются подкрепить искусственно. Новейшими исследованиями почти вне спора установлено, что как первая «разрядная книга» — запись служебных назначений высших чинов московского двора, так и «государев родословец» — список знатнейших фамилий, пытавшийся фиксировать состав московской аристократии, возникли в 50-х годах шестнадцатого века [1]). То, что казалось невинным, может быть, просто глупым, остатком «до-государственной» старины, в действительности было орудием классовой борьбы — попыткой искусственными плотинами задержать надвигавшийся прилив. Если «разрядная книга» и была выборкой — хотя и то уже весьма тенденциозной — из подлинных документов, то «государев родословец» был переполнен прямо фантастическими рассказами, делавшими из всех московских бояр «знатных иностранцев». У всех в предках оказались какие-то сомнительные вельможи, выехавшие на службу к московскому великому князю: кто из немцев, кто из Литвы — в худшем случае из Орды. Крайне характерна эта эпидемия заграничных генеалогий как раз в тот момент, когда заграница становится авторитетом, и «худородные» начинают ссылаться на нее в свою пользу.

---

[1]) См. *П. Милюкова*, «Официальные и частные редакции древнейшей разрядной книги», М. 1887 и *Лихачева,* «Разрядные дьяки XVI века».

Но чтобы «благородным» понадобились такие искусственные подпорки, нужно было, чтобы «худородные» заявляли о своем существовании не одними тенденциозными апокрифами и политическими сказками. Они должны были стать реальной силой, достаточно грозной, чтобы московская знать их боялась. Местничество еще не успело народиться, а местническая система уже трещала по всем швам: во время казанского похода 1550 года «царь государь с митрополитом и со всеми бояры» приговорили: «в полках быти княжатам и детям боярским с воеводами без мест, ходити на всякие дела со всеми воеводами». Местнические счеты сохранялись только для самих воевод, которых государь обещался прибирать «рассужая их отечество»: но даже и Пересветов, при всем своем радикализме, не решался разрушать старину до самого корня и, восставая, например, против кормлений, предлагал не просто отнять у кормленщиков их доходы, а выкупать кормления за определенную сумму в казну. «А какого вельможу пожалует за его верную службу городом или волостью» Махмет-салтан, «и он пошлет к судьям своим и велит ему по доходному списку из казны выдати вдруг». Верхи служилой иерархии были еще, пока что, хорошо защищены от напора служилой демократии. Но, держась еще в центре, феодальное боярство вынуждено было сдать свои позиции в области. *Реформа областного управления* была первым торжеством пересветовских идей—и на ней стоит остановиться не только ради нее самой, но еще и потому, что она дает чрезвычайно своеобразное и жизненное освещение тем способам, какими собеседник Петра, волошского воеводы, и поклонник Махмет-салтана турецкого рассчитывал «ввести в землю правду».

По рассказу Пересветова Махмет-салтаном так была организована полиция безопасности. Если случится—в войске—воровство или разбой, на таких лихих людей, воров и разбойников, «обыск царев живет накрепко по десятникам, по сотникам и по тысяцким»: и который десятник утаит лихого человека в своем десятке, тот десятник с тем лихим человеком казнен будет смертною казнью. «*А татю и разбойнику* у *царя* у *турецкого тюрьмы нет, на третий день* его *казнят смертной казнью* для того, чтобы лиха не множилася; лишь опальным людям тюрьма до обыску царева. *И по городам* у *него* те *же десятские установлены,* и сотники, и тысяцкие на лихих людей, на татей, и на разбойников, и на ябедников, и где кого обыщут лихого человека, татя (вора) или разбойника или ябедника, тут его *казнят смертною казнью;* а десят-

ник утаит лихого человека в своем десятку, *а потом обыщут всею сотнею,* ино та же ему смертная казнь». Карамзин, видевший в пересветовских памфлетах «подлог и вымысел», доказывал это свое мнение, между прочим, тем, что «сей затейник» советовал царю «сделать все великое и хорошее, что было уже сделано». Вообще говоря, это совсем несправедливо: мы видели, что в своих проектах «Пересветов» опережает часто не только Грозного, но и Московскую Русь вообще. Но в данном случае мы наталкиваемся, действительно, на некоторую странность: полицейская организация, описанная в приведенных выше строках, с ее характеристическими признаками—специальными властями для борьбы с разбоем, повальным обыском и ответственностью тех, кто обыскивал, за результаты обыска—уже существовала в 40-х годах шестнадцатого века на Руси. Уже от 1539 года до нас дошли две грамоты—одна была дана Белозерскому краю, другая Каргополю. в обеих великий князь «клал на души» местного населения розыск разбойников и казнь их, после розыска, без суда. В этом было коренное отличие нового способа расправы от прежних: прежде все дела, в том числе и о разбое, начинались в порядке частного обвинения и разрешались в порядке состязательном—присягою сторон или «полем», судебным поединком. Волостель и в этих делах прежде всего «своего прибытка смотрел»—следил за исправным поступлением судебных пошлин и штрафов. Репрессия и в этом случае, конечно, могла быть лишь очень слабая, даже не считая тех, на практике не редких, случаев, когда кормленщик просто входил в долю с разбойниками, считая такой доход более верным, чем «присуд», которого когда-то еще дождешься. В обеих упомянутых нами грамотах упоминается об основании в Москве особого *разбойного приказа* («наши бояре, которым разбойные дела приказаны...»). Органами его на местах были не кормленщики, а особые «головы», выборные от местного населения, помощниками которых были старосты, десятские и «лучшие люди». Головы были не только на Белом озере и в Каргополе, а и в «иных городах»: это была общерусская реформа по широко задуманному плану. Реформа, несомненно, била по карману кормленщиков, отнимая у них главный источник дохода—и в этом смысле ее поняли современники. Псковской летописец, например, рассказывает, что на новые порядки наместники сильно сердились—«была наместником нелюбка велика на христиан», «христианам» же «бысть радость и льгота от лихих людей». Тут особенно при-

ходится пожалеть, что нам так суммарно известна внутренняя история московского государства в малолетство Грозного. О социальной борьбе 30-х годов мы ничего не знаем, если не считать упоминавшегося уже в начале этой главы восстания новгородских помещиков в 1537 году, по призыву князя Андрея Ивановича. Была ли между этим фактом и первою «реформой Грозного» причинная связь—мы не знаем. Но то, что потеряли бояре-кормленщики, перешло именно к помещикам, к среднему и мелкому землевладению: белозерская грамота определенно указывает, что головы, ведавшие борьбу с разбоями, должны быть взяты из местных *детей боярских,* притом грамотных, как мы уже отмечали выше. Старосты и десятские из крестьян были им подчинены. Новые власти получили гораздо больше, чем потеряли старые: кормленщик мог возбудить дело только по жалобе, «губной голова» мог любого человека поставить на пытку, а признавшегося с пытки казнить по собственной инициативе. Во всей губе не было никого, кто бы от него не зависел. Притом старая судебная гарантия—поединок и присяга—для разбойных дел были упразднены, а новых не введено; новая система и была не судом, а «сыском»: разбойников *искали,* как ищут зверя в лесу, а найдя убивали без дальнейших формальностей. Вполне по совету Пересветова: «разбойника и татя и ябедника и всякого хищника без всякого ответа смертью казнить». Если под террором разуметь суммарные казни не одних бояр, то террор Грозного приходится датировать от 1539 года, когда «тирану» было девять лет. Но зачем публицисту военно-служилой демократии понадобилось ломиться в открытую дверь чуть не десять лет спустя? Ответ на это может быть один: основные идеи пересветовских писаний значительно старше той редакции, в которой они до нас дошли. Сказание о Махмет-салтана, вероятно, существовало уж в 30-х годах. А при дальнейшей его переработке не находили нужным опускать того, что уже осуществилось в жизни, тем более, что в прочности этого осуществившегося не было пока никаких гарантий.

Пересветовские памфлеты далеко не отражали в себе всех экономически прогрессивных течений своего времени. Так думали и к этому стремились «убогие воинники». масса мелкого вассалитета московского великого князя. Но «воинниками» не исчерпывалось живое в тогдашнем московском обществе. Мы видели, что к торговому капиталу служилый человек относился подозрительно; но представители этого капитала должны были относиться к

служилой массе не лучше. Люди, шедшие «играть смертною игрою», и тогда не питали к людям мирных занятий большого почтения. Один современный публицист, стоявший в рядах противников Пересветова, весьма наглядно изображает эти отношения «военных» и «штатских» времени царя Ивана. «А верным воинам,—говорят «Валаамские чудотворцы», Сергий и Герман, тоже подававшие свои советы в делах московской внутренней политики,—подобает к своеверным и в домах их быти кротко, щедро и милостиво, и их *не бити, ниже мучити, и грабление не творити...»* Косвенно эту характеристику подтверждает и сам апологет военной демократии: «ученые люди храбрые» царя Махмета *«идут тихо воевать»;* русским воинникам этого качества, должно быть, не хватало—если приходилось вводить его в свой идеал. Но это было противоречие интересов еще довольно поверхностное и потому примиримое: тенденции «воинников» и «купцов» должны были сталкиваться в более глубокой области, где примирить стороны было несравненно труднее. Главной заботой Пересветова является государево жалованье: чуть не двадцать раз в его памфлетах возвращается та мысль, что царь должен быть щедр к своему «воинству»: «что царская щедрость до воинников, то его и мудрость». Это не была простая жадность: мы знаем уже экономическую роль «жалованья» в хозяйстве мелкого землевладельца (большинство помещиков сидело на дроби деревни: $^1/_3$ деревни, четверть сельца, полпустоши—обычные показания писцовых книг). То был его оборотный капитал: «запуская серебро» за крестьян, он добывал себе рабочие руки. По мере щедрости государевой лучше или хуже шло помещичье хозяйство. Но государева казна не была волшебным кошельком, где деньги сами нарождались: главным источником денежных доходов московского правительства были посадские люди, с их торгами и промыслами. Отсюда перекачивались деньги в карманы «воинников». Конкуренция помещика и посадского была в основе конкуренцией аграрного и торгового капитала. Один смотрел на казну с точки зрения плательщика, другой—с точки зрения получателя. Политические взгляды двух групп, естественно, были весьма различны, и нужно было много времени, нужны были совершенно исключительные обстоятельства, чтобы стал возможен их союз. В дни юности Грозного до этого было далеко. Переход местной полиции в руки помещиков вовсе не удовлетворял интересов горожан: и теперь, и позже, в XVII веке, губной голова чаще являлся для

них ворогом, от которого нужно обороняться, чем защитником и покровителем, каким рисовал его Пересветов. Губная реформа нисколько не помешала восстанию московского посада в 1547 году. Здесь нужно было что-то другое: что, об этом посадские говорили не менее внятно, чем «худородные». Московский бунт недаром сблизил царя с протопопом Сильвестром, близость которого к торгово-промышленным кругам так определенно свидетельствуется его собственными словами [1]). По всей вероятности, ему и принадлежит редакция тех «вопросов», с которыми обратился царь к Стоглавому собору, дающих более сжатое, но не менее полное выражение программе посадских, чем Пересветов—программе мелких служилых.

В первом пункте обе программы сошлись. Против феодальной аристократии были все—и запрос о *местничестве* стоит во главе сильвестровых «вопросов». Известное совпадение интересов получалось и по поводу *кормлений:* вопроса о них формально собору не ставилось, так как судьба кормлений к 1550 году, повидимому, была решена. Но точки зрения дающего и берущего уже достаточно различаются и здесь. Для помещиков важно было отнять *власть* у кормленщиков и забрать ее в свои руки: финансовой стороной дела Пересветов интересуется лишь в очень общей перспективе централизации всех царских доходов, при чем ставит дело так, что невольно является подозрение, не было ли «единство кассы», главным образом, облегчением царю способов быть щедрым по отношению к «воинникам». Интерес посадских к вопросу был гораздо более непосредственный, и они добились (вероятно, вскоре после 1547 года—по «Стоглаву» не позже 1549-го) полного сложения с населения недоимок перед кормленщиками. Что это была не столько царская *милость,* сколько удовлетворение народного *требования,* совершенно ясно для всякого, кто присмотрится, как Иван Васильевич ставил вопрос на соборе. «В предыдущее лето,—говорил царь Иван собору,—бил я вам челом с боярами своими о своем согрешении, и бояре такожде, и вы нас в наших винах благословили и простили, а я, по вашему прощению и благословению, бояр своих в прежних во всех винах пожаловал и простил, *да им же заповедал со всеми крестьяны царства своего в прежних во всяких делах помиритися на срок,* и бояре мои все, и приказные люди, и кормленщики со всеми землями по-

---

[1]) См. выше, стр. 288.

мирилися во всяких делах». Благочестивая форма этого примирения не должна нас смущать: церковная идеология была официальной идеологией московской Руси XVI века—царь православного христианства иначе выражаться не мог. Но мы должны представлять себе, конечно, не идиллическую картину всеобщего лобызания, а весьма практическую вещь: принудительный, по велению свыше, отказ кормленщиков от всяких претензий по адресу населения, которое своим правителям «кормов не платило и их било». «Собор примирения» было своего рода «ночью 4 августа» московской Руси: как в 1789-м году французские дворяне, так в 1549-м московские бояре «добровольно» и с умилением сердечным отреклись от того, что—по всему было видно—навсегда уплыло из их рук в силу неотвратимого «хода вещей». Но такая экстренная мера не давала еще удовлетворения плательщику налогов: его интересовал вопрос, будут ли возможны злоупотребления дальше, и притом со стороны не одних кормленщиков? И второй «вопрос» царя собору ставит на очередь ревизию всего московского вассалитета: «каковы за кем вотчины и каковы кормленья и всякие приказы?» А то «всякие воины», рассказывала потом летопись, передавая приговор царской думы, «*службою оскудели, непротив государева жалованья и своих вотчин служба их*». Да и вперед «поместья кому давать—в меру и пашенная земля, и непашенная... что в книгах стоит и в жалованной грамоте слово в слово». Весь проект ревизии завершался уже решенной царем посылкой писцов «всю свою землю писати и сметити». В связи с этим введено было—как доказал г. Милюков, в 1551 году—новое руководство для измерения и оценки земель, гораздо более точное, нежели применявшиеся ранее. «Воинники» старались расширить царское жалованье до пределов возможно более широких, а торговые люди стремились ввести его в границы возможно более определенные. Хотя тут было и не без заботы о наименее обеспеченном разряде служилых—их предполагалось наделить из лишков, найденных у других—но большинство помещиков, вероятно, предпочло бы, чтобы их просто оставили в покое. В особенности, когда это сопровождалось проектами, явно грозившими и денежному жалованью, путем уменьшения царской казны. Полет фантазии автора «вопросов» был не менее смелый, чем автора пересветовских брошюр, и он выступает с двумя проектами, весьма замечательными для своего времени. Первый из них заключался ни более, ни менее, как в отмене винной монополии, и тогда, как

теперь, составлявшей основу государственного благополучия. «О корчмах, данных по городам и по пригородам, по волостям; даны исстари, а ныне чтобы наместником и кормленщиком с тех земель бражное уложити, а корчем бы отнюдь не было, зане же от корчем крестьянам великая беда чинится и душам погибель». Почему при свободной продаже вина, под условием уплаты акциза («бражное»), души крестьян были бы в большей безопасности, это, конечно, трудно сказать: но что интересам московской буржуазии отмена винной монополии отвечала как нельзя лучше, в том не могло быть сомнения. Так же, как и в том, что интересам торговли как нельзя лучше отвечало *упразднение внутренних таможен,* проектировавшееся следующим «вопросом»—«о мытех по дорогам». *Мыт,* таможенная пошлина в нашем смысле слова, должен был остаться лишь «в порубежных местах от чужих земель». В прочих оставалась лишь *тамга,* торговая пошлина в тесном смысле слова: «а где торгует, ино туто тамга, то достойно, а где не торгует, ино не достойно ничего взяти...» Все это было не менее грандиозно, чем централизация всего государственного хозяйства, предлагавшаяся Пересветовым: внутренние таможни нашли свой конец лишь в царствование Елисаветы Петровны, акциз же, и то на короткое время, утвердился лишь при Александре II. Но это было не то, чего хотели «воинники», ибо вело не к наполнению царской казны и росту «государева жалованья» для тех, кто им пользовался, а совсем в противоположную сторону.

Как служилая программа нашла себе жизненное выражение в губных головах и губном сыске, так из посадской вышла «земская реформа» Ивана IV. В 1555 году или немного ранее кормленщики были выведены из городов и волостей, и заменены *излюбленными головами.* В «буржуазном» характере реформы не может быть сомнения уже потому, что перемена неизменно сопровождалась превращением всякого рода «кормов» в *денежный оброк,* отвозить который в Москву и составляло первую обязанность «излюбленных голов»: такая тенденция могла итти лишь из города. Если бы этим делом и ограничивалось, столкновения классовых интересов еще не получалось бы. Но «излюбленные головы» унаследовали от кормленщиков их *право суда*—местами они так и стали называться *выборными судьями.* Тут являлся уже очевидный параллелизм городских и помещичьих учреждений. Мы видели, что появление губных голов было явным умалением власти кормленщиков: появление выборных судей не было ли ограниче-

нием, хотя бы географическим, прав губных голов? В некоторых, по крайней мере, случаях это несомненно было так. Специальным делом губных властей была ловля разбойников; но на Ваге, например, с введением земских выборных властей, тех, которые «учнут красть или *разбивати*, или кто учнет ябедничать, или кто учнет руки подписывать, или костери учнут воровати, зернью играти или иное какое дело учнут чинити, или к кому лихим людям приезд будет», велено было отдавать «*своим излюбленным головам*», которые имели все права, в других местах принадлежавшие головам губным. Уполномоченный посадских людей становился в одну линию с уполномоченным местного землевладения и получал даже более обширные права, ибо губные головы ведали лишь разбой, а «излюбленные»—все уголовные дела без исключения. На севере России, где помещиков почти или и вовсе не было, столкновения и на этой почве получиться не могло, но всюду в других местах борьба между служилыми и посадскими на почве местного управления затянулась надолго в XVII век.

3. Опричнина.

При каких обстоятельствах произошло сближение посадских с крупными феодалами, на этот счет источники не оставили нам прямых указаний. Нам известен только голый факт, что представитель буржуазного течения, протопоп Сильвестр, во всех дворцовых конфликтах оказывается рядом с представителями старой знати—и что литературный выразитель взглядов этой последней, князь Курбский, является большим поклонником благовещенского протопопа. Кое-какие косвенные намеки в памятниках, все же, остались. На протяжении всего шестнадцатого века московский посад был тесно связан с боярской фамилией Шуйских, по знатности стоявших в первом ряду «ограбленного» потомками Калиты удельного княжья. Родовые вотчины Шуйских, в нынешней Владимирской губернии, и тогда уже были промысловыми гнездами—их последнего исторически знаменитого потомка, царя Василия Ивановича, его противники презрительно называли «шубником»—намекая на то, что все его благосостояние держалось на работе кустарей, поставлявших полушубки всей Москве. Предки этого «шубника» играли видную политическую роль в малолет-

ство Ивана IV-го. Выросши, грозный царь с негодованием и обидой припоминал, как двое из Шуйских «самовольством учинилися» его опекунами—«и тако воцаришася». Правление Шуйских продолжалось «на много время», несмотря на то, что юному Ивану Васильевичу они, видимо, очень досаждали. Когда же он—или, вернее, вертевшая им партия противников Шуйских—захотела от них избавиться, то Иван Шуйский, «присовокупя к себе всех людей и к целованию приведя, пришел ратию к Москве»—и тут произошел целый дворцовый переворот. Противники Шуйских были переарестованы и сосланы, да досталось и дружившему с ними митрополиту: его «в то время бесчестно затеснили и мантию на нем с источники изодрали». Драка происходила и в великокняжеской столовой, где многих бояр также «бесчестно толкали» и «оборвали». Ивану в это время шел уж тринадцатый год, так что события он мог хорошо помнить: и, при всей тенденциозности коронованного публициста, историку редко приходится уличать его в прямой выдумке. Для этого Иван Васильевич был слишком умен, а что касается специально Шуйских, то его рассказы в общем подтверждаются и другими источниками. Но эти рассказы дают нам картину вовсе не обычной дворцовой интриги, а массового движения—и бесчинства во дворце производились, конечно, не самими князьями, а ворвавшейся туда толпой, «иудейским сонмищем», которое могло составиться только из московских горожан. Связи промышленных магнатов с торгово-промышленными кругами вероятны и сами по себе—а тот факт, что у них оказались очень скоро общие враги, и что в 1547 году московский посад избивал и убивал тех именно Глинских, которые всегда были соперниками князей Шуйских, дает сильное фактическое обоснование этой вероятности. Темные, по летописям, события тридцатых—сороковых годов всего правильнее и рассматривать как предвестия большого движения, предшествовавшего «реформам Грозного». Союз посадских и боярства мог сложиться именно в то время—и сложиться настолько прочно, что парализовать его, на время, могла лишь опричнина, а разрушить—только катастрофа Смутного времени. С обще-политической точки зрения в таком союзе не было и ничего удивительного. Во внешней политике интересы московской буржуазии и московских феодалов давно соприкасались, как это мы могли видеть, например, на истории последнего конфликта Москвы с Новгородом, а внешняя политика боярства в половине XVI века, захват великого волжского пути—за-

воевание Казани и Астрахани—тоже отвечал требованиям торгового класса, как нельзя лучше. На этой внешней политике сошлись, впрочем, на время интересы всех командующих общественных групп: средние землевладельцы тоже с завистью смотрели на черноземное поволжье, охотно готовые променять на него выпаханный суглинок примосковских уездов. В одном из пересветовских писаний мы находим даже чрезвычайно любопытный проект—перенесение столицы в Нижний-Новгород; там-де и должен быть «стол царский, а Москва—стол великому княжеству». А Казанское царство казалось помещичьему публицисту прямо чуть не раем—«подрайскою землицей, всем угодною»: и он весьма цинически заявляет, что «таковую землицу угодную» следовало бы завоевать, даже если бы она с Русью «и в дружбе была». А так как казанцы, кроме того, и беспокоили Русь, то значит, и предлог есть отличный, чтобы с ними расправиться. Так писатель шестнадцатого века за триста лет безжалостно разбил ту, хорошо нам знакомую, историческую схему, которая из интересов государственной обороны делала движущую пружину всей московской политики: уже для Пересветова эта «государственная оборона» была просто хорошим предлогом, чтобы захватывать «вельми угодные» земли.

На почве этой общности интересов и установился, повидимому, тот компромисс между феодальной знатью, буржуазией и мелкими помещиками, который держался приблизительно до 1560 года и обыкновенно изображается, как «счастливая пора» царствования Грозного. Мелкий вассалитет был удовлетворен, вопервых, губными учреждениями и отменой кормлений, а затем, в ожидании разделов «подрайских» земель, крупной экстренной раздачей в примосковских уездах. В 1550 году кругом Москвы была помещена тысяча лучших дворян и детей боярских из провинции, образовавших своего рода царскую гвардию. Раздача, конечно, мотивировалась военными соображениями, но не трудно видеть, что именно военных оснований сажать отборную часть войска около самой столицы не было. Это был момент наибольшего напряжения казанских войн, и со стратегической точки зрения можно было ожидать сосредоточения лучшей части московского войска как раз где-нибудь около Нижнего. На самом деле это была подачка верхам помещичьей массы, при чем не была обделена и боярская молодежь: как известно, в числе получивших подмосковные поместья был и князь Курбский, которому было

тогда 22 года. Посадские люди были удовлетворены «земскою реформой»—и совершившейся около этого времени передачей им сбора косвенных налогов. Новейшая историография и эту «верную службу» склонна была изображать как особого рода тягло, весьма будто бы тяжелое для российского купечества. Но жалобы на тягость «верных служеб» мы слышим в средине следующего века, когда Россия стала окончательно дворянской, а конкуренция помещиков во всех областях стала нестерпимо жать торговое сословие. По существу же отдача косвенных налогов «на веру» была облегченной формой откупа: откупщик нес на себе те же обязательства, что и верный сборщик, но он должен был авансировать правительству крупную сумму, тогда как верный голова имел те же выгоды, что и откупщик, не затрачивая вперед ни одной копейки. Что иные верные головы на этом деле разорялись, это возможно, но случалось разоряться и откупщикам. Всякое предпринимательство имеет эту оборотную сторону. В большинстве же случаев, конечно, сосредоточение в руках немногих купцов огромных сумм таможенных и кабацких сборов как нельзя более способствовало концентрации купеческих капиталов [1]).

То, что рассказывают об организации верховного управления в эти годы Курбский и Грозный, каждый со своей точки зрения, дает понять, что компромисс распространялся и на политическую область. В состав правительства были введены представители групп, до сих пор не имевших места в царской «курии»: рядом с князьями и боярами мы встречаем здесь уже знакомого нам протопопа Сильвестра и выходца из мелких служилых людей, Алексея Адашева, которого Грозный, по его словам, «взял от гноища и учинил с вельможами». Функции Адашева, насколько они нам известны, указывают вполне определенно, что он вошел в правящую группу как представитель антибоярской оппозиции. Ему было поручено «челобитныя примати у бедных и обидимых», причем рекомендовалось не бояться «сильных и славных, восхитивших чести на ся и своим насилием бедных и немощных погубляющих». Нет сомнения, что ликвидация кормлений и знаменитое «примирение» кормленщиков с населением происходили при его ближайшем участии. На теперешний взгляд он занимал, конечно, довольно странное официальное положение—был «ложничим»,

---

[1]) Один из первых случаев отдачи «на веру» таможенных доходов—не отдельному лицу, а целой компании из 22 человек—относится к 1551 году.

т.-е. камердинером, Ивана Васильевича и мылся с царем в бане. что и дает повод говорить о нем только, как о «любимце» Ивана, и этим объяснять его политическое значение. Но мы не должны забывать, что мы в расцвете средневековья, что отделить царское хозяйство от государственного управления бывало не под силу и более поздней эпохе. До какой степени все носило чисто средневековый характер, показывают те способы воздействия на Ивана, какие применял протопоп Сильвестр—о них мы имеем совершенно согласные, по существу дела, свидетельства самых разнообразных источников, и Курбского, и Пересветова, и самого Грозного. Слова последнего о «детских страшилах» вполне подтверждаются тем, что говорили его противники о «мечтательных страхах», пущенных в ход протопопом ради укрощения нрава юного царя. А постоянные намеки Пересветова на «ворожбы и кудесы» показывают, что факт очень скоро и очень хорошо стал известен весьма широким кругам. Чем именно Сильвестр стращал Ивана Васильевича, мы не знаем—по всей вероятности, тут было не без «видений» и «явлений»: впоследствии, в Смутное время, их, как мы увидим, стали фабриковать прямо по заказу. Во всяком случае, фиктивные чудеса, как средство доставить преобладание своей политической партии, ничем не уступают удачной попытке Ивана Калиты—использовать мощи митрополита Петра, как средство доставить политическое преобладание Москве над Тверью. От XIV по XVI век в этом отношении большой перемены не произошло.

Введение в состав московской «курии» новых, необычных элементов сопровождалось некоторым изменением и механизма управления. Так как документальных следов это изменение не оставило—кроме одного отрицательного, о котором сейчас будет речь,—то нет ничего мудреного, что историки его и не заметили, или не обратили на него большого внимания. Во главе московского государства стояла, как и во главе удельного княжества московского, боярская дума—совет крупнейших вассалов под председательством сюзерена. Историки давно уже заметили, что в этом совете уже с первой половины XVI века на-ряду с членами *по положению,* так сказать,—ими были, в первую голову, все бывшие удельные князья и их потомки,—появляются члены *по назначению:* «дети боярские, что в думе живут». Давно замечено также, что, по мере расширения круга обязательных членов думы, которых в обычае было приглашать, у московских великих кня-

зей является все чаще и чаще тенденция созывать для решения дел, особенно интересовавших великокняжескую власть, не всех своих думцев, а лишь некоторых. Но это рассматривалось всегда, как изъявление *личной воли* государя. Не останавливаясь на вопросе, так ли это было до Грозного—мы еще недавно были свидетелями, как «дворцовая интрига» при ближайшем рассмотрении оказалась народным бунтом—мы можем констатировать, что в дни молодости Грозного это было не так. Во главе управления стояла не вся дума, а небольшое совещание отчасти думных, а отчасти, может быть, и не думных людей [1]), но члены этого совещания были избраны не царем, а кем-то другим. В пылу полемики Грозный даже утверждал потом, что туда нарочно подбирались люди, для него неприятные, но из его же слов видно, что неприятны они были своей самостоятельностью по отношению к царской власти, и возможно, что именно этот признак и решал выбор. Если понимать слова Курбского буквально, то это совещание так и называлось «советом выборных»—*избранной радой*—выборных, разумеется, от полного состава боярской думы, хотя и не всегда из этого состава. Повинуясь обстоятельствам, бояре должны были допустить сюда людей, не принадлежавших к их корпорации, но предварительно они точно фиксировали состав этой последней. Мы уже упоминали, что социальная борьба заставила московское боярство именно около этого времени искусственно закрепить местнические обычаи. Одна фраза Грозного дает повод думать, что в этой самообороне московская знать не ограничилась составлением, задним числом, разрядных книг и «родословца», что местничеству была придана сила закона, обязательного для самого государя. Грозный обвиняет Сильвестра и Адашева в том, что они отняли у царя власть—определять порядок мест бояр в думе: «еже вам бояром *по нашему жалованью* честию председания почтенным быти». Лет шестьдесят спустя в одном местническом споре боярская дума формально заявила, что *пожаловать* государь может лишь «деньгами да поместьем, но не отечеством»: тогда это звучало уже анахронизмом, пережитком умирающей старины, но в 50-х годах шестнадцатого века это было, повидимому, живой современностью. Не предположив, что местнические счеты получили в это время юридическую силу, обязательную и для государствен-

---

[1]) Аргументация проф. Ключевского в пользу того, что Адашев был «думным дворянином» до своего назначения окольничим, кажется нам немного искусственной.

ной власти, что состав боярства был гарантирован от произвольных перетасовок сверху, мы не поймем и знаменитой приписки к царскому судебнику, уже вызвавшей столько ученых споров. Приписка эта, как известно, гласит: «а которые будут дела новые, а в сем судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и *со всех бояр приговору* вершатся, и те дела в сем судебнике приписывати». Проф. Сергеевич сделал из этого вывод, что с этого момента «царь—только председатель боярской коллегии и без ее согласия не может издавать новых законов». Он объясняет это новшество «притязаниями» избранной рады, чем и вызывает законное недоумение проф. Дьяконова: к чему же это «избранной раде», т.-е. сравнительно тесному кружку, понадобилось хлопотать о законодательных правах для *всех* бояр? А так как формула судебника повторяется нередко и после падения «избранной рады», то проф. Дьяконов и заключает отсюда, что Сергеевич напрасно придает ей какое-то особое значение. Но «избранная рада», как мы видели, была представительницей именно «всех бояр», точнее—их исполнительным органом: живучесть же формулы только доказывает, насколько прочен был успех боярства в 1550-м году (или, быть может, немного раньше: формулу впервые мы встречаем уже в 1549-м). Сама опричнина была косвенным признанием этого успеха: царю не понадобились бы чрезвычайные полномочия, если бы он в обычном порядке не был связан решениями боярской коллегии. А выражение «все бояре» не имело бы никакого смысла, если бы состав этих «всех» не был точно и независимо от произвола сверху определен: так, приписка к судебнику косвенно еще раз подтверждает тот вывод, что около 1550 года местнические расчеты получили обязательную юридическую силу.

Как видим, классической *реформы* Грозного и приходится искать в переменах, происшедших в положении боярства. «Реформы», ведь, всегда состоят в том, что правящий класс или группа ценою более или менее серьезных уступок в деталях спасает основу своего положения. Боярство Грозного сделало много уступок, и капитальных: упразднение кормлений и введение в состав «избранной рады» торгового священника Сильвестра и «батожника» Алексея Адашева были главными из них. Зато боярские роды сомкнулись в корпорацию, состав которой стал неприкосновенен для кого бы то ни было—и без совета с этой корпорацией в полном ее составе царь не мог предпринять важней-

шего, по тем временам, законодательного дела—пополнения судебника. Боярство обнаружило большой политический такт: отказавшись от многих, материально выгодных, привилегий, оно удержало этой ценой в своих руках источник их всех—государственную власть.

Компромисс мог держаться, пока все «договаривающиеся стороны» могли считать свои интересы удовлетворенными. Но что единственным прочно выигравшим оказалось боярство—это должно было обнаружиться, и действительно обнаружилось, весьма скоро. Раньше всего, повидимому, рухнули надежды средних и мелких помещиков на великие и богатые милости, связанные с покорением Казани. Во-первых, покорение это оказалось далеко не столь легким делом: население казанского ханства еще шесть лет после падения своей столицы ожесточенно сопротивлялось, и русские города, построенные в ново-покоренной области, все время «в осаде были от них». Серьезность восстания свидетельствуется тем, что инсургентам удалось уничтожить целое большое московское войско, с боярином Борисом Морозовым во главе,—которого они взяли в плен, а потом убили. По словам Курбского, при усмирении погибло столько русских служилых, что и поверить трудно: «иже вере неподобно». Дорого досталась товарищам Пересветова «подрайская землица»! А затем первыми, кто воспользовался ею, оказались не помещики, а крестьяне. Гораздо раньше, чем страна была настолько усмирена, чтобы можно было завести там правильное помещичье хозяйство, по следам русских отрядов потянлуись на восток длинные вереницы переселенцев. Они гибли десятками тысяч, но воля была так соблазнительна, а вольных земель в центральных областях оставалось так мало, что гибель передовых не останавливала следующих. По некоторым признакам можно заключить, что отлив населения на восток начался параллельно с казанскими походами, не дожидаясь их успеха: уже в 1552 году Серпуховский посад потерял около пятой части своих тяглых людей; в том же году Важская земля недаром просила—и получила—право «старых своих тяглецов вывозити назад бессрочно и беспошлинно». Уже в начале 50-х годов крестьянин становится редкой вещью, которую стараются привязать к своей земле всеми возможными средствами—и переманить с земли своего соседа. Для помещика лучшим средством для этого тогда, как и теперь, служило, как мы знаем, «запускание серебра» за крестьян: перспектива жирной денежной ссуды, которую

можно получить у себя же дома, никуда не ходя, одна могла несколько уравновесить надежду на «вольную землю». Денежный капитал был нужен помещикам, как никогда—и мы имеем яркое свидетельство того, к чему приводили их эти поиски. Пятидесятые годы XVI века отмечены в русской истории такой же «сисахтией», как и начало XII столетия в Киеве,—только она преследовала интересы другого общественного класса, чем тогда. Около Рождества 1557 года вышли один за другим два царских указа. Первым из них служилым людям, занявшим деньги до 25 декабря этого года, разрешалось уплатить долг с рассрочкою на пять лет, при чем взыскивать можно было только данный взаймы капитал («истинное»), процентов же можно было и вовсе не платить. На будущее же время рост был понижен вдвое: вместо 20%, обычного роста половины XVI века, разрешалось брать лишь 10. От уплаты % освобождались и не служилые,—значит, торговые люди, но на них не распространялась льготная рассрочка, они должны были уплатить занятое «все сполна». Второй указ (11 января следующего 1558 года, т.-е. три недели спустя после первого) еще рельефнее рисует положение задолжавших помещиков. Он трактует о тех из них, которые заложили земли свои «за рост пахати». Дав ссуду, кредитор вступал во все права хозяина—и за проценты начинал эксплоатировать имение в свою пользу. Это была мертвая петля—расплатиться с долгом при таких условиях почти не было возможности. Рассрочка, установленная предыдущим указом, распространялась теперь и на таких заемщиков, при чем, уплатив пятую часть долга, должник получал имение в свое распоряжение обратно. Из доходов он мог теперь постепенно погасить весь долг—опять-таки без процентов. Мертвая петля с землевладельцев была снята,—но этой оборонительной меры было мало. Одним запрещением брать высокие проценты нельзя было создать дешевый кредит, если его не было. Можно было испробовать два выхода. Один заключался в том, на чем давно настаивала помещичья публицистика. Чем брать взаймы у ростовщиков, легче было получить из казны, в виде «государева жалованья». «Что царская щедрость до воинников, то его и мудрость,—говорил, как мы помним, Иван Семенович Пересветов,—щедрая рука николи же не оскудеет и славу себе великую собирает». Другой выход состоял в том, чтобы свое запустошенное поместье променять на чужое, в полном порядке. «Княженецкие вотчины», именья бывших удельных князей, переполненные прочно

сидящими на местах «старожильцами», где слабая эксплоатация крестьян, невысокие натуральные оброки, не давали поводов для эмиграции, давно должны были привлекать жадные взоры бившихся, как рыба об лед, небогатых помещиков. Сколько земли пропадало даром в руках у этих «ленивых богатин»! Но «ленивые богатины» стояли поперек дороги и на первом пути. Государево жалованье было платой за поход: нет походов, нет и жалованья. Но крупное боярство, которому на свой счет приходилось мобилизовать целые полки, иначе относилось к войне, чем те, для кого война означала прибавку денег в кармане. Боярская «Беседа валаамских чудотворцев» проповедывала мирную внешнюю политику: только «неверные тщатся в ратех на убийство, и на грабление, и на блуд, и на всякую нечистоту и злобу своими храбростьми, и тем хвалятся». Другой, родственный по духу «Беседе» публицист, «царскую премудрую мудрость» ставит гораздо выше «царской храбрости». *Избранная рада* решительно настаивала на предпочтительности оборонительных войн перед наступательными. «Мужи храбрые и мужественные», которым очень сочувствует князь Курбский, «советовали и стужали» Грозному после Казани начать большую кампанию против крымцев—выставляя, как нравственный мотив, необходимость «избавить пленных множайших», томящихся в крымской неволе. Для служилой массы это был самый неинтересный поход, какой можно придумать—трудный, длинный и весьма мало вознаграждавшийся, так как до самого Крыма добраться было невозможно, а в пустых южнорусских степях нечего было взять. За то, когда какими-то другими советниками царя, без всякого сомнения из рядов «воинства», был поднят вопрос о походе в Лифляндию, сулившем легкий и быстрый захват земель бывшего Ливонского ордена, этот проект встретил ожесточенное сопротивление со стороны «избранной рады». Иван Васильевич с горечью потом вспоминал, «какова отягчения словесная пострадал» он в те дни «от попа Селивестра, и от Алексея», и от бояр. «Еже какова скорбного ни сотворится нам, то вся сия Герман ради случися»: Сильвестр и болезнь царицы Анастасии—от которой она впоследствии умерла—объяснял Ивану, как наказание свыше за ливонскую войну. Это «лютое належание» боярства на царя, в защиту пассивной и против активной внешней политики, могло еще менее остаться тайной для широких кругов служилого общества, нежели «вражбы и кудесы» того же Сильвестра. Ливонская война была первым яблоком раз-

дора, брошенным в среду столковавшихся перед взятием Казани общественных групп. Она обнаружила, в то же время, и всю ненадежность представительства служилых низов в «избранной раде»—так, как оно было допущено боярами. Попав в среду феодальной знати, Алексей Адашев весьма быстро обоярился—в 1555 году он и формально стал членом боярской коллегии, получив один из высших думных чинов, *окольничество*—и смирно шел на поводу за своими родовитыми коллегами. Это с особенной резкостью сказалось во время известного конфликта 1553 года, когда Грозный тяжко заболел—думали, что смертельно,—и бояре хотели воспользоваться его кончиной, чтобы провести на московский престол чисто феодального кандидата, сына «крамольника» 30-х годов, удельного князя Андрея Старицкого—Владимира Андреевича. Успех этой кандидатуры закрепил бы окончательно победу, одержанную боярами в 1550 году: царь, выбранный боярской корпорацией, без всяких наследственных прав на престол («от четвертого удельного родился», насмехался потом Иван над своим несчастным соперником), был бы, действительно, только «первым между равными». Характерно, что Курбский впоследствии стыдился кандидатуры Владимира Андреевича и открекался от нее—и не менее характерно, что Адашевы были за нее и присягнули сыну Грозного только очень нехотя и нескоро, под давлением противной стороны, во главе которой стояли Захарьины, будущие Романовы. Это был первый случай открытого разрыва царя с его «избранной радой». Но важно было не столько это, сколько другое: масса неродовитого дворянства должна была убедиться, что ее человек в этой «раде» стал боярским человеком. Политическая карьера Адашева была кончена именно в тот момент, когда он формально вошел в ряды московской знати.

Поведение Сильвестра в этом первом конфликте, из-за престолонаследия, было, вероятно, самостоятельнее—и лучше отвечало интересам тех, кого он представлял в «избранной раде». Московский посад всегда был вместе с Шуйскими, как мы видели, а во главе партии, поддерживавшей кандидатуру Владимира Андреевича мы находим одного из Шуйских, Ивана Михайловича, и старого их союзника—в то же время близкого человека к Сильвестру и влиятельнейшего члена «избранной рады»,—князя Дмитрия Курлятева. Что Сильвестр был с ними, это было очень естественно, и протопопа сгубило, конечно, не это, а, скорее всего, ложная позиция, занятая им в вопросе о ливонской войне.

Новгородский выходец—Сильвестр был из Новгорода—оказался слишком патриотом своего старого отечества, и едва ли очень угодил московским купцам, отговаривая Ивана Васильевича от захвата берегов Балтийского моря. Для уцелевших остатков новгородской торговли мир в Ливонии был, конечно, выгоднее войны; но московская буржуазия жадно искала в это время выхода к морю—потому в Москве так и ухватились за англичан, приехавших в Архангельск [1]). Популярность Сильвестра упала так быстро, что он не мог этого не почувствовать—очень скоро после начала ливонской войны мы уже находим торгового протопопа постриженником Кирилло-Белозерского монастыря, и постриженником добровольным, как определенно говорит Курбский. Царская опала настигла Сильвестра уже монахом—«отставка» же его была вызвана сознанием, что он перестал иметь влияние на царя; а влияние это опиралось на московский посад, выдвинувший бывшего новгородского священника во время бунта 1547 года.

Война с «Германы» была решительным успехом «воинства», и в первые месяцы, повидимому, лучше отвечала его ожиданиям, чем завоевание Казани. Реформация надорвала политическое могущество рыцарского ордена, правившего Ливонией,—с этой точки зрения момент был выбран весьма удачно. Отсутствие почти всякого формального предлога начать военные действия— ибо трудно было считать таковым неуплату дерптским епископом какой-то полумифической «дани», о которой в Москве не вспоминали пятьдесят лет—уравновешивалось религиозными соображениями: лифляндские немцы, «иже и веры христианские отступили», «сами себе новое имя изобретше, нарекшеся Евангелики», в одном из припадков протестантского фанатизма сожгли, между прочим, и русские иконы. Война, значит, опять, как при покорении Новгорода, шла «за веру». Объектом военных операций была Нарва, о значении которой для русского экспорта в те времена уже говорилось выше. В мае 1558 года Нарва была взята, а неделю спустя был взят Сыренск, при впадении Наровы

---

[1]) Как раз в это время, перед ливонской войной, по поводу мирного договора с Швецией «гости и купцы отчин великого государя из многих городов говорили, чтоб им в торговых делах была воля, которые захотят торговать в шведской земле, и те бы торговали в шведской земле, а которые захотят итти из шведской земли в Любок и в Антроп (Антверпен), в испанскую землю, Англию, Францию,—тем была бы воля и береженье, и корабли были бы им готовы».

в Чудское озеро: дорога от Пскова к морю была теперь вся в русских руках. Под влиянием этого успеха компромисс, на котором держалась «избранная рада», должен был дать новую трещину. Буржуазия была удовлетворена—для нее продолжение войны не имело более смысла. Когда в Москву приехало орденское посольство хлопотать о мире, оно нашло поддержку именно со стороны московского купечества. Но на «воинство» успех произвел совсем иное впечатление. Поход 1558 года дал огромную добычу—война в богатой, культурной стране была совсем не тем, что борьба с инородцами в далекой Казани или погоня по степям за неуловимыми крымцами. Помещикам уже грезилось прочное завоевание всей Ливонии и раздача в поместья богатых мыз немецких рыцарей: раздача эта уже и началась фактически. Но переход под власть России всего юго-восточного побережья Балтики поднимал на ноги всю восточную Европу: этого не могли допустить ни шведы, ни поляки. Первые заняли (в 1561 г.) Ревель. Вторые пошли гораздо дальше. Сначала, по виленскому договору (сентябрь 1559), они обязались защищать владения Ливонского ордена от Москвы; затем (в ноябре 1561 года) совсем аннексировали Ливонию, гарантировав ей внутреннее самоуправление. Мотивы, вызвавшие вмешательство Польши в дело, как нельзя быть более отчетливо формулированы уже современниками. «Ливония знаменита своим приморским положением, обилием гаваней,—читаем мы в одном современном памятнике,— Если эта страна будет принадлежать королю, то ему будет принадлежать и владычество над морем. О пользе иметь гавань в государстве засвидетельствуют все знатные фамилии в Польше: необыкновенно увеличилось благосостояние частных людей с тех пор, как королевство получило во владение прусские гавани, и теперь народ наш немногим европейским народам уступит в роскоши относительно одежды и украшений, в обилии золота и серебра; обогатится и казна королевская взиманием податей торговых». А если упустить Ливонию, то все это перейдет к «опасному соседу» [1]). То, за чем тянулся русский торговый капитал, не в меньшей степени нужно было польскому. Но в распоряжении последнего были такие средства борьбы, до каких было далеко московской Руси Грозного—еще чисто средневековой стране по своему военному устройству. Даже еще до непо-

[1]) См. *Соловьев*, изд. «Общ. Пользы», ч. II, стр. 185—186.

средственного вмешательства самих поляков, только при их поддержке, магистр Ливонского ордена, Кетлер, оказался в состоянии держаться против московских ополчений. Русские победы в этот период войны обеспечивались только колоссальным численным перевесом армии Грозного: там, где орден мог выставить сотни солдат, москвичей были десятки тысяч. С появлением на поле битвы польско-литовских войск дела пошли еще медленнее, хотя польское правительство, видимо, надеялось добиться своего без серьезной войны, одними демонстрациями, и все время не прерывало переговоров с Москвой. В начале 1563 года, с напряжением всех московских сил, под личным предводительством самого Ивана Васильевича, был взят Полоцк. Уже то, как московское правительство старалось раздуть значение этой победы, ясно показывает, что в Москве нужно было «поддержать настроение». Царский посол, ехавший в столицу с вестью о победе, должен был во всех городах по дороге устраивать торжественные молебствия с колокольным звоном, «что Бог милосердие свое великое показал царю и великому князю, вотчину его, город Полтеск, совсем в руки ему дал»,—а сам царь возвращался в Москву как после взятия Казани. Но всем этим нельзя было закрасить того факта, что тотчас после этого блестящего успеха заключено было перемирие: на дальнейшие успехи, видимо, не очень надеялись. Когда перемирие кончилось, дела пошли уже явно под гору. Лучший из московских воевод, князь Курбский, с пятнадцатью тысячами человек проиграл битву 4.000 поляков, под Невлем; а в январе следующего (1564) года вся московская рать была на-голову разбита под Оршей, при чем погибли все старшие воеводы, вместе с главнокомандующим, князем Петром Ивановичем Шуйским, остатки же их войска прибежали в Полоцк только «своими головами», оставив в руках неприятеля всю артиллерию и обоз.

Бояре не хотели войны—теперь бояре проигрывают войну: ясно, что это боярская измена. Такой ход мысли был совершенно неизбежен в головах «воинников», живших надеждой теперь на «вифлянские» земли, как раньше они жили надеждой на казанские. Террор опричнины может быть понят только в связи с неудачами ливонской войны—как французский террор 1792—1793 годов в связи с нашествием союзников. И как там, так и тут отдельные случаи должны были до чрезвычайности укреплять подозрительное настроение. Толки об измене бояр пугали самих бояр, им уже мерещилась плаха и кол; с другой стороны, уже самая война

была победой мелкого вассалитета над коалицией бояр и посадских (очень скоро, как мы видели, отколовшихся от военной партии). Всем этим достаточно объясняется боярская эмиграция, случаи которой учащаются именно с начала 60-х годов. Перед нами мелькают при этом самые крупные имена московской феодальной знати: то мы слышим о попытке «отъехать» князя Глинского, то берется поручительство за князя Ивана Бельского, то уже сам Бельский ручается за князя Воротынского. Самое сильное впечатление должен был произвести побег в Литву князя Андрея Михайловича Курбского, московского главнокомандующего в Ливонии, в апреле 1564 года: в моральной подготовке переворота 3 декабря того же года это была, может быть, самая решительная минута. «И как учали нам наши бояре изменяти, стали мы вас, страдников, к себе приближати», писал впоследствии Грозный одному из своих «кромешников», Ваське Грязному: и событие 30 апреля 1564 года, главный воевода царского войска вдруг оказавшийся воеводой короля польского и великого князя литовского, нужно сказать, достаточно оправдывало эти слова Ивана Васильевича. О «боярской измене» можно было теперь говорить, что называется, с фактами в руках.

Мы не знаем, в какой именно связи с боярскими «изменами» стоит громкий политический процесс, разыгравшийся в Москве в июне предыдущего (1563) года. Дьяк бывшего, за десять лет перед тем, кандидата на царский престол, князя Владимира Андреевича, донес на своего господина и на его мать, княгиню Офросинью, что они оба «многие неправды ко царю и великому князю чинят». По доносу дьяка, в Александровской слободе, где жил уже тогда Грозный, «многие о том сыски были и *те их* (князя Владимира и княгини Евфросинии) ***неисправления сысканы***». По «печалованию» митрополита Макария и всего «освященного собора» царь виновных «простил», но старая княгиня должна была постричься, а у Владимира Андреевича вскоре потом была отобрана часть его прежних удельных земель, взамен которых, впрочем, ему дали другие. Был ли тут, действительно, какой-нибудь заговор, или доносчик просто воспользовался уже болезненно возбужденною подозрительностью Ивана Васильевича, трудно сказать. Но, субъективно у Грозного было теперь основание оправдывать свое дальнейшее поведение тем, что он «за себя стал». Государственный переворот, диктовавшийся, объективно, экономическими условиями, нашел теперь себе форму: он должен был стать

актом династической и личной самообороны царя против покушений свергнуть его и его семью с московского трона.

Объективные условия были таковы. И война на западе, как война на востоке, не дала удовлетворений земельному голоду мелкого вассалитета—и не оправдала вообще тех ожиданий, с которыми ее начали. Внешняя политика не сулила больше ни земли, ни денег—то и другое приходилось отыскивать внутри государства. Но этим последним продолжало управлять боярство. Оно было правительством, реально державшим в руках дела: царь был лишь символом, величиной идеальной, от которой, практически, помещикам было ни тепло, ни холодно. Боярская публицистика охотно признавала, что «Богом вся свыше предано есть помазаннику царю и великому Богом избранному князю», но, «предав» царям всю власть, Господь «повелел» им «*царство держати и власть имети* с *князи и* с *бояры*». Церковная идеология, как мы видели в своем месте, в этом отношении освятила феодальную практику: церкви, как учреждению, нужно было сильное московское государство, но вовсе не сильный московский государь. Напротив, для *личного* обуздания царской воли аскетическая мораль церкви давала новые средства: стоит прочитать у Грозного (в его «переписке»), как тщательно был регламентирован весь царский обиход протопопом Сильвестром—«вся не по своей воле бяху—глаголю же до обуща (обуви) и спанья». «Таково убо тогда православия сияние!»—с горьким сарказмом вспоминал потом эти времена царь всего православного христианства. Иван Васильевич на себе испытал, что быть простым, обыкновенным светским государем — вроде хотя бы Махмета-салтана турецкого—куда приятнее, нежели земным богом. И когда он писал: «Российское самодержавство изначала сами владеют всеми царствы, а не бояре и вельможи»—он, несмотря на якобы историческую ссылку, высказывал крупную новую мысль, может быть, и не ему лично принадлежавшую—глухие ссылки на Пересветова нередки в «письмах» Грозного, да неизвестно еще, представляют ли и сами «письма» продукт личного, а не коллективного творчества. Нет ничего несправедливее, как отрицать принципиальность Грозного в его борьбе с боярством и видеть в этой борьбе какое-то политическое топтание на одном месте. Был ли тут инициатором сам Иван Васильевич или нет—всего правдоподобнее, что нет—но его «опричнина» была попыткой за полтораста лет до Петра основать личное самодержание петровской монар-

хии. Попытка была слишком преждевременна, и крушение ее было неизбежно: но кто на нее дерзнул, стояли, нельзя в этом сомневаться, выше своих современников. Дорога «воинства» шла через труп старого московского феодализма — и это делало «воинство» прогрессивным независимо от того, какие мотивы им непосредственно руководили. Старые вотчины внутри государства были теперь единственным земельным фондом, на счет которого могло шириться среднепоместное землевладение; государева казна—единственным источником денежных капиталов. Но для того, чтобы воспользоваться тем и другим, нужно было захватить в свои руки власть, а она была в руках враждебной группы, державшей ее не только со всей цепкостью вековой традиции, но и со всей силой нравственного авторитета. У Пересветова могло хватить дерзости заявить, что политика выше религии—«правда» выше «веры». Но его рядовые сторонники не решились бы этого даже подумать—не только высказать, а тем более провести в жизнь. Переворот 3 декабря 1564 года и был попыткой не то, чтобы внести новое содержание в старые формы, а поставить новые формы *рядом* со старыми, не трогая старых учреждений, сделать так, чтобы они служили лишь ширмою для новых людей, не имевших права в эти учреждения войти как настоящие хозяева. Петр был смелее—он просто посадил в боярскую думу своих чиновников, да назвал ее сенатом: и все с этим примирились. Но ко времени Петра бояре были уже, в глазах всех, «зяблым, упавшим деревом». За полтораста лет раньше дерево уже начало терять свою листву, но корни его еще крепко сидели в земле и сразу их было не вырвать.

Отказывая «опричнине» в принципиальном значении, историки зато изображают ее появление в очень драматической форме. Как Грозный, необычно-торжественным походом, вдруг, внезапно, уехал в Александровскую слободу (поясняется, обыкновенно, и где находится это таинственное, неожиданно всплывающее в русской истории место), как он оттуда начал обсылаться грамотами с московским «народом», и какой эффект это произвело—все об этом читали, конечно, много раз, и повторять этот рассказ не приходится. На самом деле, как и все на свете, событие было гораздо «будничнее». Александровская слобода давно была летней резиденцией Грозного—в летописи мы постоянно там его встречаем, в промежутках между военными походами и,

очень частыми, разъездами по московским областям, на богомолье и с хозяйственными целями. Внезапность отъезда в значительной степени ослабляется тем, что Иван Васильевич взял с собою всю свою ценную движимость—всю «святость, иконы и кресты, златом и драгим камением украшенные», сосуды, золотые и серебряные, весь свой гардероб и всю свою казну и мобилизировал всю свою гвардию—«дворян и детей боярских выбор из всех городов, которых прибрал государь быти с ним». Всех этих приготовлений нельзя было сделать ни в один, ни в два дня—тем более, что царские придворные тоже выбирались «всем домом»: им приказано было «ехати с женами и с детьми». Двинувшись, Грозный никуда не исчезал на целый месяц, как опять-таки можно было бы подумать: москвичи отлично знали, что Николу чудотворца (6 декабря) царь праздновал в Коломенском, в воскресенье, 17 числа, был в Тайнинском, а 21 приехал к Троице—встречать Рождество. К слову сказать, это был и обычный маршрут его поездок в Александровскую слободу, не считая заезда в Коломенское, объяснявшегося неожиданной в дакабре ростепелью и разливом рек. А то, как быстро пошли дела в Москве—3-го туда прибыл гонец с царской грамотой, 5-го же московское посольство было уже в слободе—ясно показывает, что здесь этот месяц не прошел даром, и пока царь ездил, его сторонники тщательно подготовили тешащий современных историков драматический эффект. Если Грозный за этот месяц, действительно, поседел и постарел на двадцать лет, как рассказывают иностранцы, то, конечно, не от того, что он все время трепетал за успех своей неожиданной «выходки», а потому, что не легко было рвать со всем прошлым человеку, выросшему и воспитавшемуся в феодальной среде. Петр родился уже в иной обстановке, с детства привык думать и действовать не по обычаю—Ивану приходилось все ломать на тридцать пятом году: было от чего поседеть. А что материальная сила в его руках, что внешний, физический, так сказать, успех переворота для царя и его новых советников обеспечен—это видели все настолько, что ни малейшей попытки сопротивляться со стороны советников старых мы не встречаем. И, конечно, не потому, чтобы они, в холопстве своем, не смели подумать о сопротивлении: бежать на службу к католическому королю от царя всех православных было несравненно большим моральным скачком, нежели попытаться повторить то, что делал всего за тридцать лет Андрей Иванович

Старицкий, когда он поднимал на московское правительство новгородских помещиков. Но теперь боярам некого было бы поднять против своих врагов: помещики были с Александровской слободой, а московский посад был теперь с помещиками, а не с боярством. Гости, купцы и «все православное христианство града Москвы», в ответ на милостивую царскую грамоту, прочтенную на собрании высшего московского купечества, гостей, «чтобы они себе никоторого сумнения не держали, гнева на них и опалы никоторые нет», единодушно ответили, что они «за государских лиходеев и изменников не стоят и сами их истребят». И в посольстве, отправившемся в слободу, рядом со владыками, игуменами и боярами, мы опять встречаем гостей, купцов и даже простых «черных людей», которым в государственном деле было, казалось бы, совсем не место. Московский посад головой выдал своих вчерашних союзников. На переговоры с ним, по всей вероятности, и понадобился будущим опричникам целый месяц—и его решение окончательно склонило чашку весов на сторону переворота. Чем было вызвано это решение, не трудно понять из дальнейшего: торговый капитал сам был приобщен к опричнине, и это сулило такие выгоды, которых не могла уравновесить никакая протекция князей Шуйских. Вскоре после переворота мы встречаем купцов и гостей в качестве официальных агентов московского правительства и в Константинополе, и в Антверпене, и в Англии—во всех «поморских государствах», куда они так стремились: и все они были снабжены не только всяческими охранными грамотами, но и «бологодетью» из царской казны [1]). «В опричнину попали все главные (торговые) пути с большею частью городов, на них стоящих», говорит проф. Платонов—и тут же дает весьма убедительный перечень этих городов. «Недаром англичане, имевшие дело с северными областями, просили о том, чтобы и их ведали в опричнине; недаром и Строгановы потянулись туда же: торгово-промышленный капитал, конечно, нуждался в поддержке той администрации, которая ведала край и, как видно, не боялся тех ужасов, с которыми у нас связывается представление об опричнине» [2]). Еще бы бояться того, что при участии этого самого капитала было и создано!

Переворот 1564 года был произведен коалицией посадских и мелкого вассалитета, точно так же, как «реформы» были делом

---

[1]) Александро-Невская летопись, Русск. историч. Библ. III, с. 292.
[2]) «Очерки по истории Смуты», стр. 149—150.

коалиции буржуазии и боярства. Этим объясняется, по всей вероятности, одна особенность читавшейся на Москве царской грамоты, не обращавшая на себя большого внимания до сих пор, но весьма интересная. Переворот был, по форме, актом самообороны царя от его крупных вассалов, которые «почали изменяти». Но об этих «изменных делах» весьма глухо упоминается лишь в конце. Обстоятельно же в грамоте развиваются три пункта. Во-первых, поведение бояр в малолетство Ивана Васильевича—«которые они измены делали и убытки государству его до его государского возрасту». Во-вторых, то, что бояре и воеводы «земли его государские себе розымали» и, держачи за собою поместья и вотчины великие, собрали себе, незаконными путями, великие богатства. Этот, чисто пересветовский, мотив имел в виду совершенно определенный факт, уже поведший к частичной конфискации вотчинных земель года за три до переворота. 15 января 1562 года Иван Васильевич «приговорил с бояры (не со «всеми бояры»!): которые вотчины за князьями Ярославскими, за Стародубскими, за Ростовскими, за Суздальскими, за Тверскими, за Оболенскими, за Белозерскими, за Воротынскими, за Мосальскими, за Трубецкими, за Одоевскими и *за иными служилыми князьями вотчины старинные,* и тем князьям вотчин своих не продавати и не меняти». Право распоряжения этих владельцев своими землями было низведено до минимума: они могли лишь завещать имения своим сыновьям. Если сыновей не было, вотчина шла на государя, который от себя уже делал все, что требовалось: «устраивал его душу», т.-е. наделял церковь землями на помин души умершего, выделял участок «на прожитие» его вдове, приданое его дочерям, и т. д. Но этого мало: на государя же отбираются все вотчины этого разряда, проданные за пятнадцать или за двадцать—не менее, как за десять лет до издания указа, без всякого вознаграждения. Мотив такой чрезвычайной меры был тот, что по постановлениям еще времен Ивана III и Василия Ивановича, отца Грозного, княженецкие вотчины можно было продавать лишь с разрешения великого князя: с переменой владельца земли менялся вассал, и сюзерен, по весьма распространенному не в одной России феодальному обычаю, должен был быть спрошен о его согласии. В малолетство Грозного, видимо, пренебрегали этой формальностью—избранная же рада, кажется, в числе прочего добилась и прямой ее отмены. Иначе невозможно понять обвинения Грозного по адресу Сильвестра,

что тот «вотчины ветру подобно раздал неподобно»—«которым вотчинам еже несть потреба от вас даятися»—«и то деда нашего (Ивана III) уложения разрушил». Оттого за вотчины, купленные после 1552 года, полагалось вознаграждение, размер которого, впрочем, всецело зависел от благоусмотрения государя, вотчины же, проданные и купленные до господства «избранной рады», конфисковались безусловно. В 1562 году еще пытались действовать легально и шли на кое-какие уступки: но в прокламации, какой была государева грамота 1565 года, не было нужды стесняться такими тонкостями—и легальность всякую давно решились отбросить. Вотчинные земли прямо приравнивались к государским, а самовольное распоряжение ими—к расхищению казенной собственности. Наконец, третий мотив грамоты—его мы тоже видели у Пересветова—отвращение бояр к активной внешней политике: то, что они «о всем православном христианстве не хотели радети» и от Крымского, и от Литовского, и от Немец не хотели христианства обороняти. Все, как мы видим, мотивы очень популярные среди широких масс, а читатели и слушатели прокламации, конечно, не стали бы разбираться, почему же это за грехи и ошибки бояр в дни его юности царь собрался наказать их только на четвертом десятке? Для дворцового переворота, устраиваемого сверху, эти агитаторские приемы были бы, конечно, очень странны: но дело в том, что и в декабре—январе 1564—5-го года, как и в 1547-м году, как и в тридцатых годах, при Шуйских, на сцене опять были народные массы, а с ними приходилось говорить понятным для них языком.

Но содержание этой прокламации, как и всякой другой, вовсе не определяло текущей политики тех, кто ее выпустил. Когда между Грозным и приехавшей в слободу московской депутацией начались деловые переговоры, царем были выставлены требования, вполне отвечавшие причинам, непосредственно вызвавшим переворот, и не имевшие ничего общего с воспоминаниями о днях его молодости. В этих требованиях приходится различать две стороны. Во-первых, Грозный настаивал на реализации обещания, данного от чистого сердца московским купечеством, и к которому, со страху, присоединились бояре и всякие приказные люди, оставшиеся в Москве: выдать ему головою его ворогов. «Своих изменников, которые измены ему государю делали и в чем ему государю были непослушны, на тех опалы своя класти, а иных казнити и *животы их и статки имати*». Во исполнение

этого требования, в феврале месяце того же года—переговоры происходили, как мы помним, в начале января—целый ряд бояр из старых княжеских родов были казнены, другие пострижены в монашество, третьи сосланы на житье в Казань с женами и детьми, при чем имущество всех было конфисковано. Тут характерно, между прочим, как быстро «подрайская землица» обратилась в место ссылки, суррогат теперешней Сибири, тогда еще не завоеванной. Опалы и казни давали сразу в руки земельный фонд, вероятно, достаточный для вознаграждения, на первый случай, непосредственных участников coup d'État. Для обеспечения же их денежным жалованьем царь и великий князь приговорил *за подъем свой* взять из земского приказа сто тысяч рублей (около 5 миллионов на золото, по вычислению проф. Ключевского). Но переворот был лишь делом кружка—преследовал же он интересы *класса:* всех помещиков нельзя было удовлетворить от нескольких опал и небольшой экспроприации из казенного сундука. Форма, придуманная для удовлетворения «воинства», была столь же старомодна, как ново было содержание произведенной перемены. В государстве царь не мог распоряжаться без своих бояр, сюзерен без своей курии: но на своем «домэне», в своем дворцовом хозяйстве, он был так же полновластен, как любой вотчинник у себя дома. Превратить полгосударства, и притом самую богатую его часть, в государев домэн—и получалась возможность распоряжаться огромной территорией, не спрашиваясь феодальной знати. Не нарушая постановления 1550 года, здесь можно было делать все, что угодно, помимо приговора не только «всех бояр», но хотя бы и одного боярина: на государев дворцовый обиход право боярской коллегии, конечно, не распространялось. И название для увеличенного до колоссальных размеров царского двора было выбрано, сначала, очень старое: государь потребовал «учинити ему на своем государстве себе *опришнину*». Так назывались имения, выделявшиеся в прежнее время княгиням-вдовам «на прожиток», до смерти. Впоследствии вошел в употребление более точный и более новый термин *двор*. По своему устройству этот «двор» был точной копией старой государевой вотчины—до того точной, что один новейший исследователь даже усомнился, были ли у опричнины какие-либо свои учреждения или же лишь в старые учреждения были посажены, рядом со старыми «приказными», новые люди для ведания «опришных» дел. Произведя настоящую революцию, творцы опричнины как будто на-

рочно старались, чтобы она не оставила никаких юридических следов: и нельзя не видеть в этом сознательной тенденции, вытекавшей из тех же побуждений, что и содержание разобранной нами выше царской прокламации. Народу нужен был виноватый, и его уверяли, что острие переворота направлено против отдельных, хотя бы и очень многочисленных, *лиц:* порядок же остается во всей неприкосновенности старый. Ибо нельзя же было одним почерком пера уничтожить то, чему царь и его теперешние советники безропотно подчинялись не один десяток лет, и от чего, морально, они, быть может, не могли освободиться даже и в эту минуту. Те оргии, которыми ознаменовалась опричнина, и насчет которых единодушны и русские и иностранные свидетели, едва ли можно объяснить только тем, что люди пересветовского склада были гораздо свободнее от аскетической морали, нежели консерваторы типа протопопа Сильвестра или «в некоторых нравах ангелам подобного» Алексея Адашева. Тут, несомненно, было не без стремления заглушить укоры совести, мучившей людей, посягнувших на то, что в их собственных глазах еще сохраняло нравственный авторитет. Оттого они и выдержали так хорошо иллюзию борьбы с лицами при полной неприкосновенности порядка, что обманули не только московскую толпу XVI века, но и некоторых новейших исследователей, в других случаях весьма проницательных.

Но, колоссально расширившись, государев двор не вобрал в себя, однако, всей страны—и *земщина,* ведавшая все, что осталось за пределами опричнины, далеко не была простой декорацией. Территориальный состав опричнины всего лучше изучен проф. Платоновым—мы изобразим поэтому дело его словами. «Территория опричнины,—говорит этот ученый,—слагавшаяся постепенно, в 70-х годах XVI века составлена была из городов и волостей, лежавших в центральных и северных местностях государства—в Поморье, Замосковных и Заоцких городах, в пятинах Обонежской и Бежецкой. Опираясь на севере на «великое море-окиан», опричные земли клином врезывались в земщину, разделяя ее надвое. На восток за земщиною оставались Пермские и Вятские города, Понизовье и Рязань; на запад—города порубежные: «от немецкой украйны» (Псковские и Новгородские), «от литовской украйны» (Великие Луки, Смоленск и другие) и города Северские. На юге эти две полосы «земщины» связывались украинными городами да «диким полем». Московским севером, Поморьем и

двумя Новгородскими пятинами опричнина владела безраздельно, в центральных же областях ее земли перемешивались с земскими в такой чересполосице, которую нельзя не только объяснить, но и просто изобразить», но ей, однако, оказалось возможно дать общую характеристику. «В опричном управлении,—говорит в другом месте г. Платонов,- собрались *старые удельные земли*»[1]. То, к чему закон 1562 года стремился исподволь и в легальных рамках, три года спустя было осуществлено сразу и революционным путем: наиболее ценная часть территории московского государства вместе с крупнейшими торгово-промышленными центрами стала непосредственно уделом государя, где, не стесняемые старым боярством, и начали теперь распоряжаться люди «пересветовской» партии. На долю старой власти осталось что похуже и победнее: любопытно, что как Казань стала теперь местом ссылки, так и вновь завоеванные земли на западе охотно уступались теперь «земским». Новгородские «дети боярские» из Обонежской и Бежецкой пятин, когда эти пятины были взяты в опричнину, получили поместья около Полоцка—на только-что присоединенных и весьма ненадежных литовских землях.

Царский указ, даже в том коротком изложении, какое сохранилось нам в официальной московской летописи — подлинный указ об опричнине до нас не дошел, как не дошла и большая часть официальных документов этой бурной поры, — говорит вполне внятно, в чью пользу и для какой ближайшей цели совершена была вся эта земельная перетасовка. «А учинити государю у себя в опришнине князей и дворян и детей боярских, дворовых и городовых, 1.000 голов, *и поместья им подавати в тех городех с одново, которые городы поимал в опришнину»,* говорит летопись. Новейшие историки усмотрели здесь что-то вроде учреждения корпуса жандармов, отряд дозорщиков внутренней крамолы и охранителей безопасности царя и царства. Но при всей соблазнительности этой аналогии ею не следует увлекаться. Задачей жандармов с самого начала был политический сыск, и только: материальную опору правительства составляли не они — их для этого было и слишком мало,—а постоянная армия. Опричники представляли из себя нечто совсем другое. Отряд в тысячу человек детей боярских на деле, так как каждый являлся на службу с несколькими вооруженными холопами, был корпусом тысяч в десять—двенадцать человек.

---

[1]) «Очерки по истории Смуты», стр. 151—ср. 145.

Ни у одного крупного землевладельца, даже из бывших удельных князей, не могло быть такой дружины — даже двое или трое вместе из самых крупных, вероятно, не набрали бы столько. А кроме этого конного отряда в опричнине была и пехота: «да и стрельцов приговорил учинити себе особно», говорит летописец. Для борьбы с «внутренним врагом» такой силы было более чем достаточно: великий князь московский был теперь, единолично, самым крупным из московских феодалов. Опричная армия была логическим выводом из опричного двора государева — и, нужно прибавить, самая возможность образования этого двора обусловливалась существованием такой армии. Ибо новизной в этой части указа было не появление при царе «тысячи голов», а ее размещение на землях, бесцеремонно отобранных у других владельцев: «а вотчинников и помещиков, которым не быти в опришнине, велел (государь) из тех городов вывести». Тысячный же отряд существовал давно, еще с 1550 года, и в перевороте 3 декабря 1564 года он играл совершенно ту же роль, что парижский гарнизон в перевороте 2 декабря 1851 года. Эта царская гвардия, учрежденная, как мы помним, боярским правительством, как подачка верхам помещичьей массы, стала могучим орудием в борьбе помещичьего класса против самих бояр. Только ее близостью к царю и объясняется то, что стоявшие теперь около него «худородные» осмелились так дерзко поднять руку на своих вчерашних феодальных господ, и в необычном царском поезде эта «приборная» тысяча, двинувшаяся «за царем с людьми и с коньми, со всем служебным нарядом», была, конечно, самой внушительной частью. По всей вероятности, она вся, за некоторыми *личными* исключениями, и вошла в состав опричного корпуса, так что фактически этот последний ничего нового собою и не представлял. И как до, так и после 1565 года, на-ряду с военно-полицейским она продолжала иметь и политическое значение: в нее входили «лучшие», т.-е. наиболее влиятельные, элементы местных дворянских обществ — «походные предводители уездного дворянства», как модернизирует их положение г. Ключевский. Как он же обстоятельно выяснил, они и в царской гвардии не теряли связи с уездными мирами: иначе говоря, они были политическими вождями помещичьего класса, и раздача им опричных земель не означала ничего другого, как то, что рядом со старым, боярско-вотчинным, государством, обрезанным больше чем наполовину, возникло новое, дворянско-помещичье.

Весьма ярким доказательством того, что во всем перевороте речь шла об установлении нового *классового* режима, для которого личная власть царя была лишь орудием, а вовсе не об освобождении лично Грозного от стеснявшей его боярской опеки, служит оригинальное собрание, происходившее в Москве летом следующего 1566 года. 28 июня этого года царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси «говорил» с князем Владимиром Андреевичем, со своими «богомольцами», архиепископами, епископами и всем «освященным собором», со всеми боярами и с приказными людьми, с князьями, с детьми боярскими и со служилыми людьми— «да и с гостьми, и с купцы, и со всеми торговыми людьми». Предметом разговора было перемирие, предлагавшееся польско-литовским правительством на условиях, которые в дипломатии носят название «uti possidetis»: те города, что были заняты уже московскими войсками, оставались за Москвой, а часть Ливонии, откуда московские отряды были вытеснены неприятелем, отходила к Польше. Грозному предлагали, таким образом, отказаться от той цели, ради которой была затеяна война — захвата всей Ливонии. В сущности был поставлен вопрос — стоит ли воевать дальше: и весьма характерно, что Грозный и его новое правительство не взяли решение этого вопроса на свою ответственность, а поставили его на суд всех тех, от имени кого они правили. Было бы, конечно, очень наивно представлять себе этот «земский собор 1566 года», первый собор, существование которого исторически бесспорно [1]), как что-то хотя бы отдаленно похожее на современное народное представительство: самое плохое из последних все же, хотя бы в идее, говорит от имени «народа», а феодальная Европа чужда была самого этого понятия. Средневековые собрания, и у нас, и на западе, представляли собою не народ, а «чины», États, Stände. С этой точки зрения в соборе 1566 года важна выдающаяся роль двух «чинов», политическое значение которых раньше едва ли открыто признавалось: мелкого вассалитета, «дворянства», и буржуазии. Количественно помещики составляли даже большинство этого собрания. Ливонская война решена была нехотя и под давлением снизу, боярами, а о том, продолжать ли эту войну, спрашивали теперь «воинников», да «торговых людей». Целая пропасть отделяла 1557 от 1566 года. Подробности прений на соборе до нас не дошли, да вряд ли и были прения. Однодневный собор был созван, ко-

[1]) Долгое время в науке принято было считать его вторым, но теперь можно считать почти безусловно доказанной легендарность так называемого «первого» собора 1550 года.

нечно, не для того, чтобы узнать мнения собравшихся: помещиков и купцов собрали потому, что уже знали их мнения, и авторитетом их голосов надеялись подкрепить авторитет заявлений московской дипломатии. Собор, в сущности, был торжественной декорацией, а настоящие переговоры происходили, конечно, до собора, и, по всему судя, далеко не внушили правительству той уверенности, какой дышали торжественные речи на самом соборе. Там было постановлено продолжать войну во что бы то ни стало, а на деле продолжались переговоры, которые и закончились через несколько лет перемирием на условиях, предлагавшихся поляками. Сюзерену-Грозному нужно было формальное обещание его нового, широкого вассалитета — в случае, если будет война, «за государя с коня помереть», — а со стороны торговых людей вынуть последний грош из кармана, если понадобится. Это обещание Грозный и получил — и на своих речах служилые и торговые люди поцеловали крест. Использовать или не использовать это обещание во всей широте было уже дело правительства, которое при этом руководилось, конечно, общественным мнением тех, кто его поставил, но узнавало оно это мнение не на соборе.

Шестидесятыми годами заканчивается, собственно, та интенсивная эволюция классовых отношений, которая наполняет вторую треть шестнадцатого века. Взбунтовавшиеся против своих феодальных господ землевладельцы второй руки из крамольников, которых в 1537 году вешали по большим дорогам «не вместе и до Новагорода», стали в 1566 году господами положения, а вчерашних господ уже они «казнили да вешали», как крамольников. Экономический переворот, крушение старого вотчинного землевладения, нашел себе политическое выражение в смене у власти одного общественного класса другим. О дальнейшей борьбе внутри самой опричнины—что она была, в том не может быть сомнения—мы ничего не знаем. Относительно этого периода царствования Грозного историк находится в таком же положении, как относительно императорского Рима: сколько-нибудь подробные рассказы мы имеем только из боярского лагеря, и нет ничего удивительного, что, кроме «ужасов опричнины», мы ничего там не находим. Что режим помещичьего управления был террористический, в этом, конечно, не может быть сомнения. В данных обстоятельствах, перед лицом властных «изменников» и внешнего неприятеля, становившегося час от часу грознее, и в котором «изменники» легко находили себе опору—революционные правительства и более куль-

турных эпох правили при помощи террора. А в нашем случае террор был в нравах эпохи. За двадцать лет до опричнины дворянский публицист так изображал расправу своего героя и любимца, Махмет-салтана, с неправедными судьями: «царь им вины в том не учинил, *только их велел живых одрати,* да рек так: если они обростут телом опять, ино им вина отдается. И кожи их велел проделати, и велел бумаги набити, и в судебнях велел железным гвоздием прибити, и написати велел на кожах их: *без таковые грозы правды в царство не мочно ввести*» [1]). Такова была теория. Губные учреждения дают нам практику, которая ей не уступала. Губной голова мог любого обывателя подвергнуть пытке, не только по прямому доносу, но просто на основании дурных слухов о нем — по «язычной молвке». Простого подозрения, что данное лицо — «лихой человек», было достаточно, чтобы ему начали выворачивать суставы и ломать кости, рвать ему тело кнутом и жечь огнем. Это была общепринятая норма тогдашнего уголовного права: Грозный мог сослаться на нее, возражая Курбскому на его упреки в «неслыханном мучительстве». Если изменников не казнить, то разбойников и воров тоже нельзя пытать — «то убо вся царствия не в строении и междоусобными браньми вся растлятся». Но тогдашнее уголовное право имело еще и другую особенность. Построенное, как и весь тогдашний общественный уклад, на групповом начале, оно допускало коллективную ответственность целой семьи и даже целой области за преступления отдельных лиц. Если жители данной «губы» на повальном обыске не умели или не хотели назвать, кто у них «лихие люди» — а потом лихие люди в округе сыскивались помимо них, «лучших людей» из местного населения били кнутом, а иногда подвергали и смертной казни. Эта форма круговой поруки объясняет нам самый трагический эпизод опричного террора — расправу с новгородцами в 1570 году. Что в основе этого мрачного дела лежал какой-то заговор, в котором приняли участие, с одной стороны, видные члены государева «двора»—«печатник» (государственный канцлер) Висковатов, «казначей» (министр финансов) Фуников, наиболее близкие лично к царю опричники— Басманов-старший и князь Вяземский, — с другой, высшее новгородское духовенство: в этом, кажется, не может быть сомнения. Мелькало опять и имя Владимира Андреевича Старицкого: возможно, впрочем, что этим именем просто пользовались при каждом подобном случае, как обвинением в роялизме в 1793 году во

---

[1]) «И. С. Пересветов», г. *Ржиги,* стр. 72 (из сказаний о Махмет-салтане).

Франции. Населению Новгорода было поставлено в вину, что оно не выдало изменников, укрыло «лихих людей»: что подавляющее большинство ничего не могло знать о заговоре, не меняло дела, — ведь и об обыкновенных, уголовных «лихих людях» откуда же было знать большинству населения? Что круговая порука была здесь больше предлогом, легко видеть, если присмотреться к тому, кто был главным объектом погрома. Хватали и били «на правеже» (неисправного должника в тогдашней Руси били палками, пока не отдаст долга), монастырских старцев, представителей крупнейшего капитала того времени, гостей и иных торговых людей; ограбили казну архиепископа и ризницу Софийского собора. Дело о заговоре явилось, таким образом, удобным поводом для экспроприации крупной новгородской буржуазии — что, конечно, было очень в интересах буржуазии московской, — и новгородской церкви. Несмотря на всю грызню между боярскими публицистами и «вселукавыми мнихами иосифлянами», церковь, как феодальная сила, всегда была теснее связана с боярством, нежели с более демократическими слоями. В дни «избранной рады» между митрополитом Макарием и этою последнею отношения были самые дружеские, а опричнина начала низведением с митрополии Афанасия и кончила ссылкою и убийством митрополита Филиппа, не перестававшего «печаловаться» за опальных бояр. Одним из последних актов политики Грозного была отмена церковного иммунитета («тарханных грамот», в 1584 году), прямо мотивированная тем, что от церковных привилегий «воинственному чину оскудение приходит велие». Выступление опричнины против новгородской церкви в 1570 году, таким образом, более, чем понятно.



Бронзовое украшение из Муромского могильника Владимирской губ. (собрание графа А. С. Уварова).

4. Экономические итоги XVI века.



концу XVI столетия в старых уездах Московского государства среднее, поместное, землевладение решительно господствовало. Крупные вотчины сохранялись лишь как исключение. Мелкое землевладение тоже было окончательно поглощено поместным. Типичным было владение от 100 до 350 четвертей «в поле» (от 150 до 525 десятин по нашему теперешнему счету, при трехпольной системе) — со всеми признаками «нового» хозяйства: барской запашкой, денежным оброком и крестьянами, привязанными к земле неоплатным долгом. Как это ни странно на наш современный взгляд, в первой половине века то был экономически прогрессивный тип — мы это видели уже в начале прошлой главы. Его победа должна была бы обозначать крупный хозяйственный успех — окончательное торжество «денежной» системы над «натуральной». На деле мы видим совсем иное. Натуральные повинности, кристаллизовавшиеся в сложное целое, известное нам под именем «крепостного права», снова появляются в центре сцены и держатся на этот раз цепко и надолго. Вольнонаемный рабочий, снившийся дворянскому публицисту первой половины века и, местами, действительно заводившийся в более передовых имениях, исчезает на целых два столетия: Иван Семенович Пересветов находит себе продолжателей только в дворянских «манчестерцах» сороковых и пятидесятых годов прошлого века. Ожесточенная погоня за землей в середине столетия, нашедшая себе такое яркое выражение в конфискациях опричнины, казалось, должна была бы показывать, что по крайней мере в центре государства бóльшая часть доступных земель уже использована. Вовсе нет, однако: по писцовым книгам 1584—1586 годов в одиннадцати станах Москов-

ского уезда на 23.974 десятины пашни приходилось почти 120 тысяч десятин перелогу, земли запущенной и заброшенной, отчасти вновь поросшей лесом. Тогда как в первой половине века леса в центре были так основательно сведены, что иностранным путешественникам около Москвы попадались одни пни, а из «лесных зверей» им удавалось видеть только зайцев, что очень дивило людей, привыкших считать Московию лесистой и обильной всяким зверем страной. Один очень авторитетный исследователь решается даже утверждать, что регресс был не только количественный, что техника земледелия падала в Московской Руси параллельно с торжеством среднего землевладения. «В большинстве названных (центральных) уездов,—говорит он,—с замечательной правильностью паровая зерновая система, господствовавшая в шестидесятых годах XVI века, сменяется к концу столетия переложной системой; исключение представляет в сущности только один Московский уезд, — и то отчасти» [1]). Во имя экономического прогресса раздавив феодального вотчинника, помещик очень быстро сам становится экономически отсталым типом: вот каким парадоксом заканчивается история русского народного хозяйства эпохи Грозного.

В наличной исторической литературе мы не найдем разрешения этого парадокса. Кроме сейчас цитированного исследователя его никто, кажется, даже и не заметил. Его ответ также едва ли может нас удовлетворить: источник «вредного хозяйственного влияния поместной системы» этот автор видит в «юридической природе поместья», владения условного и потому ненадежного. Но условным было всякое владение в феодальном мире — всякое «держание» обусловливалось несением известного рода повинностей, и могло быть отобрано в случае неисправности владельца. Если исходить от этого признака, вся феодальная Европа должна была бы представлять нам картину непрерывного экономического упадка; но такой картины мы нигде не замечаем, и в самой России хозяйственный прогресс начала шестнадцатого столетия возник в обстановке вполне феодальной. Поместья времен Ивана III или Василия Ивановича точно так же были условным владением, точно так же каждую минуту могли быть отобраны «на государя», как и поместья конца царствования Грозного: почему же первые шли вперед, а вторые назад? Мы уже оставляем в стороне другой вопрос,

---

[1]) *Н. Рожков*, «Сельское хозяйство Московской Руси XVI в.», стр. 66. Большинство цифровых данных настоящего очерка заимствованы из этого же исследования.

который не мало должен был бы смутить историка-материалиста: как это могло сложиться в стране право, якобы резко противоречащее экономическим интересам господствующего класса? Словом, единственный автор, от которого мы могли бы ждать «совета и поучения» в настоящем случае, нас покидает беспомощными. Весьма возможно, что его последователи в деле применения материалистического метода к данным русского прошлого будут счастливее. Но, пока что, приходится искать ответа на вопрос, отправляясь от некоторых общих наблюдений, которые, при всей скудости нашего материала, все же сделать можно.

В числе объективных условий, к концу эпохи Грозного затормозивших развитие денежного хозяйства в России — а это *общее* условие давало окраску всем частностям, — наиболее осязательным и заметным был ход *внешней политики*. Ливонская война, не нужно забывать этого, была войной из-за торговых путей, т.-е., косвенно, из-за рынков. Будущее показало, что экономическая эволюция России, в своем темпе, по крайней мере, на три четверти зависела от того, удастся ли нам завести прямые связи с наиболее прогрессивными странами Запада, или нет. Современники это понимали и высказывали вполне отчетливо. Нарвский порт, оставшийся в русских руках и после первых неудач ливонской войны, весьма серьезно смущал наших конкурентов. «Московский государь ежедневно увеличивает свое могущество приобретением предметов, которые привозятся в Нарву,—озабоченно писал польский король Елизавете английской, стараясь отговорить англичан от торговых сношений с Москвою:—ибо сюда привозятся не только товары, но и оружие, до сих пор ему неизвестное; привозят не только произведения художеств, но приезжают и сами художники, посредством которых он приобретает средства побеждать всех. Вашему величеству не безызвестны силы этого врага и власть, какою он пользуется над своими подданными. До сих пор мы могли побеждать его только потому, что он был чужд образованности, не знал искусств. Но если нарвская навигация будет продолжаться, что будет ему неизвестно?» Понимали это и в Москве — и так как нарвская гавань была лишь узенькой калиткой на запад, старались приобрести широкие ворота, завладев одним из крупных портов Балтийского моря. Но двукратная попытка захватить Ревель (в 1570 и в 1577 годах) привела только к войне со Швецией, в которой Московское государство потеряло и Нарву — да не только ее, но и русское ее предместье, Ивангород: от Балтийского моря

русские теперь были отрезаны наглухо. Наряду с этим главным проигрышем того, из-за чего только и стоило вести войну, изгнание войск Ивана Васильевича из занятых им в начале лифляндских городов имело больше моральное значение, хотя в позднейших исторических повествованиях о походах Батория говорится очень много, а о войне со шведами в двух словах. Появление польской армии под стенами Пскова, крупнейшего из оставшихся за Россией торговых центров на западной границе, только поставило точку на всей «ливонской авантюре». Последние годы жизни Грозный уже не думал о завоеваниях на западе — он только оборонялся, и рад был, что не потерял своего. Литовские отряды сожгли Русу и опустошали верховья Волги: вот-вот можно было ждать того, что придется оборонять от Батория самое Москву. А еще задолго до этого критического момента центральная Россия, и сам московский посад, уже испытали разгром, какого не запомнить было со времен Тохтамыша. Это было, не очень рельефно выступающее в новейшей историографии, но вполне по заслугам оцененное современниками, нашествие крымцев в 1571 году. Оно стояло в несомненной связи с ливонской войной — крымский хан был с самого начала союзником поляков: «и король учал беспрестанно к Девлет-Гирею царю гонцов посылати и подымати крымского царя на царевы и великого князя украйны», записала московская летопись еще под 1564 годом. Менее ясна связь с внутренними русскими делами, но и она была: хана привели к Москве четверо беглых детей боярских, действовавших едва ли не по поручению князя Мстиславского. По своей непосредственной разрушительности крымский набег далеко оставлял за собою все, что могли нажечь и награбить литовские партизаны. Весь московский посад татары выжгли дотла — и, как мы помним из рассказов Флетчера, семнадцать лет спустя он не был еще вполне восстановлен. Целый ряд других городов постигла та же участь. По тогдашним рассказам, в одной Москве с окрестностями погибло до 800.000 человек, в плен было уведено 150.000. Общая убыль населения должна была превышать миллион — а в царстве Ивана Васильевича едва ли было десять миллионов жителей. Притом опустошению подверглись старые и наиболее культурные области: недаром потом московские люди долго считали от татарского разоренья, как в XIX веке долго считали от «двенадцатого года».

Насчет татарского разоренья доброю долею приходится отнести то, почти внезапное, запустение, какое констатируют иссле-

дователи в центральных уездах, начиная именно с 70-х годов. «Начало семидесятых годов XVI века есть исходный хронологический пункт запустения большей части уездов московского центра», говорит уже не раз цитированный нами историк сельского хозяйства Московской Руси. «Слабые зачатки отлива населения, наблюдавшиеся в некоторых из этих уездов в 50—60-х годах, превращаются теперь в интенсивное, чрезвычайно резко выраженное, явление бегства крестьян из Центральной области» [1]). Быть может, стремлением уйти подальше от татар объясняется та передвижка населения из центра в малоплодородные области северной Руси, которая наблюдается около этого времени. Города по вновь открытой — англичанами, в пятидесятых годах — двинской торговой дороге на Архангельск, уже в предшествующем десятилетии начинают играть видную роль. Мы часто видаем здесь царя, на его поездках в Кирилло-Белозерский монастырь — и он, видимо, смотрит на них не только, как на станции в своих благочестивых походах: в Вологде он заложил «город камен» и специально ездил взглянуть потом, как его строят. Повидимому, там была не одна крепость, а и царский дворец, ибо государь ездил «досмотрети» не только «градского основания», но и «всякого своего царского на Вологде строения». Недаром и англичане выстроили себе здесь дом, «огромный, как замок». Около вновь возникающих городских центров страна и вообще оживлялась — естественно, что за торговыми и ремесленными людьми потянулись сюда и крестьяне. Но что сдвинуло их с насиженных мест? Размеры запустения показывают, что одного страха татар, как объяснения, недостаточно. В тех же станах Московского уезда, где мы отметили, по книгам 1584—1586 г.г., такой перевес перелога над пашней, на 673½ деревни приходилось 2.182 пустоши, и лишь 3 починка: запустевшие деревни составляли 76% общего числа, а вновь возникавшие всего 0,1%. И это еще, кажется, было улучшение: в неполных (для меньшего числа станов) данных для того же уезда за предшествовавшие годы (1573—1578) можно насчитать в одном случае 93, в другом даже 96% пустошей. Не лучше было и в других центральных уездах: в Можайском, например, по отдельным имениям можно насчитать пустых деревень до 86%, в Переяславль-Залесском от 50 до 70%. Притом запустение коснулось и более северных, безопасных от татар, областей центра: из тверских дворцовых деревень князя

---

[1]) *Н. Рожков*, цитиров. сочин., стр. 305.

Симеона Бекбулатовича (которого Грозный, для потехи, рядил в цари московские) в 1580 году половина была пуста. Между Ярославлем и Москвой еще Ченслер, в половине пятидесятых годов, находил множество деревень, «замечательно переполненных народом». О такой же густой населенности этих мест говорит и другой англичанин, Рандольф, бывший здесь немного позже Ченслера: а в восьмидесятых годах их соотечественника Флетчера поражали здесь уже деревни пустые. Но крымцы не заходили далеко от Москвы на север: в набег 1571 года сам Иван Васильевич искал убежища от них не севернее Ростова. А затем, страх перед ними должен бы был быть особенно силен в первые годы после разоренья — между тем, по словам цитированного нами выше автора, «бегство (крестьян из центра) не прекращается до самого конца века, как убедительно свидетельствует целый ряд фактов» [1]). Это, и хронологическое, и географическое, несовпадение «татарского разоренья» и района запустения снова заставляет нас искать иных, более могучих и менее случайных, причин последнего.

Одну из них мимоходом отмечает все тот же автор, доказывая вредное влияние «юридической природы поместья». «В источниках,—говорит он,—сохранились любопытные факты, иллюстрирующие насилия и грабежи помещиков, их стремление к скорой наживе и наносимый этим трудно исправимый вред хозяйственной ценности поместной земли». Он приводит, к сожалению, только один такой факт — но чрезвычайно выразительный. «В самом конце XVI в. в селе Погорелицах, Владимирского уезда, жил «во крестьянех» некто Иван Сокуров. В 1599 году Погорелицы были пожалованы в поместье сыну боярскому Федору Соболеву. Этот последний, в отсутствие Сокурова, явился к нему на двор и произвел там полный разгром: забрал себе троих «старинных людей» хозяина дома, т.-е. его холопов, увел лошадь, корову, быка, четырех овец, взял у жены Сокурова деньгами 1 рубль 13 алтын (=35 р. золотом), увез к себе, сколько мог, ржи, овса, ячменя, конопли и «трои пчелы». Мало того, когда Сокуров вернулся, помещик присвоил себе и его двор» [2]). Картина такого выдворения крестьянина из его гнезда землевладельцем не составляет отнюдь русской особенности: в Германии около того же времени мы встречаем целый ряд подобных явлений — там для них и термин особый

---

[1]) *Рожков*, ibid.
[2]) Ibid., стр. 458.

сложился, Bauernlegen. Условность поместного владения тут, конечно, ни при чем, но не трудно себе представить, как должны были подействовать на крестьянскую массу поступки тысяч таких Соболевых, сразу вторгшихся в нетронутые поместным землевладением земли. А это именно было, когда опричнина с ее земельной перетасовкой одновременно пустила под поместья целый ряд княженецких вотчин, с их традиционными феодальными порядками, с нетяжелыми, и притом очень устойчивыми, из поколения в поколение переходившими, крестьянскими повинностями. Как из разворошенного муравейника муравьи, разбегалось население этих старых культурных гнезд, захваченных опричниной — разбегалось, куда глаза глядят, лишь бы спастись от новых порядков, начинавшихся так круто. Недаром максимум запустения Московского уезда совпадает с разгаром опричнины.

И опричнина, сама по себе, как известное «государственное мероприятие», тут тоже ни при чем, разумеется: как раз приведенный нами пример к опричнине и не относится — в 1599 году ее уже не было, и Соболев, вероятно, никогда в опричнине не служил. В 60-х—70-х годах лишь до необычайных размеров усилилось явление, общее всему поместному землевладению. Хищническая эксплоатация имения, стремление выжать из него в возможно короткое время возможно больше денег, так же характерны для наших помещиков XVI века, как и для всяких «предпринимателей» в раннюю пору денежного хозяйства. Один современный публицист, писавший немного позже Смуты и помнивший предшествующую эпоху по личным впечатлениям, дает нам необычайно выразительную общую картину той безудержной спекуляции, одним из маленьких образчиков которой был приведенный выше случай. По его словам, во время больших голодов при Борисе Годунове многие не только деньги, но всю свою движимость, до носильного платья включительно, пускали в оборот — «и собирали в житницы свои все семена всякого жита», наживая таким путем до тысячи процентов. В значительной степени этой же спекуляцией объяснялись и самые голода — мы помним, что еще за двадцать лет перед тем Флетчер приписывал вздорожание хлебных цен барышничеству помещиков. Если верить нашему автору, то в разгар голода имелись большие запасы хлеба, так что впоследствии, когда междоусобная война действительно разорила страну, и посевы очень сократились, вся Россия питалась этими старыми залежами, которых не пускали из рук хлебные спекулянты во время голода, чтобы под-

держать цены. Судя по тому описанию годуновского общества, какое дает нам этот публицист, хлебное барышничество давало большие выгоды. По его словам, даже и провинциальное дворянство обилием золотой и серебряной посуды, лошадей на конюшне и челядинцев во дворе «подобилось первым вельможам и сродичам царевым» — и не только дворянство, «но и от купцов сущие и от земледельцев». По роскошным нарядам их жен и дочерей и не узнать было, чьи они: так было на них много золота, серебра и всяких иных украшений — «вси бо боярствоваху» в это время [1]).

Грабить своих крестьян, превращая в деньги их имущество, было, при таком положении вещей, очевидно, выгоднее, нежели вести правильное хозяйство: вот что, а не какие-либо юридические нормы, толкало помещиков к хищнической эксплоатации их имений. Правильное хозяйство требовало затраты денежных капиталов, и притом все бо́льших и бо́льших с каждым годом, ибо цена денег падала поразительно быстро. По вычислениям Н. Рожкова, рубль начала XVI столетия равнялся, приблизительно, 94 рублям золота, а рубль конца этого века только 24—25 зол. руб.: меньше, чем за сто лет, деньги упали в цене вчетверо. В западной Европе за то же столетие они упали даже впятеро, но там была определенная внешняя причина — открытие Америки с ее золотыми и серебряными рудниками. Что эта причина, несомненно, оказала свое действие и у нас, показывает, как ошибочно мнение о полной изолированности московского царства от остальной Европы. Выше, впрочем, приведено достаточно фактов, свидетельствующих, как рано началась экономическая «европеизация России». «Торжество сребролюбия», таким образом, имело под собою вполне объективное основание — дело было не просто в «жадности» помещиков. Другой причиной у нас было быстрое развитие денежного хозяйства, форсированное принудительной ликвидацией крупных феодальных имений с их «натуральными» порядками. На рынок была выброшена такая масса земли, что на нее цена упала почти в полтора раза. В первой половине века десятина земли стоила 0,3 рубля, во второй — 0,7 рубля, но в переводе на золотые деньги первая цифра составит 28 рублей, а вторая лишь 17 [1]).

---

[1]) См. так называемое «Сказание Авраамия Палицына» в первой редакции, «Русская Историческ. Библиотека», т. XIII, стр. 480 и сл.

[1]) *Рожков,* ibid., стр. 216.

Парадоксальный факт — падения ценности земли в то самое время, как цены на хлеб росли год от году, может быть объяснен только тем, что в известный момент земли на рынке оказалось больше, чем покупателей на нее. Но при нормальных условиях, равновесие между спросом на землю и предложением ее скоро восстановилось бы: ненормальное положение народного хозяйства в конце эпохи Грозного в том особенно и сказалось, что этого не произошло. Земля продолжала «лежать впусте» и долго после опричнины. К концу XVI века хищническое хозяйство, все стремившееся как можно скорее ликвидировать и перевести на деньги — и инвентарь, и постройки, и даже самих крестьян, как сейчас увидим, — столкнулось с собственным своим неизбежным результатом: землю некому стало обрабатывать. Распуганное новыми порядками крестьянство разбредалось из центра, куда глаза глядят — и на далекий север, где хлеб родился только три раза в пять лет, и в степь, почти каждое лето регулярно посещавшуюся крымцами; всего больше, конечно, на Оку и Волгу, в места, уже в эти годы сравнительно безопасные. Одна летопись уже в середине царствования Грозного отметила отлив населения из Можайского и Волоколамского уездов «на Рязань, и в Мещеру, и в понизовые города, в Нижний Новгород». Здесь всюду возникали новые поселки в то самое время, как центр пустел. Наблюдаемый нами кризис вовсе не был, таким образом, всероссийским. Это был, прежде всего, кризис помещичьего хозяйства, как первая половина века была свидетельницей кризиса хозяйства старых вотчин. Те погибли от того, что не умели приспособиться к условиям нового, денежного хозяйства — эти переиспользовали его, сразу захотев взять максимум того, что оно могло дать. Падение цены денег подгоняло их на этом пути — того, на что можно было «прилично прожить» десять лет назад, через десять лет было уже мало. Нужно было все больше выкачивать из хозяйства, достаточно уже разоренного. Нужно было вложить в него капитал: но где его достать? Нужно было закрепить уходившие неудержимо из имения рабочие руки: но как это сделать без капитала, без «серебра», которым закреплялись крестьяне? Перед этой двойной дилеммой стояло помещичье хозяйство накануне Смуты. К попыткам помещиков выйти из тупика, созданного их собственным хищничеством, сводится, в основе, и сама Смута.

Деньги можно было добыть при помощи спекуляции—азартной игры на хлеб и на людей. Что торговля крестьянами вовсе не

дожидалась у нас официального установления крепостного права, об этом есть свидетельства уже от 1550-х годов. В одном из челобитий этого времени один помещик жалуется на другого в таких выражениях: «посылал я своих людей отказывати из-за него двух крестьянинов из одного двора на свою деревню, и он... отказ принял и пошлины пожилые взял; и я посылал по тех крестьян возити за себя, а тот тех крестьян из-за себя не выпустил и держит тех крестьян насильно». *Пожило*е формально было арендной платой за двор, занимавшийся крестьянином, но уже в половине XVI века эта формальность не имела никакого отношения к действительности, ибо годовая арендная плата за двор равнялась четвертой части стоимости самого двора. А так как платил пожилое фактически новый барин, к которому крестьяне переходили—мы это сейчас видели, — то платой за двор в сущности маскировалась плата за самого крестьянина. Вот отчего тогдашние документы и называют «пожилое» «пошлиной», а вывоз крестьянина без уплаты «пожилого» вывозом «беспошлинным». Если же за крестьянином было еще сверх того «боярское серебро», то фактическая разница между ним и барским холопом почти исчезала. «Отказ» со стороны крестьянина заменялся «отпуском» со стороны барина. Задолжавшие крестьяне могли быть предметом спекуляции, конечно, еще легче. Нужно, впрочем, сказать, что московские люди далеко не были такими поклонниками легальности, какими их считают некоторые новейшие исследователи, усматривающие в развитии института крестьянской крепости даже некоторые черты, напоминающие римское право. Московское право все еще было феодальным правом, то-есть, когда оно не опиралось на силу, оно ничего не значило. Помещик никогда не стеснялся тем — должен что-нибудь ему крестьянин на самом деле или нет, и таксы пожилого, установленные судебником, соблюдал лишь тот, кто хотел. До нас дошли документы, свидетельствующие, что, когда барин не хотел отпускать крестьянина, он его «в железа ковал», а пожилого с него требовал не рубль, как закон указывал (рублей 50 золотом, в середине столетия), а пять и даже десять рублей (250 и 500 рублей). Вообще можно рассматривать, как правило, что без согласия господина «отказати» крестьянина было «не мочно» [1]).

---

[1]) Для приводимых фактов см. *М. Дьяконова:* «Очерки общественного и государственного строя древней Руси», стр. 338—339 и др.

«Боярское серебро» — долг крестьянина землевладельцу, явление столь хорошо знакомое нашему времени, что только старинная терминология могла из него сделать что-то необыкновенное, что нужно объяснять — в Московской Руси было, таким образом, не юридическим способом закабаления крестьян, а средством переманивания их у других помещиков — или противоядием против крестьянского побега: минутная выгода могла соблазнить менее дальновидных и удержать от попыток искать счастья на стороне. Оттого и упразднение крестьянского «отказа» нужно рассматривать не как исходную точку крестьянской крепости — ею было общее феодальное бесправие, смягчавшееся в старых вотчинах обычаем, с нарушения которого начинали новые землевладельцы, — а как одну из сторон кризиса поместного землевладения. Из перекрестной путаницы исков о крестьянах, заваливавших тогдашние суды, не было иного выхода, как запретить «отказы» вовсе, укрепив крестьян за теми, на чьих землях они сидели в данный момент. Тогда прекратилось бы взаимное разорение помещиками друг друга — и деньгам, шедшим на борьбу из за рабочих рук, можно было дать иное употребление. Но если расходы на «отказывание» крестьян стали непосильны для помещиков, если и в этом вопросе для них понадобилось нечто вроде «сисахтии»— это служит новым указанием на то, что требование на деньги со стороны помещиков далеко превышало приток их в помещичьи карманы. Чем больше пустели эти последние, тем больше приходилось помещику изворачиваться в попытках хозяйничать без денег. В этом отношении большой интерес представляет одна переходная ступенька к отмене крестьянского «отказа», которую мы находим в документе неофициальном (так называемом «Судебнике Федора Ивановича»), но заимствована она, конечно, из тогдашней практики: «кабалы писати на крестьян вдвое». Требование уплаты за крестьянина *двойного* долга, конечно, должно было удержать отказчика. Но крестьянин сделался такой «редкой птицей», что владельцев побогаче не стесняло уже и это — и служилая масса добилась нового ограничения «отказа», которое мы и находим в известных указах 1601—1602 г.г., первых документальных свидетелях крестьянской крепости. Этими указами ограничивалось количество «возимых» крестьян (не более двух) — и «возить» друг у друга могли лишь мелкие помещики: конкуренция крупного землевладения заранее исключалась. «Отказ» уже с этого времени был исключением: как правило, крестьяне сидели на

землях тех, у кого застали их переписи 1590—1593 годов. Избавленный от денежных расходов на крестьян, помещик в то же время был избавлен и от расходов на государство — барская запашка в писцовых книгах 1592—1593 г.г. была исключена из оклада. Все паллиативы были пущены в ход, чтобы утолить денежный голод дворянства, — но кризис развивался с неудержимой силой, и мучения голода становились все сильнее. Помещику мало было уже подачек из казны — ему нужна была вся казна. В дни опричнины он оставил власть боярству, взяв себе лишь самые жирные куски. Теперь он никому ничего не хотел оставлять — ему нужна была власть вся, целиком.

ОГЛАВЛЕНИЕ I ТОМА.

ГЛАВА IV.

Новгород.

ГЛАВА V.

Образование Московского государства.

ГЛАВА VI.

Грозный.

1. Аграрный переворот первой половины XVI века.

Стр.

2. Публицистика и „реформы".

3. Опричнина.